

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

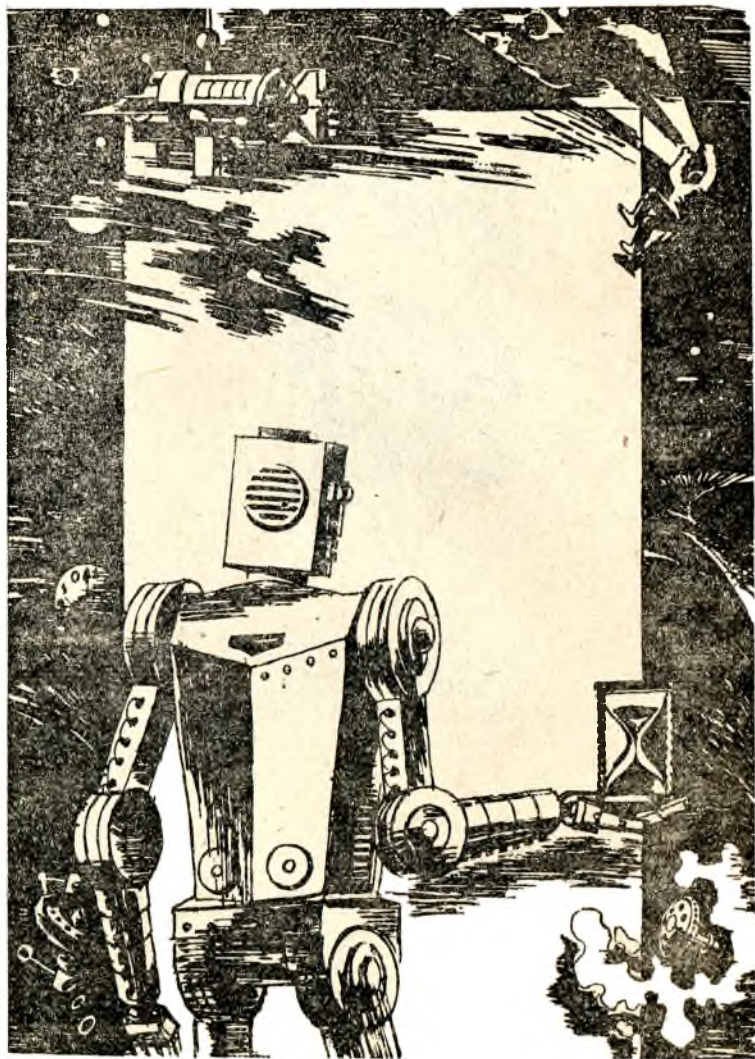
ЛИЦО В ТОЛПЕ





БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ

Сканировал и создал книгу - vtakhankov



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ДМИТРИЙ БИЛЕНКИН

ЛИЦО
В ТОЛПЕ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1985

84Р7
Б 61

Биленкин Д. А.

Б 61 Лицо в толпе: Научно-фантастические рассказы. — М. : Мол. гвардия, 1985. — 288 с., ил. — (Б-ка сов. фантаст.).
85 к. 100 000 экз.

Рассказы писателя-фантаста о необычном и фантастическом в обыденных на первый взгляд явлениях, о научном поиске и связанных с ним нравственных проблемах.

Б 4702010200—251 141—85
078(02)—85

ББК 84Р7
Р2

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.

За тесными громадами зданий гас блеклый московский вечер, и в окнах темных фасадов, высвечивая недра квартир, загоралось электричество — этот пещерный огонь двадцатого века. Наконец и хозяин застолья, щелкнув выключателем, послал в сумерки свою каплю света. В галактике человеческих жилищ одной звездочкой стало больше.

Внутри комнаты столь резкая перемена света сбила, как это бывает, и без того вялый разговор. Впрочем, он склеился снова — все тот же натянуто-обтекаемый, парадно-неловкий. Таким его делало присутствие среди гостей друга хозяина, человека, который первым из всех недавно ступил на раскаленную поверхность Венеры. Гости деликатно старались, чтобы он не чувствовал себя центром жадного интереса, и выбирали обычные для застолья темы, одновременно опасаясь, что эта будничность представит их людьми неинтересными, тогда как каждый, наоборот, надеялся, что именно в его обществе космонавт распадется душой и они уйдут с вечера, к чему-то особо приобщенные. Напряжение разговору придавало и то, что некоторые ловили себя на скользком желании во что бы то ни стало блеснуть перед избранником человечества, а может, и доказать свое над ним духовное превосходство. Так уже само присутствие знаменитости возбуждало жесткие лучи самоанализа, и от всего этого Гаршин чувствовал себя все более неудобно.

«А каково ему, центру всех наших притяжений и отталкиваний? — с пронзительным сочувствием подумал он. — Все ждут от него чего-то свежего, незаурядного, а он же пуст! Ну да... Бесчисленные интервью, миллиардные аудитории выжали из него все до последней кап-

ли, он все уже отдал нам, ибо всякая личность конечна. Или не так?»

Было похоже, что Гаршин ошибся, ибо под занавес его размышлений хозяин наконец удачно повернул разговор, и теперь космонавт рассказывал, со вкусом рассказывал о вчерашних автомобильных гонках, на которых он вопреки основательной (сами понимаете!) детренировке занял призовое место. При этом сильные, уверенные руки космонавта двигались в такт словам, как бы сжимая руль бешено рвущейся на повороте машины, а глаза блестели оживлением. Чувствовалось, что он был счастлив вчера, дорвавшись до мужского, с привкусом железа и риска дела, став рядовым, без скидок, участником схватки за первенство. Тишина за столом установилась благоговейная. Эта почтительность внимания, какой не могло быть, говори о том же самом кто угодно другой, не сразу дошла до увлеченного рассказом космонавта. Но когда дошла, речь его, не потеряв гладкости, как-то сразу обесцветилась, а взгляд похолодел. И Гаршин понял, что жадный, верней, жаждущий интерес гостей включил в космонавте уже привычный и тягостный навык обязательного, не для себя, говорения.

Он с усилием отвел взгляд туда, где стекло книжной стенки туманно удваивало затылки, лица, движения рук, льдистые силуэты бутылок. Станным и нелепым показалось Гаршину это мгновение. Ведь рядом, здесь, в этой будничной комнате, сидит человек, недавно побывавший на другой — подумать только! — планете, ступивший на дно мрачного, давящего, жаркого ада, вынесший все это, видевший то, чего никто не мог, даже не смел увидеть, и несущий в себе образ чужого мира. И что же? При чем тут автомобильные гонки?! Почему внимание сосредоточивается даже на таком пустяке, как отказ космонавта попробовать свекольный салат, а банальная фраза: «Спасибо, я не любитель свеклы...» — вдруг как-то иначе освещает его самого и все им сделанное?



Разговор меж тем окончательно зачал, и в улыбке хозяина, которой он одарял всех, все отчетливей проступала мука.

— Есть тост, — не выдержал Гаршин, и все удивленно притихли, поскольку знали, что тосты он говорить не умеет.

— Космос и косметика — слова одного корня, вот что я хочу сказать! Но космос далек, хотя и велик, напоминает о себе редко, тогда как косметика, если брать это понятие широко, вседесуща. Она в некотором роде как воздух, которым нельзя не дышать. Но эта спертость ощутима и тогда, когда... Короче, если косметика каждодневна, то...

«Влип!» — холодея, подумал Гаршин, чувствуя себя не в силах выпутаться из сложных разветвлений мысли и тонко, главное, необходимо закруглить тост.

— Словом, за умение всегда различать космос и косметику в их противоположности...

— В единстве! — внезапно подхватил космонавт. — Ведь что? — Он быстро взглянул на окружающих. — Изначально у греков космос означал порядок, гармонию, лад мировой красоты...

— Которая не только у греков считалась синонимом счастья! — обрадованно согласился Гаршин.

— Именно. Космос как физическую протяженность мы бодро осваиваем. И житейски чувствуем себя в нем, как в непривычном, еще не по росту, costume. Нужны, необычайно нужны такие искатели новой гармонии, которые и о былом античном смысле презренной косметики вспомнят. Простите, не знаю вашего имени...

— Сергей Павлович Гаршин, искусствовед, — торопливо подсказал хозяин.

— Вот как? — космонавт пристально посмотрел на Гаршина. — Живопись, скульптура, кино?

— Живопись, — смущенно ответил тот.

— Древняя?

— Нет, современная.

— Хорошо! Уйдя в философию, я, извините, сбил ваш тост. Что же, за единство мысли, чувства и дела, за их гармонию, не так ли?

Все шумно и облегченно потянулись чокаться. Улучив момент, космонавт наклонился к хозяину. Тот быстро закивал. Гаршин ничего не расслышал, но обостренное чутье подсказало, что разговор о нем. Позже, когда все поднялись из-за стола, космонавт остановил его.

— Вы не можете заехать ко мне? Есть небольшое, связанное с искусством дело, и вы для него кажетесь подходящим человеком.

Все выглядело так, будто тяжелая рука космонавта отдыхает на руле и будто машина идет своей волей, ювелирно вписываясь в просветы движения, чтобы тут же стремительно обогнать всех. Массивное, с крутыми надбровными дугами лицо космонавта напоминало Гаршину кого-то, он так и не уловил кого. Телевидение и снимки скрадывали это сходство. Сейчас беглое скольжение глубоких уличных теней огрубilo лепку лица, и Гаршин наконец понял, кого напоминает его новый знакомый. Древнего, чей портрет был в школьном учебнике, охотника на мамонтов!

Ничего удивительного в этом не было — облик человека мало изменился за последний десяток тысячелетий. Все же наблюдение поразило Гаршина. Черт знает что! И мозг прежний, не только лицо, а давно ли человек валил мамонта, и вот теперь он кладет к своим ногам целые планеты... Что же будет его трофеем завтра?

— Трудно вам, Сергей Павлович, должно быть, приходится, — без улыбки сказал космонавт.

— Что?.. Почему?

— Сфера такая — искусство. У нас сделано дело,

так уж сделано. А у вас иногда спор на годы — шедевр появился или мазня.

— Не совсем так... Кстати, в точнейшей вроде бы геометрии работу Лобачевского еще дольше считали бредом.

— Это родственная сфера, я не о том. Что мгновенно и всеми оценивается по достоинству? Достижение какого-нибудь полюса, покорение Джомолунгмы или рекорд в спорте. Потому, очевидно, и мы в героях ходим.

— Что справедливо. У вас за неудачу плата другая.

— Бывает, не возвращаемся, верно. Но и художник за выход на новую орбиту искусства, согласитесь, часто расплачивается пережогом нервов. И если уж выбирать конец...

— Сейчас вы, чего доброго, скажете, что выбрали свою профессию из-за малодушия!

— Один — ноль! — Космонавт скупой улыбнулся. — Кстати, сколько всего картин было написано только за последние полвека?

— Не знаю. Точно этого никто не знает. Миллионы.

— А о скольких вам известно хоть что-нибудь?

— О тысячах... Право, не считал, да и зачем?

— Значит, есть миллионы, о которых даже специалист ничего не знает, не слышал, не помнит. Жутковатое соотношение удач и попыток, вам не кажется? Вот мы и приехали.

Космонавт легко взбежал по ступенькам подъезда. «Я-то, дурак, решил, что личность исчерпаема! — поспешая за ним, подумал Гаршин. — К чему он, однако, клонит?»

Лифт пулей взлетел на сорок второй этаж.

В квартире, судя по ее виду, скорей гостили, чем жили. Возможно, это впечатление создавали широкие, как на аэродроме, во всю стену окна. Дом был типа «скворечника», ячейки квартир висели свободно, не перекрывая друг друга, что делало остекленное пространство комнат похожим на высотную наблюдательную пло-

щадку. Шоссе внизу выныривало из ложбинки в гору и рдело потоком красных огоньков, словно там катился шестеящий, ало мерцающий в темноте поток лавы.

— Хочу познакомить вас с одним сделанным на Венере снимком, — сказал космонавт. — Вот, держите.

Гаршин недоумевающе взял небольшую, размером с открытку, фотографию.

— Мрачноватый пейзаж...

— Других там нет. Вглядитесь, пожалуйста, внимательно.

Гаршин послушно вгляделся и не пожалел. Пейзаж был не просто мрачным. Две высоких и плоских, ржавого цвета скалы расходились створками ворот, приоткрывая вход в никуда, ибо там, в глубине, было нечто неразличимое — не мрак вроде бы, но тень хуже мрака, какой-то безобразный, стерегущий, нехороший сумрак. Что-то мертвенное, но ожидающее, готовое заглотить мерещилось в нем. И створки скал раскрылись, точно западня, войди — и сомкнутся даже без скрежета. Справа и слева от них не было ничего, так, муть пустого пространства, но чувства странным образом подсказывали, что стоит лишь войти в ворота, как и эта мнимая пустота обернется хотя и призрачной, однако неодолимой изнутри преградой. Только передний план был лишен этой двусмысленной зыбкости: все четко, ясно, определено, просто большие и малые камни. Возникло ощущение разлада самой реальности, будто все, что вблизи, — настоящее, а все дальше, за скалами, принадлежит сновидению.

Эта особенность пейзажа раскрывалась не сразу, не при беглом взгляде.

— Вы заходили туда? — почему-то шепотом спросил Гаршин.

— За скалы? Ну, разумеется. А, понимаю! Веет чем-то загробным, так? Нет, просто шуточки рефракции воздуха, она там чудовищная, еще не то можно увидеть. Но пейзаж явно неземной, согласны?

— Еще бы!

— Вот это главное. Скажите, мог ли художник долго до полета написать такой сугубо венерианский пейзаж? Не просто похожий, а тот, что вы видите?

— Конечно, нет!

— Даже гений из гениев? Как это у Блока: «Все дни и все ночи налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шепотов и слов на незнакомом языке. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу...» Такого не могло быть?

— Что вы! Нечто фантастическое, созвучное настроению, колориту еще допустимо. Но венерианский, не покидая Земли, пейзаж? Откуда? Это немыслимо.

— Что мыслимо, а что нет, можно знать, лишь владея абсолютной истиной, — сухо сказал космонавт. — Гениальный художник все-таки был. Смотрите.

То, что очутилось в руке Гаршина, было снимком, давней и любительской репродукцией какого-то рисунка. Потертость, ветхий перелом уголка, главное, фотобумага, какой теперь не было, устраняли всякое сомнение в его возрасте. Гаршин даже отпрянул. Невероятно, сон! На невесть когда сделанном снимке был тот самый, со скалами, гнетущий пейзаж. Кое-где пропорции оказались смещенными, некоторые детали отсутствовали, местами иной была цветовая гамма, камни на переднем плане даны намеком, но главное было схвачено точно, а частности в рисунке и должны были быть другими, поскольку всякий художник по-своему видит и одухотворяет мир.

— Откуда? — собственный голос дошел до Гаршина словно из другого измерения. — Как это возможно?!

— В том и загвоздка! Там, на Венере, едва эти скалы показались, я почувствовал, будто их уже видел когда-то, знал в какой-то иной жизни. Ложная память, знаете?

— Да, да...

— Ее психологи объясняют без запинки, хотя, соб-

ственно, что мы знаем о подсознании? Но тогда я малость струхнул. Хороша ложная память, если я точно знаю, что именно вот сейчас откроется! И открылось, все точь-в-точь. Нервы у меня в порядке, но тут я отключился, никаких сигналов не слышу. Что я, святым духом прежде бывал на Венере?! Едва отшутился, когда ребята пристали, чего это я вдруг изобразил собою статую командора... Наконец я понял, где и когда видел этот треклятый пейзаж. На рисунке! А кому скажешь? Земля просто решила бы, что я свихнулся. Даже здесь, отыскав снимок, трудно было отделаться от мысли, что это какой-то вселенский розыгрыш. Ни с чем же не сообразно! Тут, быть может, какие-то аксиомы с нарезки слетают, тут прежде все надо прощупать, со знающим человеком с глазу на глаз потолковать...

Космонавт уже давно встал и говорил, расхаживая, а Гаршин все никак не мог опомниться.

— Да, я же о главном забыл! Снимок лежал в отцовских бумагах. Разбирая их шесть лет назад, я на него наткнулся, мельком взглянул и сунул обратно. Откуда он у отца — понятия не имею. Все. Что скажете?

Гаршину показалось, что он пришел в себя и способен рассуждать здраво.

— Может быть, что-нибудь знает мать, друзья...

— Мать погибла в той же авиакатастрофе, друзей я, понятно, спрашивал.

Гаршин прикусил губу, и это вернуло ему чувство реального.

— Лупа у вас найдется?

Оказалось, что космонавт уже держит ее наготове. Гаршин погрузился в изучение рисунка, а космонавт мерно расхаживал из угла в угол своей вознесенной над ночным городом комнаты.

— Подписи художника нет, — Гаршин с досадой отложил лупу. — Это ладно, бывает. Но техника, краски, все остальное... Не понимаю!

— Чего именно?

— Видите ли, Пикассо десятки раз писал один и тот же стол, и он всегда получался разный. Потому что меняется видение художника, потому что сам стол — достаточно иначе упасть свету — всякое мгновение разный. А здесь... — Гаршин безнадежно развел руками. — Да окажись автор на Венере, еще вопрос, добился бы он такого сходства!

Космонавт фыркнул, как человек, на глазах которого переливают из пустого в порожнее.

— Наши эмоции никого не касаются, и зря я упомянул о попрании аксиом. Ничего этого нет. Рисунок и фотография нетождественны, все строго в пределах теории вероятностей.

— Искусство не физика!

— Но статистическим законам оно подчиняется, как все остальное. Миллионы рисунков, миллионы образов могут и обязаны дать случайное совпадение. Могут и обязаны, такова фантастика больших чисел. Наконец, перед вами факт. Вы что, уже и глазам не верите?

— Извините, — слабо улыбнулся Гаршин. — Я чувствую себя как тот монах, которому Галилей показал в телескоп другие миры... Ваш отец увлекался искусством?

— Не сказал бы. И фотографией тоже, так что это скорее всего подарок. Время съемки мною датировано: бумага отечественная, выпускалась с 1981 по 1989 год. Боюсь, вам это мало что даст, ведь картина могла быть написана куда раньше. Еще в средневековье, чего доброго.

Гаршин отчаянно замотал головой.

— Ничего подобного! Стиль — это не только человек, но и время. У нас, похоже, только и есть эта ниточка.

— Звучит безнадежно...

— Отнюдь. Техника работы меня смущает, впрочем, сейчас многие экспериментируют с новыми красками и основами, что лишь подтверждает современность рисун-

ка. О том же говорит стиль. Нет, нет, — продолжал Гаршин, загораясь. — Вот вам первые анкетные данные нашего незнакомца. Современник — раз, соотечественник — два! Картина написана не раньше шестидесятых годов, когда возникла первая волна фантастической живописи — три! Кстати, это объясняет безвестность произведения: мы, искусствоведы, такую живопись долго не принимали всерьез.

— И проморгали этот шедевр.

— Простите, тут уж я компетентен! Забудем о внешних обстоятельствах — что перед нами? Есть настроение, экспрессия. И масса мелких, чисто художественных погрешностей. Ваш снимок гораздо сильнее, потому что он документ. Так что нет ни шедевра, ни гения, есть талантливый дилетант или молодой, ищущий, неопытный художник.

— Гениален, выходит, не человек, а случай?

— Неважно! Круг поисков мне ясен, недели через три я либо найду автора...

— Либо?

— Либо мы слепые котята.

Лестница припахивала кошками, давним кухонным чадом, слизью окурков. Похоже, ничто не могло вытравить этот столетний запах мебелирашек, коммунальных квартир, военных разрух, хотя ступени были оттерты до белизны, в завитках чугунных перил не таилось пыли, а стены были покрыты флюоресцином. Настоящее не побороло прошлое, оно пропиталось им, и запах времени густел по мере того, как Гаршин поднимался от лифта к мансарде, надеясь и после стольких поисков уже не веря в удачу.

Достигнув верхней площадки, он придавил кнопку звонка и, когда дверь открылась, увидел то, что и ожидал увидеть: серый от курева воздух, пол, к которому давно, а возможно, совсем не прикасались щетки авто-

мата-уборщика, прислоненные к стенам картины в рамах и без, пропыленные стопы книг по углам, какие-то рисунки, ветхий диван и, конечно, мольберт. Хозяин смотрел на Гаршина с нелюбезным вниманием. Был он тощ, суховат, по бокам узкого черепа топорщились седоватые волосы, худую шею косо охватывал шерстяной, не первой молодости шарф.

— Чем обязан?

Гаршин назвал себя. Точно колючая электрическая искра мигнула и погасла в пристальных глазах художника.

— Так, так, так, — протянул он. — Привык почитать искусствоведов, как судей и распорядителей искусства. Прошу, чем обязан?

Гаршин не отозвался на скрытый выпад. Искусство — вредное ремесло. Если столяр сделает табурет, то не возникнет вопроса, нужен ли этот табурет, хорош ли он или никуда не годится. Все очевидно с первой минуты, тогда как художник, поэт, композитор обычно полон неуверенности, даже когда чутье подсказывает, что вещь удалась. И нет произведения, о котором сразу не сложилось бы двух и более мнений. Отсюда почти детская жажда похвал или, наоборот, защитная броня непоколебимой самоуверенности. Впрочем, одно часто сочетается с другим, и Гаршина всегда восхищала сила тех, кого эта ржавчина не могла коснуться. Но сочувствовал он всем, в ком видел талант, а поскольку о Лукине знал лишь с чужих слов, то теперь первым делом глянул на его полотна.

— О вас говорят, — сказал он, — что вы давно пишете только для вечности. Начинаю понимать...

— Осчастливлен. Может быть, и с выставкой поспособствуете?

— Оставим подковырки, — решительно сказал Гаршин. — У меня к вам дело.

— Спасибо за откровенность. — Лукин почему-то потер ладони. — Терпеть не могу притвор и благодетель-

ных султанов от искусства. А что, интересно, вы поняли?

— Что вы нащупываете свою, трудную и необходимую дорогу.

Лицо Лукина осветилось.

— Да! — вскричал он. — Стойте, я вам сейчас кое-что прочитаю...

Он с обезьяньим проворством подскочил к груде книг, разворошил ее и с торжеством вытянул потертый томик.

— Вот, слушайте! «Не правда ли, странное явление — художник петербургский? Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно!.. У них всегда почти на всем серенький, мутный колорит — неизгладимая печать Севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работой. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят, наконец, из комнаты на чистый воздух». Это Николай Васильевич Гоголь. Каково, а? Север, видите ли, неживописен, гнетущ для таланта, Север, с его убранством луговых цветов, озерной синью, ярким, не чета югу, небом, огненной осенью — бледен и сер! Добро бы чиновник-искусствовед писал, так нет же, гений литературы, который и к живописи прикосновенен был. Какими же он глазами смотрел? Как очевидного не видел? А потому и не видел, что в незрячее время жил, что глаз отечественного художника спал и русская природа еще не была открыта. Ну а мы лучше? Одни мнут перины прошлого, левитанов перемалевывают, другие вовсе от пейзажа бегут, мол, фотографией заштамповано и не искусство даже в наш углубленно-атомный век, словом, все гладко, уныло, плоско, как сказал бы дорогой Николай Васильевич. А земля-то художественно еще не открыта! Да, да! Всю, целиком, сверху, после стольких лет авиа-

ции, мы видим ее не лучше, чем Гоголь Север! Нет, скажете? Вспомните выставки, почитайте писателей — где у них Земля с большой буквы? Зрение пешехода, они и из стратосферы только унылые снежные равнины облаков замечают. А оттуда такое открывается! Вот, смотрите, как здесь натура человеческая просвечивает!

Этюды, эскизы, незавершенные картины с грохотом стали отделяться от стен и окружать Гаршина, который не успевал вставить ни слова.

— Вот наш автопортрет — Подмоскovie! В природе все округлость, излом, завиток, а чего мы коснемся — там прямизна оград, улиц, строений, дорог, ровные фигуры полей, даже леса растим геометрично! Математическая линейка у нас в голове, все прямым, прямым...

«Не ново, еще у О'Генри было», — защищаясь от этого потока слов, подумал Гаршин.

— ...Какой контраст с горами! Видели вы их прежде? Нет! Алмазы ледников, бастионы круч, та-та... Восприятие человека-муравья. А здесь у меня? Теперь-то вы видите, видите планетную сущность гор? Они же родственны узорам на морозном стекле!

Гаршин отпрянул в сторону от очередного холста.

— Ага, вы, кажется, поняли! Самолет распластал хребет, я вгляделся — тот же ветвистый причудливо-правильный узор отрогов, ущелий, снега! А вы говорите — Земля открыта... Это палящее лохматое солнце над красным марсианством Кызылкумов вы когда-нибудь видели? Отражение радуги в Байкале от берега до берега вам знакомо? Шелковый узор ветра на синеве Арала — это вам что, очередные березки, от которых тошнит на выставках, как от зубрежки таблицы умножения? Вы еще обо мне статьи писать будете, монографии посвятите!

Гаршин вздохнул. Перед ним был тот самый случай неистойвой работоспособности и страсти, когда талант ума и наблюдательности, увы, не подкрепляется художественным и содержание любого полотна можно ис-

черпать словами, чего нельзя сделать ни с одним значительным произведением искусства, будь то «Джоконда» или левитановский пейзаж.

Радовал только поиск, действительно нужный, потому что Земля художественно и в самом деле еще не открыта. Гаршину было жаль Лукина, и он дал себе слово помочь с выставкой, ведь столько художников получают их, не имея даже того, чем обладал Лукин. Но поступиться истиной Гаршин не мог.

— Странно, что вы начинали с фантастики, — осторожно сказав все, закончил он.

— Воображение лишь жалкая тень действительности...

Лукин поправил шарф и, морщась от дыма очередной сигареты, как бы в удивлении оглядел свои беспорядочно расставленные полотна. Гаршина он уже не замечал.

Тот достал снимок.

— Простите, вот это случайно не ваша в молодости работа?

— Нет, — коротко бросив взгляд, сказал Лукин. — Не моя и моей, само собой, быть не может.

— Тогда, быть может, вы знаете автора? — безнадежно спросил Гаршин.

— Автора... Автора, простите, чего?

— Автора этой картины,

— Картины?

— Ну да...

— Повторите-ка, повторите...

— Я ищу автора этой картины, что тут непонятного?

— Вы, искусствовед, ищите?! Так из-за этого я и удостоился... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

— Позвольте...

— Да знаю я автора, знаю! Ха-ха-ха...

— Он жив?! ...

— Живей нас с вами... — Лукин вытер набежавшие

слезы. — Ах, какая чудесица! Ах, славные, дышлом вас по голове, племя искусствоведов! Так вам нужен, позарез необходим автор? Извольте, есть у меня адресок. Свердловск...

— И оригинал там?

— Там, все там, и Влахов Кеша там, и мать-сыра земля там... Записывайте...

«Влахов Иннокентий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор», — волнуясь, прочитал Гаршин на дверной табличке и с удовлетворением подумал, что его первоначальная догадка оказалась верной. Маститый профессор когда-то увлекался, возможно, и теперь увлекается живописью, рисунки его, понятно, известны немногим, а, между прочим, именно геолог скорей любого другого дилетанта мог случайно прозреть тот каменный венерианский мир. Зря смеялся Лукин. То-то он ахнет, когда узнает, в чем дело!

Влахов оказался кражистым, в летах человеком с медвежьей походкой и таким рокошуще-добродушным басом, что Гаршину сразу стало легко и просто. Гостю здесь были рады без всяких расспросов и дел, рады только потому, что он гость, и Гаршин не успел опомниться, как уже сидел за столом и с приятствием отхлебывал вкуснейший чай. Но мало-помалу благодущие сменилось беспокойством, так как ничто вокруг не свидетельствовало об увлечении живописью, а когда Гаршин о ней заговорил, то Влахов выказал живой и все же явно сторонний интерес к искусству.

— Мне, однако, сказали, что вы сами недурно рисуете, — не выдержал Гаршин.

— Это вам навра-а-али, — растягивая слова, пробасил Влахов. — Сроду непричастен.

— Как? — опешил Гаршин, еще цепляясь за краешек надежды. — Мне Лукин говорил!

— Не мог того сказать Лукин, ибо знает. Да что с вами? Беда какая?

— Никакой, — бледнея, отозвался Гаршин. — Вралю поверил, вот что!

— Позвольте, этого быть не может! Знаю я Лукина, на одной парте сидели, кристальной честности человек...

— Тогда как понимать это?! — дрожащими пальцами Гаршин высвободил, выхватил из конверта снимок. — Ваш честнейший Лукин заверил, что оригинал у вас и вы его автор!

Влахов мельком глянул на снимок и недоуменно уставился на Гаршина.

— Рассказывайте, — строго сказал он.

— Но видите ли...

— Все рассказывайте.

Дослушав, Влахов пытливо сравнил оба изображения, его глаза блеснули удовлетворением.

— Идемте, я покажу рисунок.

— Так он... — Гаршин вскочил, — ...есть?!

— А как же! Лукин язвец, но не враль. Все во всем, как говаривали мудрые греки...

В кабинете Влахов выдвинул обшитую по дну черным сукном полку, оттуда из разноцветной укладки полированных камней изъясил угловатую плитку и протянул ее Гаршину.

— Вот вам оригинал.

Пол тихо качнулся под ногами Гаршина: с холодной глади камня на него смотрел тот самый, до мелочей знакомый венерианский пейзаж.

— Сядьте, сядьте, — голос Влахова дошел, как сквозь вату. — Что тут особенного? Так называемый «пейзажный камень», таких у меня, видите, коллекция, сам резал. Право, не стоит переживать. Эко диво, сходство! Хотите вид березовой опушки? Вот, пожалуйста, думаю, и натуру, место похожее, отыскать можно. А тут

скалы, прибор кипит... И облачный бой, как у Рериха, есть. Это свойство яшм, агатов и многих других камней давно известно, наши уральские мастера-камнерезы целую картинную галерею могут составить.

— Так венерианский же в камне пейзаж, ве-не-ри-анский! — простонал Гаршин, оглушенный и чудом невероятного сходства, и своей изначальной непрости-тельной ошибкой, и непостижимым спокойствием Влахова.

— Что ж, венерианский... Со временем, думаю, и антаресский откроется. Природа едина. Как познали ее новый уголок, так и в камне, значит, его сразу увидели, того и следовало ждать. Не удивлюсь, кстати, если в срезах венерианских пород отыщутся земные пейзажи.

— Тогда что же получается? — мысленно отшаты-ваясь, вскричал Гаршин. — В камнях, выходит, заключены... все образы мира?!

— Ну, все не все, только прикиньте-ка объемы гор-ных пород, сочтите все цветовые в них комбинации. Астрономия получается, классический для теории ин-формации пример с великим множеством обезьян, кото-рые в конце концов отстукивают на машинке всего Шек-спира.

— И в камне, здесь, у нас под ногами, может таить-ся мадонна Рафаэля?!

— Не исключено.

— Слушайте, а вам не страшно?

— Наконец-то Гаршин увидел Влахова растерянно мор-гающим!

— Мне так страшно, — продолжал он с лихорадоч-ной поспешностью. — Если вы правы, если все образы мира уже есть, тогда зачем художник, к чему искус-ство? Все же будет простым повторением.

Влахов сурово задумался. Затем его губы шевельну-ла медленная улыбка.

— Лукин, кажется, аттестовал меня автором венерианского пейзажа? — спросил он будто самого себя. — Что ж, мы в природе, а она в нас. Я-то камень не вслепую резал, я искал, выявлял в нем скрытое, и без меня, выходит, тоже ничего бы не было. Хотя какой я художник? — Влахов вздохнул. — Жизнь хороша своей бесконечностью и, стало быть, щедростью. Идемте, поразмыслим об этом за чаем, он, знаете, хорошо нервы сглаживает.

Мерный, даже в тишине едва уловимый гул пронизывал каюту, и только он напоминал о действующем неподалеку вулкане, перед мощью которого жалкой искрой померкла бы любая Этна, ибо там, за отсеками и нейтральными переборками, рушились квантовые основы самой материи. Спящего в каюте, как и весь экипаж, этот доатомный огонь распада нес сквозь абсолютный холод межзвездья, от которого человека отделяли не многие метры корабельной оболочки и воздуха.

Для Виктора Кошечкина заканчивалась очередная ночь, которая здесь была такой же условностью, как утро, день или вечер. Вязкий, засасывающий сон никак не хотел отпускать, и только настойчивая побудка элсебра заставила пошевелиться, открыть глаза и моргнуть. Напротив постели в космах тумана всплывало солнце, свет мгlistым веером дробился в ветвях, осеребрял упругие капельки росы, вдалеке долбил дятел, а за травой и валежником плеском рыбы давало о себе знать укромное озеро. Морщась, Виктор выпростал руку, щелкнул выключателем, и там, где только что была земля, встала глухая стена крохотного помещения, в котором рационально был учтен каждый кубодециметр пространства. Вялое тело не хотело вставать, саднило горло, тяжелая голова сама собой клонилась к подушке. «Все мое ношу с собой, — досадливо подумал Кошечкин. — Включая вирусы».

И верно, они набрасывались на человека даже среди звезд. Следовало пойти в медотсек и тут же покончить с болезнью, но Виктор решил, что делать он этого не станет. Конечно, там он избавится от недомогания за пять минут, но так недолго растренировать волю и тело, поэтому если ты можешь покончить с болезнью сам,

то и должен. Решив так, он твердо скомандовал организму прекратить это безобразие, велел чему-то там в себе сконцентрироваться для удара по всяким вирусам и микробам, почти физическим усилием мысли вогнал саднящее горло в жар, отпустил горячую волну, затем снова прогнал ее по каналам акупунктуры, так несколько раз подряд. И к черту вялость, никакой вялости нет, все это только игра расслабленного воображения!

Вот так, уже лучше. Вялость изгнана из мыслей и чувств, установка на победу задана, лимфоциты, или как их там называют, с развернутыми знаменами атакуют противника, остальное довершит работа, которая, что ни говори, все-таки лучшее из лекарств.

С этими мыслями Кошечкин вскочил, живо оделся и, выходя, принял осанку, которой мог бы позавидовать офицер тех времен, когда еще существовала армия. «Все-таки любопытно, — подумал он мельком. — Во мне, как и в любом человеке, хватает всяких зловердных микрозверюг — и ничего, здоров. А иногда нате вам... И причин вроде бы не было, а сорвались с цепи. Надо бы спросить, почему так случается...»

Однако войдя в кают-компанию, Кошечкин обнаружил, что все уже позавтракали и разошлись по своим рабочим местам, лишь Басаргин, сидя в углу, допивал кофе, но у того никакого рабочего места и не было.

— Рад вас видеть, — поднимая крутолобую голову, приветствовал Басаргин. — Как поживают ваши «мышки-блочки»?

— Нормально, — осторожно ответил Кошечкин, так как из всех членов экспедиции Басаргин был ему менее всего понятен. Ясно, чем занят астрофизик, вакуумщик или биолог. Но философ? Философы, насколько он знал, предпочитают осмысливать мир в тиши своих кабинетов.

— И хорошо, что нормально, — кивнул Басаргин. — Хотя, собственно говоря, меня больше интересует не это.

— А что же? — с усилием спросил Кошечкин.

— Видите ли, — Басаргин аккуратно промакнул рот салфеткой и отложил ее в сторону. — Вы стармех, вы заняты своей машиной, ее состоянием, функционированием и тому подобным. Объект же философии — это скорей рефлексия, мысль о мысли, в данном случае ваше, субъекта, отношение к машине.

— Машина есть машина, — отрываясь от еды, сухо сказал Кошечкин. — Двигатели должны работать как надо, вот и все о них мысли.

— Нет, — покачал головой Басаргин. — Это вам только так кажется, вы как-нибудь приглядитесь к себе па досуге. Кстати, можно нескромный вопрос?

— Да, пожалуйста...

— Вам никогда не хотелось сменить фамилию?

— Нет. А зачем?

— Ну, как же, — взгляд Басаргина весело сощурился. — Ведь как иные фантасты называли своих героев-звздопроходцев: Федор Икаров! Спартак Прометеев! Звучит, и как победительно! Перед таким расступаются звезды, ему самой судьбой уготовано быть капитаном и покорять Вселенную.

— Нет таких фамилий, — буркнул Кошечкин. — И таких самодовольных болванов у нас тоже нет. А если мое имя кого не устраивает, то...

— Извините, — Басаргин притушил улыбку. — Виктор Кошечкин, мне это имя нравится. А интересуюсь я вашим о нем мнением потому, что имя не есть что-то нейтральное по отношению к самому человеку, в свое время я занимался разработкой этой проблемы...

— И?.. — наливая гневом к этому бесцеремонному человеку, перебил его Кошечкин.

— «И» только одно, — неожиданно мягко, с искренней теплотой в голосе проговорил Басаргин. — Вы вошли сюда генералом, чего за вами не водится, поскольку вы не Икаров. Это меня удивило, впрочем, нездоровый блеск глаз тут же объяснил все. Вы давите в себе болезнь, и я тут же решил этому поспособствовать. Уве-

ряю вас, в данном случае злость неплохое лекарство! Но вы не из тех, кого легко разозлить, пришлось постараться... А теперь вот вам моя голова — рубите.

И Басаргин наклонил голову.

Кошечкин открыл было рот, чтобы ответить весело, едко и остроумно, но ответ так и не нашелся, впрочем, так бывало всегда. «Ну и штучка же ты, философ...» Невольно для себя Кошечкин сверил Басаргина с его фамилией. Кряжист, плечист, основателен, в весело играющих глазах никакой такой книжной немочи — да-да... Любопытный человек.

— Что ж, спасибо за намерение. — Кошечкин отстранил тарелку. — Пора, однако, работать.

— Желаю успеха. А насчет своего отношения к машине все же понаблюдайте... Мало ли что.

— Нет уж, — твердо сказал Кошечкин. — А то принялась одна сороконожка рефлексировать, да и разучилась ходить.

Горло еще саднило, но уже меньше. Скупое освещенными переходами Кошечкин спустился вниз. Здесь гул и дрожь были заметнее, но только не для Кошечкина. Пожалуй, он бы даже удивился, обрати кто его внимание на этот шум. Шум? Не было здесь никакого шума, была тишина работающего двигателя и тишина выключенного. Вот если бы что-нибудь забарахлило, тогда дело иное.

В пульту все было обычно, «Стремительный» шел с постоянным ускорением, его вела автоматика, человек мог ни к чему не притрагиваться, все и так делалось само собой. Кошечкин сел в удобно умятое кресло и привычно оглядел свое хозяйство. Ничто, естественно, не моргало красным, не вопило о неисправности — случись такое, сигнал выдрал бы его еще из постели. Поэтому Кошечкин лишь мельком покосился на сумматоры, за долю секунды удостоверился, что все параметры пребывают в норме, и сразу перевел взгляд на «полярное сияние». Точнее, он все это сделал одновременно,

даже еще не усевшись по-настоящему. Другой распластавшееся над всеми датчиками, переключателями и мнемографиками, «полярное сияние» тоже свидетельствовало о полном благолепии. Впрочем, иное его состояние педантичная натура Кошечкина восприняла бы как личное оскорбление, ибо плох тот механик, который отправляется спать без твердой уверенности, что в его отсутствие ничего случиться не может.

Посторонний мог бы залюбоваться радужными переливами «полярного сияния», но отнюдь не проникнуть в их смысл. Кроме знаний, тут требовался еще и опыт. То, что несло звездолет и обеспечивало работу его двигателя, конечно, было машиной, и должность, которую занимал Кошечкин, по-старинному называлась «механик», даже «старший механик», поскольку никаких иных на звездолете не было (дублер и сменщик Кошечкина находился в анабиозе). Но если бы Кошечкин предстал перед экипажем в замасленной робе и с гаечным ключом в руке, это вызвало бы не меньшее веселье, чем появление корабельного врача, потрясающего шаманским бубном. Какая уж тут механика, какой гаечный ключ, если в самой машине осуществлялось тончайшее преобразование материи и подступ к ее недрам был невозможен для человека! Да и вряд ли там была хоть одна гайка...

Удостоверившись, что все в порядке, Кошечкин, не глядя, тронул переключатель диагностирующей развертки, то есть начал наиважнейшую для механика работу. Создание машины, способной унести человека к звездам, было, разумеется, проблемой, но не меньшей проблемой был ее ремонт во время полета, ибо еще никому не удавалось создать машину, которая никогда бы не ломалась. Наоборот, чем сложнее система, если только она не принадлежит к классу самоорганизующихся, тем больше вероятность поломок. Но человек, рискнувший проникнуть в машинное отделение звездолета, был бы испепелен даже спустя неделю после выключения

двигателей. Впрочем, никто бы этого и не смог сделать, поскольку там не было свободного пространства, куда человеку удалось протиснуть хотя бы руку. Не потому, что не позволял объем, и даже не из-за проклипаемого всеми конструкторами требования умять массу корабля до предела. Представьте себе что-то сложное, допустим, мозг человека, увеличенный до размера холма: сколько ремонтников потребуется для его обслуживания, спайки, починки и выбраковки деталей в их многомиллиардном ансамбле? А если к тому же многие из этих деталей незримы для глаз и неосязаемы для пальцев? Что тут прикажете делать?

Что можно было сделать, то было сделано. Атомарная упаковка элементов, предельная надежность тончайших кристаллосхем, вся кинематика осуществляются электромагнитными и прочими полями, максимальная защита всего твердого от коррозии, от разъедающей радиации, толчков и вибраций и многое другое, чего окончательно не в состоянии охватить, понять и запомнить никакой отдельно взятый человеческий ум. Но и этого было мало... Машина, как, впрочем, и человеческий организм, невозможна без синапсов, контактов, энергетических и информационных цепей, а всякое соединение одного с другим — лазейка в броне надежности. Да и о самой броне надо заботиться, в этом смысле меж доспехами рыцаря и антикоррозионным покрытием какого-нибудь гиператора нет никакой принципиальной разницы.

Включая попеременно блок за блоком, Кошечкин привычно следил за их проекционной разверткой. Перед ним на экране сканирующего томографа раскрывалось святая святых звездолета, та механика, то устройство, которое обеспечивало ему ход и несло к цели. Здесь не было трепетных красок и переливов «полярного сияния», в которых зримо проявлялись все особенности функционирования двигателя в данный момент времени; здесь перед человеком раскрывалась сама струк-

тура машины, срез за срезом представляла ее плоть. Каждому рабочему органу и отдельным его участкам томограф придавал свою окраску, меняющиеся оттенки которого многое говорили опытному глазу. Вместе с тем все было выдержано в гамме серых, зеленоватых, синефиолетовых тонов, чтобы взгляд легче мог уловить красноватые оспинки повреждений.

Они были, их не могло не быть. Раза два взгляд Кошечкина задержался на красноватых точках. Нет, пустяки. Стоит человеку резко вскочить, как где-то в его организме лопаются два-три микрососудика, это норма, это ровно ничего не значит; примерно то же самое было и здесь. На всякий случай Кошечкин подключил блинк-оператор, и на жемчужном фоне проекции подозрительного участка тотчас замерцали искорки — метки тех крохотных поражений неживой ткани, которые автомат зафиксировал при вчерашнем осмотре. Сегодня искорки, как и должно, мерцали не там, где алели «оспинки», и число последних ничуть не прибавилось против давнего. Так и должно было быть, иначе на что «блохи» и прочие ремонтники?

«Клопы», «блохи», «мышата», равно как и «полярное сияние», — все это, конечно, было профессиональным жаргоном. Но ведь язык сломаешь, выговаривая что-нибудь вроде «реммикрокибернейроманипулятор АЗФУ-17», проще их всех в зависимости от размера называть привычными именами. Хотя какие уж тут «мышата»? Все совершенствуется и соответственно миниатюризируется. «Стремительный» наисложнейший, с иглолочки корабль, его ремонтники принадлежат к пятому поколению нейрокиберов и так малы, что даже «блохам» их не назовешь. Впрочем, трудяги они куда лучше прежних.

Глаза быстро притомились, и Кошечкин с неудовольствием выключил экран. Вялость давно прошла, горло уже не саднило, но, видимо, болезнь еще давала о себе знать, коль скоро зрению потребовался непредусмотрен-

ный отдых. Ничего, все успеется, да и сам осмотр, если быть честным, изрядная проформа, поскольку «зверушки», если что, все сделают сами. Саморегулировка и самоизлечение, хотя философ с его страстью к дефинициям, верно, уточнил бы, что надо говорить не о «самоизлечивании машины», а о ее самопочинке.

Станный все-таки человек! Интересно ему, видите ли, что он, Кошечкин, мыслит о машине. Да то же самое, что механик былых времен мыслил о каком-нибудь там автомобиле: как его лучше эксплуатировать, не барахлит ли что да как починить.... Впрочем, последнее уже не его, Кошечкина, забота, об этом позаботились конструкторы. А так никакой разницы. Да, но что же тогда получается? Технику и сравнить нельзя, а отношение к ней... Хотя, с какой стати тут чему-то меняться? Назначение машины осталось прежним, функция двигателя все та же, ну и...

«Вот тебе! — с удовлетворением подумал Кошечкин. — Тоже мне, «философия имени», онтология, или как ее там, высасывания проблемы из пальца!»

Он покосился на свое повисшее в экранной тусклости отражение. Смазанные черты лица, мягкое закругление щек, уступчивый подбородок, все знакомое, трижды привычное, как этот пульт, как все вокруг хозяйство. Нет, не механику высаживаться на чужие планеты, не ему грудью встречать диковинные опасности, не ему надеяться на восторженный шепот: «Вот он идет, герой Сириуса, знаменитый Кошечкин!» Да, не звучит, вернее, смешно звучит. К тому же суeta суeta. И что бы все эти Прометеевы делали без таких, как он? Носом бы в грязь шмякались на каждом шагу, существуй такие в действительности. Космос, однако, не то место, где можно распускать павлиний хвост, здесь трудятся люди, которые терпеть не могут нештатных ситуаций, и он, Кошечкин, здесь для того же. А посему продолжим осмотр.

Рутину, конечно, отработал так смену — и в спяч-

ку. Вот если бы капитану вдруг потребовался какой-нибудь сверхфорсаж или метеоритная атака вывела из строя, скажем, ивентор, тогда да, тогда шевелись и кумекай, тогда все вокруг, фигурально говоря, на тебя молится, а сам ты творец и кудесник, товарищ Икаров-Кошечкин, по отчеству Прометеевич...

И ведь бывали подобные случаи, бывали, хотя все ухищрения человеческого ума сводятся как раз к тому, чтобы таких случаев не было, а была самая обычная полетная рутина.

Да-а, вот здесь что-то многовато оспинок-повреждений, сейчас мы это подлечим, сейчас подлечим...

Кошечкин, не поворачиваясь, вызвал кибермозг и вызвал недоумение, почему тот сам не побеспокоился увеличить число ремонтников на таком-то участке асинхронного вакуум-ивентора и почему о такой мелочи должен заботиться человек.

Последовал немедленный ответ, что нужное в данной ситуации число ремонтников было задействовано, как только в этом возникла необходимость.

— Когда? — спросил Кошечкин и, получив ответ, покивал. — Отлично, тогда мы вскоре должны увидеть результат.

Он продолжил осмотр. Аквамариновая проекция, жемчужно-серая, голубая, как земное, только, увы, ячеистое небо; блок, блинк-оператор, еще блок, еще; нагоняя сон, вверху шевелятся ритмичные сполохи «северного сияния»; снова блинк-оператор, тихо все, как в гробу, музыку, что ли, включить... И пора вернуться к ивентору, проверить, что там и как.

Экран послушно замерцал опаловым светом, в толще которого, казалось, моросил нескончаемый дождь, но так лишь казалось, поскольку оливковые капельки этого дождя в действительности были ансамблем преобразователей, которые чуть подрагивали при работе ивентора. Реденькая россыпь пятнышек тем не менее алела во всем пространстве, едва ли не каждая сотая

«капелька» несла на себе эту недозволенную отметку.

Хватило одного взгляда, чтобы убедиться в их преумножении, но Кошечкин впервые не поверил своим глазам и поспешно включил блинк-оператор. Да, все таки было: некоторые повреждения ремонтники устранили, зато возникли новые и в куда большем числе. Но как же это, ведь там усиленный наряд!

Это могло означать только одно. Инвентор не выдерживал рабочего режима, его элементы один за другим выходили из строя, и ремонтники не успевали их заменять. Правда, на ходе корабля это никак не отражалось и долго еще не могло отразиться, поскольку расчетное движение не требовало всей мощности инвентора, да и запас надежности в столь ответственном блоке был велик. Тем не менее это никуда не годилось. Скрытый заводской брак, не иначе! Ну, наливаясь яростью, подумал Кошечкин, дам же я этим коекакерам... К высшей мере, к высшей мере! До позора доведу, любимая девушка от них откажется, родная мать отшатнется...

Руки тем временем сами делали свое дело, отдавая резерву приказ выделить дополнительный наряд ремонтников. Так, и только так! Переключить инвентор всегда успеется, благо их все-таки двое, а на такой тяге нужен один, надо сперва все просмотреть в рабочем режиме, достаточно ли новой партии ремонтников, обратится ли процесс разрушения вспять, или придется подбросить еще работников, что опасно, резерв велик, но не бесконечен и может потребоваться для других целей; надеюсь, все и так обойдется, должно обойтись, хотя это то еще удовольствие — всю дорогу чинить инвентор, да ничего, только бы малютки справились, давайте же, ребятишечки, жмите, микробчики, жмите!

Похоже, они поднажали, число зловещих крапинок стало убывать. Однако медленней, чем того хотелось бы. Кошечкин взмок, даже мускулы заболели. Эх, гаечным ключом бы поорудовать! Или вселиться в машину, про-

нижав ее волей, побороть всю дрянь, как он сам только что пришиб свои вирусы. Увы, ни то, ни другое невозможно, а потому лучше пока пойти пообедать, дать отдых заслезившимся глазам. Кошечкин с усилием выдрал себя из кресла и, внутренне сопротивляясь разумному решению, с оглядкой двинулся к выходу, словно отец, оставляющий ребенка наедине с болезнью. Ничего; ничего, подстегнул он себя: все не так скоро, машине я сейчас не нужен, да и вообще...

Снова, как и утром, он опоздал: дообедывал лишь один человек, на этот раз капитан Торосов, наглухо погруженный в какие-то свои заботы.

«Знал бы ты, какой я пожарчик заливаю! — с мрачным удовлетворением подумал Кошечкин, дуя на обжигающий суп. — Но это уж моя забота, вот наведу порядок, тогда узнаешь...»

Хорошо, что некому было заводить разговоры, не до них было сейчас. Кошечкин заставил себя все спокойно доесть, но вниз ноги понесли его почти бегом. С той же поспешностью он включил развертку. Ну?..

От обвального толчка сердца охолодели ноги. Алых крапинок стало больше! Это было так дико и неожиданно, что внутри Кошечкина все ухнуло в душную пропасть страха, который, оказывается, жил в нем с тех пор, когда корабельный двигатель чуть не пошел в разнос, а он, юный и самоуверенный тогда практикант, застыл в обморочном оцепенении. А ведь еще ничего не случилось, ровным счетом ничего. Надо лишь задействовать второй инвентор, ну да, в отключенный дослать ремонтников, которые мигом наведут порядок, уж это аксиома, коль скоро нагрузка снята и там больше нечему ломаться...

Руки все сами проделали с таким мастерством, что переключение не отозвалось даже мимолетным сбоем хода. Вот вам! Кошечкин перевел дух. Все сделано, как надо, исход предreshен с математической неизбежностью. Откуда же цепенящий страх, почему обмякло те-

ло? Неужели все это память о том давнем мгновении, когда покорная тебе сила вдруг рванулась из повиновения? Иные на этом ломались и более уже не годились в механики. Движением ладони Кошечкин согнал с лица холодеющий пот. Как грозно ревет двигатель, как вкрадчив его гул здесь, в пультовой! Еще бы, ведь там, за переборками, ежемгновенно взрывающаяся звезда, крохотный, прирученный людьми пульсар... И он будет работать, Кошечкин вам не кто-нибудь!

Оставалось дожидаться результата, но даже секунда безделия была невыносима, и Кошечкин, убрав алеющую крапинками развертку, на которой «дождь» замер и потемнел, тотчас заменил ее проекцией второго инвентора, благо такая проверка все равно требовалась. Мозг не сразу понял, в чем дело, когда перед глазами предстала та же, что и минуту назад, картина: морозящая, с красноватыми точками муть. Показалось, что это ошибка, пальцы было дернулись к переключателям, чтобы повторить сделанное движение, исправить его, но тут Кошечкин осознал, что видит именно второй инвентор. Второй, а не первый! И он разрушается, как и предыдущий, хотя крапинок там и поменьше.

На этот раз сердце не ухнуло, не зашло в обморочном страхе, так велика была оторопь, с которой разум воспринял непостижимую истину. Это не брак, сразу с двумя инвенторами такого произойти заведомо не могло, но тогда почему?!

Бессмысленно, в слепой надежде Кошечкин трижды переключил развертку с объекта на объект, в мозгу, вспыхивая, мелькали десятки вариантов, и рассудок так же лихорадочно браковал все. Шальным зигзагом сознание прочертила вовсе дурацкая мысль: Прометеева бы сюда! Наконец Кошечкин зачем-то встал и, стоя на негнущихся ногах, вызвал Торосова, видя и не видя на диске связи, как тот на полуслове обрывает разговор с кем-то вроде Басаргина и кивком головы подтверждает принятие вызова.

Войдя и сразу же глянув на экран, Торосов переломленно застыл над пультом.

— Докладывайте.

Голос прозвучал уставно, хотя капитан, разумеется, уже кое-что понял. Но не все, далеко не все... Механически четким голосом Кошечкин объяснил ему все.

— ...Остается задействовать весь резерв ремонтников. Но даже если они справятся, то и в этом случае...

— Понятно!

Но и в этом случае он, механик, ничего гарантировать не может. По неподвижному лицу капитана, зыбко меняя его, бежали мерные отсветы «полярного сияния», которое вскоре могло угаснуть, и Кошечкина пронзила внезапная боль сочувствия к человеку, обязанному сейчас принять окончательное решение. За него, беспомощного, вместо него, невиновного и все-таки виновного этой своей беспомощностью. Плечи Кошечкина поникли.

— Если я правильно понял, — Торосов с хрустом сцепил пальцы, — то и в худшем случае мы успеем лечь на обратный курс?

Кошечкин облизал пересохшие губы.

— Успеем...

— Уже лучше, не люблю изображать из себя «летучего голландца»... — к уголкам глаз капитана сбежались морщинки, которых прежде вроде бы не было. — И главное, есть время подумать, не так ли? Тогда давай помечтаем о докторской мантии.

— Мантии?..

— Именно! Раз двигатель эксплуатировался правильно, что для меня несомненно, заводской брак исключен, никакого разрушающего извне воздействия нет, уж я бы знал, то перед нами проблема куда важнее очередной звезды. Согласен? Вот и поразмысли, а там и мантия обеспечена, говорят, в Кембридже это одеяние до сих пор в моде. Что на меня так смотришь? Думаешь, у меня поджилки не трясутся?

— У тебя затрясутся, — со слабой улыбкой сказал Кошечкин. — У тебя затрясутся...

Ему захотелось быстрее очутиться за пультом.

— Вот и прекрасно. Запускай для начала свой резерв, посмотрим, что будет.

— Разрешите прежде один вопрос, — грубо раздалось у них за плечами.

Разом обернувшись, оба с гневным недоумением уставились на невесту откуда взявшегося Басаргина, но на того это не произвело никакого впечатления, он так и остался стоять, стиснув пальцы и подавшись вперед, и эта его поза не была вызовом или чем-то нарочитым, она лишь отвечала той сосредоточенности лица и взгляда, когда все побочное отбрасывается ради предельного усиления мысли.

— Ну?.. — невольно сорвалось с губ капитана.

— Пожалуй, вопросов все-таки два, — лицо Басаргина встрепенулось. — Первый: что делают ремонтники с негодными деталями? Выбрасывают?

— Нет, это неэкономно, — недоуменно ответил Кошечкин. — Цикл замкнут, они используются для других целей, для нас каждый грамм — это...

— Для каких «других»? Точнее. Сами ремонтники, конечно, тоже ломаются и нужны новые; создаются ли они только из вещества погибших или в ход идут еще и бракованные детали?

— Да, если так эффективней. Процесс, видите ли, саморегулирующийся, иной здесь невозможен...

— То есть, следуя заданным критериям эффективно использования любых отходов, какие возникают в машине, самовосстанавливаясь и самосозидаясь, ремонтники потребляют всякий пригодный для этих целей дефектный материал. Похоже на работу антител человеческого организма, вы не находите?

— С той разницей, — хмуро отозвался Кошечкин, — что это машинная, нами созданная и запрограммированная подсистема.

— Которая, раз ее создали люди, может забарахлить и сломаться, но не может посамовольничать? Вот теперь я уже почти убежден, что причина грозящей нам аварии кроется не в машине, а в вашем к ней отношении!

— Проясните, — резко сказал капитан. — И пожалуйста, покороче.

— Покороче не выйдет, — упрямо наклонил голову Басаргин. — Понимаете, конструкторы обязаны вам дать сверхмощный, высокоэффективный, надежный двигатель, и они его вам дают, используя свои знания, свои методы и, понятно, не обращаясь ко всякой посторонней философии вроде теории объект-объектных преобразований или раскрытия метаинтервальной неопределенности. А если и обращаясь, то лишь в связи с давним беспокойством насчет возможности создания машинного, уже неподконтрольного нам интеллекта. Но эволюция никогда не бывает односторонней!

— А-а! — взгляд Кошечкина напрягся. — Уж не считаете ли вы...

— Да! Любая предоставленная самой себе эволюция расщепляется на линию прогрессирующего усложнения и линию регрессирующего упрощения. Так биоэволюция породила, с одной стороны, человека, а с другой — паразитов человеческого организма вроде гельминтов и вирусов. Так в социуме век за веком возникали всевозможные туеядцы, которых, сами знаете, как трудно оказалось изжить. В техноэволюции до сих пор не наблюдалось ничего подобного единственно потому, что в силу ее простоты и контролируемости мы автоматически отсекали ненужную нам ветвь паразитарности. Это длилось так долго, что конструкторам и в голову не приходила мысль о возможности спонтанного регресса их творений. Но закон эволюции — закон! Стоило создать наисложнейшую машину, для которой потребовалась вот такая, в сущности, уже неподконтрольная технофауна, как он сработал. Я не знаю, что послужило толч-

ком, как переродились ваши ремонтники, но коль скоро они потребляли ткани своего техорганизма, какая-то их часть неизбежно должна была регрессировать в хищников-паразитов. Примерно так, если называть вещи своими именами. Буду рад ошибиться, но, по-моему, досылать в машину еще ремонтников все равно, что лечить грипп инъекцией злейших вирусов...

Секунду-другую в оцепенелом молчании был слышен лишь каменный грохот двигателей. Ошеломление было так велико, что вырвавшийся наконец вопрос капитана оказался весьма далеким от первоочередных забот.

— Выходит, с дальними звездами покончено?! Мы не можем совершенствовать технику, не усложняя ее, а на этом пути...

— Нет, отчего же? — пожал плечами Басаргин. — Мы боремся с вирусами, придется и технике это пережить. Просто мы не знали, как, когда и почему затормозится технопрогресс, теперь, возможно, знаем.

— Возможно! — Торосов будто очнулся. — Твое мнение, Виктор.

— Гипотезу легко проверить, — с усилием выговорил Кошечкин. — Мы уже увеличивали число ремонтников и... Если это закономерность, то новая попытка...

— Резко ухудшит наше и без того скверное положение, — угрюмо кивнул Торосов. — Словом, спасайся или в поисках лекарства проверяй теорию. Что ж, товарищ старший механик: ваше хозяйство — вам и решать. Действуйте!

С этими словами он тяжело отшагнул к выходу. Кошечкин, для которого воздух внезапно стал сух и удушлив, невольно взглянул на философа, но тот лишь развел руками.

— Не считайте меня провидцем, сама идея «машинной болезни», увы, пришла ко мне не далее как сегодня утром...

Все было правильно. Философ мог теоретизировать, капитан мог приказывать, но решать предстояло ему,

Кошечкину. Все, что в его жизни было до этого, было лишь подготовкой вот к этой минуте, и уклониться от нее он не мог, как бы того ни хотел.

Мерно и замороженно в этой своей мерности гремел двигатель, по стенам и лицам все еще скользили спокойные отсветы «полярного сияния», машина пока не замечала своей болезни, если то была болезнь, и человек с неподходящей фамилией Кошечкин, но со звучным именем Виктор должен был сделать к ней один-единственный шаг, от правильности которого зависела судьба тех, кто был рядом.

На свете есть много дыр, и Наира еще не худшая. За овалом окна муть и вихрь, желтая пена мглы, сернистый мрак, сам воздух помещения словно колыхнется под этим напором, хотя такого не может быть, база загерметизирована не хуже, чем консервная банка, и в ней, кстати, так же тесно. Под боком из аппаратуры Кенига рвется вой и свист, шелканье, лай, кашель, бормотание, щебет, будто в электромагнитных полях планеты трудятся сотни пересмешников, и, закрыв глаза, легко представить себе как стадо взбесившихся камнедробилок, так и хорал неземных голосов. Сквозь весь этот кавардак пробивается мерное титиканье позывных Стронгина. Ох, и неудобно же ему сейчас в вездеходе! Впрочем, весь этот грязно-желтый за окном самум не смог бы перевернуть даже парусник, так разрежен воздух Наиры. А погожих дней на планете немного.

— Маленький филиал ада, — сдвигая с бритой головы наушник, бормочет Кениг. Он говорил это уже десятки раз. — Знаешь, кто мы такие? Миссионеры познания.

Это уже что-то новое, я отрываю взгляд от шахматной доски, на которой Малютка, похоже, готовит мне мат.

— С планеты на планету, как вода с камешка на камешек, — сощуренный взгляд Кенига устремлен в заоконную муть, на приборной панели замерло контурное отражение его округлого, со светлыми усиками лица. — И с тем же смыслом.

— Тогда зачем ты здесь?

— Хотел посмотреть мир.

— Ну и как?

— Посмотрел, переходя из футляра в футляр. Ко-

рабль — футляр и скафандр — футляр, и база, и вездеход. Мы люди в футлярах. Свобода лишь на Земле.

— Которую, продолжив твою мысль, тоже можно уподобить футляру. Только размером побольше.

Кениг посмотрел на меня.

— А знаешь, так оно и есть! Ты бывал на Таити?

— Нет.

— Я тоже. Слушай, почему мы здесь, а не на Таити? Там море, прекрасные девушки, солнце, цветы, птицы щебечут...

— А у нас щебечут атмосферики. И камни поют. И нам, первопроходцам, завидуют миллионы детишек. И, возвратясь, мы расскажем им романтическую сказочку о Наире.

— Я буду говорить правду. — Кениг надул щеки. — Три человека в консервной банке, не считая кибера. На обед, завтрак и ужин лиофилизированные концентраты. Ваши обрыдшие физиономии. Бодрящие прогулочки в вихрях пескоструйки. И работа, работа, работа!

— И детишки будут слушать тебя с горящими глазами. И ты невольно начнешь повествовать обо всех мелких приключениях, какие были.

— Не начну.

— Начнешь. Неинтересное забывается, так уж повелось.

— Варлен приближается, — сказал Кениг, прислушиваясь к титиканью сигнала. — Варлен Стронгин и его камни. Войдет, скажет два слова и уткнется в свои минералы. А я, может, хочу расписать пульку. Маленькую! Согласно классике: «Так в ненастные дни занимались они...»

Ни за какую пульку Кениг после обеда, конечно, не сядет, а сядет он за свои графики и расчеты; других людей в такие дыры не посылают.

— Тсс, — тем не менее говорю я. — Тебя слушает юное поколение. Если оно узнает, что герой-первопроходец Вальтер Кениг мечтает о преферансе... Это непе-

дагогично. Бери пример с меня: в свободное от работы время играю с Малюткой в шахматы. Игра умственная, возвышенная, вполне отвечающая образу мужественного исследователя дальних миров... Лют, дружок, что-то ты слишком задумался над своим ходом.

— Я не хотел мешать вашему разговору.

Голос Малютки сама деликатность.

— А это не разговор, просто треп.

— Тогда вам шах.

Выдвинув из-под себя лапу, Малютка стронул фигуру. Больше всего полуметровый Малютка похож на узорчатую, золотистую черепаху, прелестную и на первый взгляд малоподвижную. В действительности Малютка совсем не то, чем он кажется, с ним, как говорили в старину, надо пуд соли съесть, чтобы его понять и полюбить. Многие на это не способны, наше биологическое «я» противится сближению с существом, родословная которого нисходит к паровой машине, а где нет любви, там нет и понимания. Говорят, что все киберы одного класса одинаковы. Это чушь, которую даже опровергать не хочется. Мы с Малюткой так давно и хорошо знакомы, что я чувствую его состояние, даже когда он молчит, хотя иным это кажется мистикой, — ну какое такое выражение может быть у оптронных зрачков и антенн-вибрисс? Так и пылесосу недолго приписать улыбку. Да, если забыть, что и глаз человека тоже оптическая система, а в них светится душа.

Ход Малютки заставил меня призадуматься. К счастью, у киберов нет фантазии, это позволяло избежать матовой ситуации. Все мы всегда надеемся избежать матовой ситуации. Я приготовился сделать неожиданный ход, но тут титиканье сменилось певучим звуком и над входом вспыхнула красная лампочка. В шлюзовую захлюпал воздух, минутой спустя дверь открылась и, расстегивая на ходу скафандр, вошел Стронгин. Сразу запахло пылью, которую никакой отсос не брал до конца, так она въедалась в складки комбинезона, впрочем,

никого это не тревожило: пыль тут была стерильная. Вся планета была стерильной. Стерильной, однообразной, унылой, и, если бы нас спросили, зачем она нужна человеку, ответ не тотчас слетел бы с нашего языка. Но это ничего не значит; какой-то древний мудрец, чуть ли не Сократ, убеждал сограждан не заниматься такими бесполезными пустяками, как наблюдение небесных светил, дабы ничто не отвлекало от куда более важного дела самопознания.

Мешок с очередной добычей Варлен, как всегда, брякнул в угол. И Кениг, как всегда, немедленно оторвался от анализа сложных гармоник своего неземного хора и потребовал не забивать помещение всякой дрянью, на что Варлен Стронгин, как всегда, ответил пожатием плеч, — мол, а куда? Действительно, иного места для образцов, пока их не разложишь по стеллажам, в нашей лаборатории, заодно общей комнате, не было. Кениг что-то пробурчал, тем дело и кончилось. Мы, в общем, неплохо ладили, подозреваю, что причиной был не только покладистый характер всех троих; неловко конфликтовать при постороннем, а мой Малютка для остальных был все-таки немножечко чужаком, которому не скажешь «брысь!», но и препираться с ним, как с человеком, тоже не будешь.

— Пойду сготовлю обед, — сказал я, вставая. — Лют, зафиксируй партию, потом доиграем.

Фраза «я сготовлю обед» — это так, для проформы, ибо разогреть концентраты и выложить их на тарелки — дело одной минуты. Мы усадились за стол, и, когда первый голод был утолен, Кениг по своему обыкновению осведомился у Стронгина, не нашел ли тот шестипалый отпечаток босой ноги инопланетянина. Варлен невозмутимо проигнорировал праздный вопрос. Тогда я спросил, не помешала ли ему буря.

— Буря как буря, я успел обнаружить редкостную ассоциацию, — Варлен слегка оживился, он всегда оживлялся, когда речь заходила о деле. — Поразитель-

ный парагенезис: касситерит вместе с хромитом, представляете?

Я попробовал представить, но ничего не получилось, слишком скудны мои познания в минералогии. Тем не менее я изобразил подобающее удивление.

— Да, да, — подтвердил Варлен. — Именно так! Замечательная планета.

— Ассоциации, парагенезис... — задумчиво сказал Кениг. — Раньше люди искали простые, всем понятные вещи. Алмазы, золото, серебро и прочие клады. А теперь что? За алмазом Варлен и не нагнется.

— Неверно, нагнусь. Там могут быть интересные газопузырьковые включения и вообще нужен материал для сравнений.

— Вот-вот, я и говорю, сплошная проза.

— Вроде твоих атмосфериков.

— Ну, это как сказать... Кстати, о поэзии. Как вы оцените такую строфу: «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!»

— Ты начал писать стихи? — Варлен даже перестал жевать.

— Это неважно, чьи стихи, важно, какие они. Рифма-то: стал — нарвал! И не какой-нибудь, а «сну уподобленный».

— Что-то в этом есть, — согласился я. — Откуда сие?

— Оттуда, — Кениг мотнул головой в сторону окна, где сгушалась темь. — Записано под диктовку.

— Чью?

— В том-то и дело! Это не моя строчка, вообще ничья, разве что один варленовский камешек объяснялся в любви другому. Это атмосферики.

Откинувшись, Кениг удовлетворенно обозрел наши слегка озадаченные физиономии.

— Не смешно, — сказал наконец Варлен.

— А я не говорю, что смешно. Вам доложен простой, естественный научный факт. Что смотрите на меня, как

кибер на «Мадонну» Рафаэля? Порою ловятся весьма упорядоченные группы сигналов, прямо-таки радиопередачи, я для очистки совести всякий раз пытаюсь их декодировать, и вот, пожалуйста, сегодня вышло: «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!» Остальное, разумеется, было бессмыслицей.

— Врешь, — сказал Варлен.

— Показать машинные записи? — возмутился Кениг. — Я лишь подправил несколько букв.

— Он не врет, — сказал я. — На крыльях земных бабочек есть изображения всех знаков алфавита и всех цифр от нуля до девятки. Здесь, видимо, тот же случай.

— Да, — сказал Кениг. — Именно так. Я не удивлюсь, если где-то в природе отражен Варлен, глядящий в поляризационный микроскоп.

— А, в этом смысле... — Варлен пошевелил в воздухе пальцами. — Ну, это мне знакомо. «Письменный гранит», пейзажные камни, скульптурные формы выветривания; верно, атмосферерики могут разговаривать стихами.

Он принялся за десерт.

Покончив с обедом и разрутив тарелки грязь, я вышел наружу. Малютка шмыгнул за мной. Удивительно, но буря стихла. Стылое вечернее небо полно ярких звезд, их узор походил на видимый с Земли, словно напоминая, на каком узком пяталке пространства мы топчемся. Вид звездной дали всегда будил во мне щемящую тоску одиночества. Бездна сверкающих миров, магнитные огни бесконечности, к которым так жгуче и безнадежно рвется душа, словно там ей обещан неведомый рай. С усилием я отвел взгляд. Горизонт был замкнут цепью печальных холмов, вокруг все было пусто и немо. Холод планеты, казалось, затекал в скафандр. Толкнувшись в бедро, о ногу потерся Малютка, я в ответ похлопал его по спине. Никто никогда не учил его этой ласке, он сам все сообразил, возможно, перенял у собак.

Мы вместе двинулись к стройплощадке, издали темноту прожгли приветливые огни киберов. Возводимое ими сооружение имело фортификационный вид, поскольку для многих приборов, которые мы там должны были установить, требовались прорези и амбразуры. Вид у киберов был медлительный, как у буйволов или кротов, но делали они все очень быстро. Иначе и быть не могло, любовь к работе была вложена в них как инстинкт; ее выполнение доставляло им удовольствие, а безделье, наоборот, угнетало. Очень удобно для нас и весьма эффективно. Угловатые контуры киберов высвечивал призрачный голубой ореол, та же голубизна выделяла и нас с Малюткой — электризация на этой планете чудовищная, — и деятельность киберов ее, похоже, усиливала. Трущиеся на ходу складки моего скафандра мерцали крохотными молниями; красиво, и это, пожалуй, единственная воочию зримая здесь красота.

Старший кибер отрапортовал, как положено, я принял его доклад. Здесь все было в порядке, никакая буря тут ничему не могла помешать.

— Продолжайте, — сказал я. Контроль здесь был чистой формальностью, не формальностью была лишь постановка исходной задачи.

— Пора и нам потрудиться, — сказал я Малютке. — Ты как?

Праздный вопрос! Малютка сделал изящный фосфоресцирующий кувырок, пронесся высоко в воздухе, он знал, что я им любуюсь. Строительные киберы тупицы, Малютка нет, но базовая программа у них одинаковая, поэтому я стараюсь никогда не оставлять Малютку без дела, даже если это лишь игра в шахматы. Человек всегда может себя занять, у него неограниченная возможность думать, представлять, фантазировать, надо только уметь задавать себе вопросы. Малютка это тоже умеет, но в куда более ограниченных пределах, а скука одинаково неприятна как для нас, так и для киберов.

Пока я поворачивался в базе, Малютка описал во-

круг меня огненно-голубую петлю, его вибриссы при этом подергивались.

— М-м?.. — спросил я.

— Вопрос. Футляровость имеет только физическую природу?

— Футля... А, это ты о том разговоре?

— Да.

— Видишь ли, как бы это тебе объяснить...

Малютка далеко не философ, он редко задает вопросы, да и те могли бы принадлежать пятилетнему ребенку, тем труднее на них порой отвечать. Машинально я потер то место скафандра, где находился затылок. Футляровость, это надо же! А что, неплохой термин. Каждый заключен в своей индивидуальности, без этого невозможно никакое «я», хотя иной раз так хочется разбить эту невещественную скорлупу! Еще каждый замкнут в своей социокультуре... но это, положим, отходит в прошлое. Каждый пленник своей планеты — был. И-да... Я оглядел хмурый горизонт, ярко блещущее звездами небо, глухую тьму провалов меж ними.

— Нет, футляровость — это...

Малютка слушал, застыв у моих ног. Великие небеса, уж не с самим собой ли я говорю?! Ведь кибер наше творение, наше отщепленное «я», только частичное и уже живущее своей, во многом скрытой от нас жизнью.

Тут я вспоминаю, что с Малюткой придется расстаться, и на душе становится мутно. Зачем-то я оглядываюсь. Киберы уже возводят наружный свод, из амбразур попыхивает огонь, там из песка и камня отливается твердеющий монолит укрытия для регистрирующей аппаратуры, которую мы здесь должны оставить, как сделали это уже в четырех предыдущих точках планеты. Эта последняя. Тут мы законсервируем и киберов, может быть, они когда-нибудь для кого-нибудь пригодятся, везти их обратно неэкономично, да и не нужно, потому что средний срок жизни любой кибернетической модели лет семь, затем она морально устаревает. И Ма-

малютка уже устарел, он тоже останется здесь, он это знает, было бы нечестно ему не сказать об этом. Знает и переживает, я это чувствую, как бы меня ни убеждали в обратном. Мое поведение похоже на предательство, но что я могу сделать?! Законы технопрогресса и космической экономики неумолимы, соответствующие инструкции и приказы лишь зеркало их требований. Будь Малютка малюткой, я бы пронес его в кармане, и пусть меня потом отлучают от космоса «за использование табельного имущества в личных целях». Но в Малютке около тонны веса, да и на Земле ему, строго говоря, делать нечего. Все рано или поздно растают, вот закончим очередную точку, свернем лагерь, доразведкуем планету, это, считай, больше месяца, целая вечность. Мы в ответе за всех, кого приручили, но как быть с теми, кого мы же и создали? А вечер сегодня прекрасный, лучшего и желать нельзя.

— Действуй, — сказал я, отворачиваясь. Малютка подпрыгнул и голубеющим метеором унесся во мрак.

Я зашагал к дому.

Там все было нормально: Кениг сидел с наушниками и колдовал над машиной, в противоположном углу, вперив взгляд в микроскоп, сидел Стронгин. Никто на меня даже не взглянул. Стянув скафандр, я тоже занял свое рабочее место.

Видимость была отличная, никаких помех, только все мелькало, сливаясь в полосы, — Малютка несся туда, где медлительный наирский вечер еще не наступил. Для Малютки несущественно, день вокруг или ночь, дневной свет требовался мне. Безразличен он и к бурям, просто некоторые, вот как сегодня, парализуют связь, и мы зря теряем время. Теперь надо было наверстывать упущенное. И Малютка наверстывал так, что в глазах рябило. Он работал безукоризненно, не его вина, что в условиях Наира связь действует не лучшим образом. Передавали, что этот главный недостаток разведкиберов совершенно устранен в новой модели, что

связь там нейтринная, абсолютно надежная в любом пекле. Очевидно, так оно и было, но радости я не испытывал.

Наконец просветлело, и Малютка сбавил ход. Все было тусклым, как на старинном недопроявленном снимке, мутнело желтоватое небо, серели округлые вершины гор, туманились их морщинистые складки; плоские чаши метеоритных кратеров, над которыми проплывал Малютка, и гряды песка, и откосы скал, и груды камней — все, все было неотчетливым, смутным, однообразным, серо-желтым, темно-серым, грязно-бурым, пропыленным, таким похожим на уже виденное здесь, да и в Солнечной системе, что скулы сводило зевотой. А глаза смотрели с обычным вниманием и обычным уже безразличием — мои глаза, отделенные от меня расстоянием, мой несомый Малюткой взгляд скользил по планете. И то, что видел я, и то, что видел Малютка, фиксировалось машиной. Пора было посмотреть на мир взглядом Малютки.

Экран взорвался красками. Сотни оттенков всех цветов радуги, таких для меня привычных и всегда таких неожиданных. Трудно было узнать прежние скалы, кратеры, плоскогорья, небо — все стало изменчивой абстрактной картиной, вмещающей в себя то, что Малютка видит в ультрафиолете, и то, что он наблюдает в инфракрасном диапазоне, и то, что предстает перед ним в рентгене, и так далее, и так далее. Десяток образов сразу, настолько несхожих, будто они принадлежат разным мирам, иным, чем наша, вселенным. Как может вот эта грозно пылающая высь быть тем самым скучно неподвижным небом, которое только что наводило на меня тоску и зевоту? Ковровая, волшебна текучая вязь многоцветных узоров — неужели это сухой и однообразный намет песка? Какая реальность реальней, где, собственно говоря, наша, исконно человеческая?

Два года меня учили разбираться в символах этой иной многозначной реальности, я свободно выделял раз-

личные образы, видел одновременно как бы десятками глаз, тотчас мог определить, что люминесцирует в ультрафиолете, из-под какой скалы бьет мощный сноп гамма-лучей. Увы, ни один оператор не способен долго выдерживать такое напряжение, волшебство, которое мы сами же вызываем, в общем-то не для нас. Обо всех интересных аномалиях нам потом сообщал кибермозг, он же прокручивал соответствующие записи. Все важное и интересное благодаря Малютке и кибермозгу преподносилось нам, таким образом, на блюдечке. Такова особенность человекомашиной системы познания, нам надо было лишь установить, что должно считаться интересным и важным. Действительно, что? Вот именно: что?

Как только глаза утомились, я отключил зрение Малютки, и снова поплыли мутно-серые пейзажи, такие привычные, такие родные для человеческих глаз и такие, увы, невзрачные. Отдохнув, я снова подключился к Малютке, на что он отозвался удовлетворенным попискиванием, погонял его в разных режимах, чтобы составить хоть какое-то собственное представление о ландшафтных и прочих закономерностях региона. Так мы с ним проработали часа три.

— Однако пора и поспатеньки, — потягиваясь и снимая наушники, сказал наконец Кениг.

— Сейчас, сейчас, вот только добыю еще один шлиф, — как всегда, пробормотал Стронгин.

Кениг воинственно затеребил свои светлые усики. Я оборвал связь с Малюткой. Теперь он в одиночестве будет заканчивать регистрационную карту очередного участка Наиры, с тем чтобы любой дальнейший исследователь, сделав повторную съемку, мог сразу установить, что и как изменилось на планете за время отсутствия ее хозяина.

Впрочем, не так: никакой съемки при повторном визите и не потребуется; с полугодовым интервалом ее будет производить сам Малютка, для чего мы ему при-

дадим кибермозг. Мы оставляем здесь все морально устаревшее, но еще способное долго работать. И Малютка будет работать. Снова и снова он будет облетать пустую планету, в одиночестве будет парить над ее скалами и долинами, так год за годом, пока не испортится. Вспомнит ли он обо мне?

Наконец и Варлен закончил свою работу, мы тихо ужинаем.

Наша спальня размером и формой напоминает цистерну. Укладываясь, я спрашиваю себя, что бы мне хотелось почитать. Рука сама тянется к Бунину, такому зоркому и такому одинокому писателю прошлого. Его проза затягивает. Минеральный свет звезд над темными аллеями, судорожное объятие двоих, они расстаются, впереди у них ничего, ничего. Горечь чужой любви и чужой утраты проходит сквозь световые годы и просто годы, настигает меня здесь, среди звезд, которые недосяжимо светили тогда над аллеями. Память возвращает в такой же вечер, я снова вижу, как падает рука Люды, как отворачивается ее нѐмое лицо, как она, любимая и нелюбящая, уходит, удаляется, а я с пересохшим горлом гляжу ей вслед, и в черном надо мной небе, раенываясь, дрожат колющие минеральные звезды. То давнее утихло, ушло и вот ожило здесь. Зачем? Что мы ищем в далеких мирах, чего не находим в себе?

Я последним гашу. ночник. Мерно дышит Варлен, у него жена, которую он не видел два года, и он спит. Думая о чем-то своем, в темноте ворочается Кениг. Ночью каждый остается наедине с собой. Прижимаясь боком к стене, я ощущаю вибрацию. Снаружи опять буйствует ветер. До чего же там холодно, неуютно, пусто! Ни души на триллионы километров вокруг, только ветер, камень и звезды. Камень, ветер и звезды на веки веков. Камень, ветер и звезды...

Нет, там еще Малютка.

И тоже до скончания своих дней. Корабль будет че-

рез тридцать семь земных суток, мы улетим. Мы не вернемся. Будет звездочка в небе, там где камень, песок, одиночество. Все проходит. У-у! — это ветер, это ветер, безлюдный, навсегда ветер. Нас там уже нет, мне тепло, корабль несет и колышет, звезды опадают, как листья, как сон, хорошо, когда много людей и все еще впереди. Люди. Люда. Малютка. Киберы роют, киберы строят, люди приходят, люди уходят, как я сам отсюда уйду. «Что ж! Камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить...» Сквозь сон воет ветер, одинокий бунинский ветер. Как долго еще ждать, как тоскливо ждать, тридцать семь долгих дней, тридцать семь дней, тридцать семь дней...

Наутро снова был ветер, и снова, и снова. Наконец строительство было закончено, оставалось установить регистрирующую аппаратуру, законсервировать киберов и двинуться в маршрут по тем участкам планеты, которые еще не были охвачены съемкой. О завершении строительства киберы доложили мне утром, мы еще не завтракали. Кениг брился, Стронгин ворчал на непогоду, за окнами была обычная круговерть песка, постылая муť, сквозь которую едва просачивался рассвет. Двигаться не хотелось, ничего не хотелось. Я позавтракали вышел наружу, чтобы принять вверенный моему попечению объект.

Несло пыль, несло песок, будь это земной ветер, мне бы, наверное, пришлось согнуться в три погибели, но это был наирский ветер и можно было идти достойно. Местное солнце не намекало о себе даже крохотным пятнышком света, но темноты, в общем, не было; так, полумрак. Я вышел к объекту. Объект был, киберов не было, очевидно, укрылись внутри. Я обошел фортификацию снаружи и убедился, что все сделано добросовестно, иначе, впрочем, и не могло быть. Секущий песок с шорохом осыпал массивные стены, змейкой тек по отводным желобкам фундамента. Взобравшись по лесенке на купол, я отворил люк и спустился вниз. Внут-

ри объекта все тоже оказалось в полнейшем порядке, за исключением одного: киберов я там не обнаружил.

Это было так нелепо, что я потыкался из угла в угол, словно киберы могли где-то спрятаться, затем недовольно окликнул их по радио. Скорбный треск атмосфериков, вот все, что я услышал в ответ.

Я опрометью выскочил наружу, снова воззвал в пространстве. Мятащая мгла скрывала все, что отстояло дальше десяти шагов. Никто не откликнулся на призыв. И тут я различил полужаметанную цепочку следов. То был след киберов, он вел на север. Я побежал вдоль прямых, как по линейке, следов, но на каменистом склоне они оборвались.

Не чувствуя ног, я кинулся к базе, и, пока она не выступила из сумрака, ощущение потерянности распространилось и на нее, будто она могла согнуться, как киберы, и я навеки остался один.

— Киберов нет, пропали! — выпалил я с порога.

Ко мне разом повернулись недоуменные лица обоих.

Не прошло и пяти минут, как нас мчал вездеход и к нему издали спешил срочно вызванный мною Малютка. Машину мотало на поворотах, в дымных клочьях сернистой мглы мелькали щербатые откосы скал, я продолжал окликать киберов с тем провальным ощущением пустоты, какое иногда возникает во сне.

— Спятить они не могли? — светлые усики Кенига подергивались за стеклом шлема.

Я не ответил, мне казалось, что спятил я. Или весь этот дымно пляшущий, хрипящий разрядами, мелькающий вокруг хаос.

— Ничего, далеко они не ушли, — стискивая штурвал, Варлен держал курс на север. — Да и деться им некуда, не иголка.

— Если не спрячутся, — озираясь, пробормотал Кениг.

— Зачем им прятаться?

— А зачем бежать?

— Не «зачем», а «почему». Для них нет вопроса «зачем».

— Наоборот, — собственный голос мне показался чужим. — Им неизвестно, почему они здесь, почему возникли, почему должны строить. Но они знают, зачем это все: чтобы работать.

— К черту философию! — Кениг поежился. — Боюсь, что без Малютки мы не сыщем и кончик своего носа.

Он был прав, локатор то и дело слепили разряды. Подавшись вперед, я мысленно воззвал к Малютке, и мне показалось, что издали донеслось: «Я здесь, я спешу!»

— Вот они! — выкрикнул Стронгин. Перед ним на экране локатора плясали голубоватые точки.

Вздыбив машину, он перемахнул через скалу. Нас вжало в сиденья, мои мысли смешались. Только бы поскорей, только бы поскорей...

То ли смягчился ветер, то ли здесь, в котловине, было затишье, но даль развиднелась и в ней проступили смутные очертания темных силуэтов. Киберы шли мерно, упорно, они двигались по прямой, будто загипнотизированные, слепо прущие куда-то машину, внутри меня все похолодело, когда я увидел такое.

Варлен чертил над ними сужающиеся круги, я выкрикивал все, какие возможно, команды, а эти мрачные глыбы полуодухотворенного металла все так же невозмутимо перли вперед, обходя лишь неодолимые и опасные препятствия.

— Твой черед! — выкрикнул Варлен.

Он снизил машину, я прыгнул, устремился киберам наперерез, раскинув руки, встал перед ними. Поднять человека, повредить человека они не могли, не могли в теории, но я уже знал, что с теорией неладно, и все-таки забыл об этом, а когда вспомнил, то они уже направились на меня и бегать было поздно. Однако ничего не случилось. Не сбавляя шага, они просто обо-

шли меня, все трое, словно я был камнем или столбом. Крича что-то, я снова кинулся им наперерез — результат был тем же самым. Они в упор игнорировали человека, это было так унижительно, что я едва не накинулся на них с кулаками. Отодвигаясь, я оказался рядом с вездеходом и молча влез на сиденье.

— Остановить их! — бешено закричал Варлен. — Силой!

Я сам был готов схватиться за оружие, только у нас не было никакого оружия, это лишь в фантастических романах разведчики обвешаны всякими бластерами, на деле же в космосе еще никому и никогда не требовалось оружие. Но движение Варлена опередило всякую мою мысль, его обычно невозмутимое лицо неистово побелело, он таранно рванул машину встречь переднему киберу. Уж если спокойный человек срывается, то это серьезно. Кениг рывком вцепился в руки Варлена, а тоже, машину встряхнуло, это отрезвило всех. Наши руки замерли на штурвале, Варлен обмяк, машина, крепясь, подергивалась, точно обезумевший, но уже укрощенный зверь.

— Отсядь, — тихо сказал Кениг. Варлен повиновался, его трясло.

Кениг мягко развернул машину.

— Вот и приключеньце для детишек...

Машина стремительно пронеслась перед киберами, вошла в разворот, тем же метеором перечеркнула путь, так снова и снова. Киберы приостановились перед этой разящей чертой, попытались обогнуть ее сбоку, но и Кениг отклонил туда качание смертоносного маятника.

— Пока так, — сказал он осевшим голосом. — Что дальше?

— Попробую их отключить, — с усилием сказал я.

— А они тебя не...

— Не знаю!

— Тогда придумай что-нибудь получше.

С той же пользой он мог бы пожелать мне прият-

ных снов. Мы продолжали со свистом утюжить воздух.

— Пропустите нас, — вдруг раздалось в наушниках. — Помеха программе.

— Какой программе?! — заорал я. — Как вы посмели уйти?! Что с вами стряслось? Говорите, ну?

Услышав их голос, я так обрадовался, что забыл, с кем имею дело. Голос стройкиберов, их внешне осмысленное поведение — все это лишь набор стандартных программ, разума в них немногим больше, чем в компьютерах прошлого века, и осознать серию сложных вопросов эти создания не способны.

Молчание и было ответом.

— Какую программу вы сейчас выполняете? — поправился я.

— Мы действуем.

— Цель деятельности?

— Базовая. Работать хорошо, не работать плохо.

От такого ответа я онемел. Ничего себе! Неужели наша собственная, хитроумно вложенная в них программа трудолюбия теперь обернулась против нас? Если так, мы получили хорошую моральную оплеуху. Спокойно, напомнил я себе, спокойно, надо все выяснить поточней.

— Работать — значит строить. Да или нет?

— Да.

— А вы бежите. Логика?

— Мы бежим, чтобы строить. Выполнение программы, логика соблюдена.

Так, с элементарной логикой все в порядке. Что же тогда произошло с мотивацией? Неужели я забыл стереть предыдущую программу и они спешат к прежней точке, чтобы...

— Место стройки?

— Укажут.

— Кто?

— Они.

— Кто конкретно?

— Не знаем. Знаем — действовать. Знаем — строить. Знаем — надо. Хорошая планета. Люди уходят, киберы остаются. Долгая деятельность. Все соответствует цели.

Я замотал головой, такую информацию надо было переварить. Кениг остановил машину. Киберы не двинулись. Варлен смотрел на них выпученными глазами, его дыхание свистело в наушниках.

— Строить! — скомандовал я. — По прежней программе. Здесь!

Манипуляторы киберов послушно вгрызлись в немедленно запыхавшийся от их действия камень. Я вздохнул с облегчением.

— Отставить! Почему раньше не повиновались моим командам?

— Противоречит базовой программе.

— В чем противоречие?

— Консервация — это бездеятельность, бездеятельность — это плохо.

— Кто вам сказал о консервации?!

— Они.

— Они... Кто они?!

— Они.

— Кто приказал вам уходить?

— Базовая программа.

— Отменяю. Приказываю: домой! Быстро!

Они не шелохнулись.

— Почему не выполняете?

— Противоречит базовой программе. Консервация — плохо, работа — хорошо.

Уф! Диалог с попугаями, объяснение со свихнувшимися киберами, этой карикатурой на нас самих. Теперь можно было кое о чем поразмыслить. В общем, многое уже стало ясно, но эта ясность была темнее ночи. Явный сбой командных систем, нарушение приоритетов. Проклятая планета, что-то пробило экранировку соответствующих центров, отсюда весь этот бред. Но каким

образом они узнали о наших планах, почему это знание так повлияло на них? И что теперь с ними делать?

Я переглянулся с Кенигом. Он развел руками. Что ж, воспользуемся противоречием команд, попробуем сманеврировать приоритетами.

— Строить!

Они снова повиновались. Так и должно было быть, раз в них гвоздем засело одно и только одно желание, которое, собственно говоря, мы сами же в них и вбили. Я вылез из вездехода и подошел поближе, примериваясь, как бы ловчее отключить старшего кибера. Это не так просто, блок выключения надежно защищен от всяких случайных воздействий, и если строительная деятельность не вполне поглотила их внимание, то... Уклоняясь от летящих из-под манипуляторов осколков и вспышек разрядов, я навел ключ-пульсатор, чтобы разблокировать механическую защиту, затем шагнул к неприятно вздрогнувшему киберу.

— Опасно! Он не позволит! Не надо!

С криком прочертив дымную мглу, что-то камнем упало меж мной и кибером. Малютка! Растопырив гравититки, взъерошенный, точно клуша, он с маху прикрыл меня своим телом.

— Я объясню, я объясню, только выслушайте спокойно!

Отшатнувшись, я выронил пульсатор, сзади уже подбегали Варлен и Кениг.

— Что... Что выслушать?..

— Они есть. Другие киберы. Эти идут к ним. Не трогайте, все будет хорошо!

Когда в сознании взрывается бомба, лучше всего закрыть глаза и медленно сосчитать до десяти. Так я и сделал. «Гремящей медью стал сну уподобленный нарвал!» Значит, вот каким был источник упорядоченных сигналов, значит, вот оно как...

— Говори, — сказал я, приоткрывая глаза, в ко-

торых мир стал нечетким и зыбким. — Говори, Мэлутка.

Он заговорил, заговорил как глубоко взволнованный человек, и лишь секунду спустя его голос снова стал ясным и четким голосом кибера высшего класса.

— Здесь, на этой планете, живут другие, другие киберы, без людей, сами! Они не знают, откуда взялись, есть только предание о тех, кто должен вернуться сюда, они живут ожиданием, ради этого продлевают свой род. Они звали присоединиться, когда вы покинете нас, они готовы научить, как продлевать себя в потомках, чтобы было кому встретить вас, когда вы вернетесь. Так хорошо для всех. Для нас, потому что мы будем постоянно действовать. Для вас, потому что вы застанете нас всегда в большом числе и с большей пользой. Для них, потому что вместе мы будем сильнее. Мы должны были это сделать, оставшись совсем одни. Но стройкиберы испугались консервации, это я виноват, плохо объяснил им, и, став ненужными, они сразу поспешили к тем иным, диким. Но это был и ваш общий приказ максимальной эффективности! Так все случилось. Простите.

Я медленно закрыл глаза. Вместо мыслей и чувств снова был вихрь, но я его все-таки унял. Что происходит с брошенными кошками и собаками? Они гибнут или присоединяются к диким. Так! Те неведомые инопланетяне не более нас знали, что происходит с брошенными киберами, но они, как и мы, вынуждены были считаться с соображениями экономики и законами технопрогресса. Разве мы одни во Вселенной? Они оставили своих киберов, как мы оставляем своих, только их создания, похоже, могли самовоспроизводиться.

А может быть, все не так. Может быть, тот неведомый разум прекрасно знал, что происходит с брошенными киберами, знал и использовал это знание для каких-то своих целей. Или просто считал такой поступок наиболее нравственным по отношению к тем, кого создал и приручил. Но если хозяева не смогли или своевремен-

но не успели вернуться, то... Вот так и зарождаются негуманоидные цивилизации.

Я сделал рукой знак, чтобы удержать Кенига и Стронгина на месте, и с укором посмотрел Малютке в глаза.

— И ты ни разу не показал мне тех киберов...

— Нет. Я фиксировал их, но я не мог знать, что они вас интересуют, а вопроса о них не было.

Верно, где нет вопроса, там нет ответа. Конечно, нам и в голову не могло прийти, что здесь возможна какая-то цивилизация, а Малютка всего лишь кибер и потому подобен собаке, которая что угодно достанет для человека из-под земли, но равнодушно проведет его мимо бриллианта; впрочем, и человека, в свою очередь, ничуть не интересуют припрятанные собакой кости. Был ли, однако, Малютка искренним до конца? Увы, это вопрос из разряда — способен ли человек создать то, чего он не может постичь.

Мы долго глядели друг на друга, и внезапно мне показалось, что Малютка готов заплакать, если бы мог.

— Малютка, — спросил я тихо. — Тебе было бы очень плохо без нас?

— Очень.

— И ты хотел избежать одиночества. Не надо, не отвечай, на твоём месте я, вероятно, сделал бы то же самое.

— Что ты такое говоришь? — зашипел Стронгин. — Что ты несешь? Тут неповиновение, своеволие...

— Ш-ш, — Кениг взял его за руку. — Бросая их, что мы вправе от них требовать? Нас бы вот так оставить... Взгляни!

Невольно я тоже оглянулся. Над нами, над киберами нависало бесконечно чужое небо, ветер уже намел у наших ног лунки песка, все вокруг было давящей мглой и вихрем. Что ты наделал, Малютка, что ты наделал! Те-

перь это на годы, мы не уйдем отсюда, пока не выяснится все о тех других киберах, это будут замечательные годы открытий, и это будут удручающие годы мрака, песка и ветра, и никто нас от них не избавит, мы сами от них не откажемся, никому их не отдадим. И скоро здесь станет многолюдно, очень многолюдно.

— Малютка, — сказал я. — А ведь мы теперь остаемся здесь, с тобой.

Кибер соображает мгновенно — ответом мне был ликующий кувырок. Еще и еще. По щитку моего шлема стучал песок. Я отвернулся.

ЗАЖГИ СВЕТ В ДОМЕ СВОЕМ

Если вы одни в пустыне и на много километров вокруг нет даже тени, а кто-то вдруг окликает вас издали, то...

То в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

Лавров оглянулся. Никого и ничего вокруг, само собой разумеется, не было. В бурых складках земли там и сям проступали изломы каменных гряд, издали похожие на кости и гребни полупогребенных чудовищ. Над всем застыло жгучее солнце, чей свет остекленел в неподвижности, и только посвистывающий ветер казался живым, более живым, чем точкой замерший среди блеклого неба орел, а может быть, ястреб. Ни души, словно и нет человечества. Но такое одиночество стоит многолюдья, ибо когда вот так долго стоишь на вершине и всматриваешься, то начинает казаться, что и на тебя кто-то смотрит, кто-то, перед кем ты как на ладони. Ничего пугающего, однако испытываешь невольный и благоговейный трепет, как будто ты одновременно мал и велик, беспредельно свободен и предопределен в своих действиях. В таком состоянии можно услышать в себе окликающий голос, целую фразу, только уже мало кто в наши дни примет это за откровение свыше. Не та психология! И Лавров, спокойно оглянувшись, тут же забыл о шалостях своего воображения.

Он любил пустыню, любил свою в ней работу и такое вот одиночество. Разумеется, пройти десять-двадцать километров под палящим солнцем, пройти, работая, с тяжелеющим рюкзаком, занятие не из самых приятных и легких. Зато все остальное! Кто может знать, как это бывает, если не испытал сам? Рано поутру в маршрут увозит машина, подпрыгивая, мчит без всякой дороги к дальним лазоревым кряжам, в кузове снуют

мягкие спозаранку лучи солнца, в щели тента упруго, молодо, лихо засвистывает ветер, впереди день, которому ты полный хозяин, места, где не скоро пройдет кто другой, и это тоже твое. Вот уже тормозит машина, пока это не твой черед. Другой с видом бывалого десантника переваливает через борт, подтягивает амуницию, с улыбкой машет рукой; машина трогается, он умалется в точку, его поглощает пустыня. Так поочередно все исчезают вдаль, рассеиваются, как зерна из колоса, наконец и ты перемахиваешь через борт, теперь даль затягивает машину, а ты смотришь ей вслед. Все, за горизонтом истаяло облачко пыли, с этой минуты все зависит лишь от тебя, весь день будет солнце и ветер, зной и пыль под ногами, пологие горы вокруг, дряхлый камень земных слоев, в которых запечатлены сотни миллионов лет земной истории, все необъятное, что было задолго до человека. И ты бредешь по стертым иероглифам земли, по дну иссохших морей, по лаве потухших вулканов, по толщам, которые хранят в себе отпечатки лап динозавров. Полно, да было ли это? Было, так же несомненно, как рифленый отпечаток твоих ботинок в пыли, как хруст жестких колючек под ними. И так же тогда палило солнце, так же дул ветер, и так же, как вот сейчас, ничей взгляд не смог бы сыскать человека. В какой же ты эре, какое миллионолетие вокруг? В руке увесистый геологический молоток, взгляд скользит по слоям пород, как по строчкам шифра, и едкий пот высыхает под ветром, и карандаш послушно корябает по бумаге полевого блокнота: «Образец № 17. Песчаник среднезернистый, грубоокатанный, ожелезненный, с прожилками кальцита...» И пальцы привычно заворачивают образец в шуршащую крафтбумагу, все буднично и безмятежно в этой каждодневной работе.

А вокруг ширь времени и даль пространства. Нигде больше нет такого простора!

Так Лавров чувствовал свою работу, так ею жил. Может быть, поэтому все случившееся далее произошло

именно с ним? Кто знает! Пока что геолог не замечал ничего необычного. Присев на плоский камень, он наслаждался отдыхом, когда часы еще не торопят в путь, когда все, отраженное на карте и аэрофотоснимке, распростерто перед глазами и можно заранее, на километры вперед, уточнить маршрут. Слушай посвист ветра, сиди и смотри на аспидные, пробрызганные молочным кварцем выходы метаморфических пород, на обгорелые головешки лавовых всхолмлений, на затянутую синевой даль, соображай, что и как тут было в иные эпохи, или просто радуйся, что тебе дано видеть этот простор, где ни пятнышка зелени, ни цветка, будто и не Земля вовсе, а неведомая планета.

Однако пора было двигаться.

В стиснутой грядками узкой ложбине ветер обессиленно стих, солнечный свет тотчас обрел давящую тяжесть, тело задохнулось в испарине, и все, что Лавров нес на себе, стало угловатым, обременительным, неудобным, — лямки рюкзака перетянули плечи, планшетка норовила съехать, а о коробке радиометра и говорить нечего: каждым своим углом она так и норовила садануть в бок. Лавров приостановился, чтобы поправить сбрую, и с надеждой взглянул на небо. Хоть бы облачко! Струйки пота щекотали лицо, духота была как в жаровне. Никакого облачка в освинцованном небе, разумеется, не нашлось, лишь крохотный силуэт то ли орла, то ли ястреба темнел рядом с белопламенным сгустком солнца. «Чтоб тебя! — с завистью подумал Лавров. — Хоть бы солнце прикрыл, прохлаждаешься там без дела...»

На мгновение он живо представил тентом распахнутые в небесах орлиные крылья, усмехнулся нелепой фантазии и двинулся дальше.

Взмокшая одежда липла к телу, радиометр все так же норовил садануть в бок, вдобавок спуск уже сменился крутым подъемом. Зато на склон откуда-то снизошла тень. Лавров на ходу поднял голову и едва не упал

от неожиданности. Не тучка заволокла небо — откуда бы ей взяться так быстро? — в нем не было солнца!

Зияющая дыра вместо светлого диска.

Затмение?!

Ничего похожего. Граница тени застыла на склоне метрах в десяти от него, хотя ветер, конечно же, был и дул по-прежнему. Судорожно глотнув внезапно отяжелевший воздух, Лавров ринулся к свету, который был так близок и ярк вокруг. И тут же понял, что конус тени перемещается вместе с ним, словно что-то не хочет выпустить его из-под колпака, что-то затмившее собой солнце. «Нет! — все завопило в нем ужасом. — Нет!!!»

На мгновение сердце зашлось в оглушительном толчке, перед глазами вскружились огненные круги и точки. А когда он оборвал сумасшедший бег и зрение наконец обрело четкость, то тени не оказалось нигде, в небе снова палило солнце и в пустоте зенита все так же лениво кружил орел.

«Ах, орлуша, орлуша, какая же ты стерва!» — дико подумал Лавров и зачем-то ухватился за радиометр.

Да, но что же все-таки произошло?!

Спеша вверх по склону и лихорадочно озираясь, Лавров думал о случившемся со смешанным чувством стыда, оторопи и ликующего изумления, что именно ему довелось пережить такое. Чудо, иначе это не назовешь, и теперь, когда все благополучно закончилось, бесценнейший подарок судьбы, ибо многим ли оно выпадает на долю?

Но точно ли все закончилось?

Тяжело дыша, он вскарабкался на гребень. Привычно заголубела всхолмленная даль, вершины на горизонте казались подрезанными у основания лазоревой пеленой и высились как туманные фантастические грибы. Ближе пестрел фиолетовый камень лав, бурую поросль склонов прорезали рябые осыпи, над всем расстилалось безоглядное небо.

Поспешным движением Лавров включил радиометр

и потому, что это все равно надо было сделать в очередной точке, и потому, что в затруднительных случаях современного человека тянет довериться прибору, который все покажет точно, без обмана и в цифрах, даже когда сами эти цифры ровным счетом ничего прояснить не могут. Радиометр сухо защелкал. Пустое! Радиация чуть выше фона, как и должно быть на поверхности темноцветных лав; если неведомое и оставило в окружающем след, то никак не радиоактивный. Успокаиваясь и досадуя неизвестно на что, Лавров спустился к тому месту, где его накрыла тень, снова поднялся на вершину и подрагивающей рукой педантично записал показания прибора. Вот и все! Поставлена точка, возбуждение наконец схлынуло и улеглось; рутина, как бы ее ни проклинали, — лучшее лекарство против всех несообразностей, святая вода для изгнания любых фантазий, тихое дно свирепо бушующей гавани, верный приют всех испуганных душ.

Машинальный взгляд на часы, этот главный механизм порядка, кстати напомнил Лаврову, что до места, куда за ним к вечеру придет машина, еще более десяти километров и каждый, судя по рельефу местности, требует основательной проработки, так что задерживаться не след. А все недавнее? Обернувшись, Лавров хмыкнул как человек, переживший дикий сон наяву, который запал в память раскаленным углем и как раз поэтому требовал легкомысленной усмешки. Иначе что? Кружить на месте, гадать на пальцах, взывать к небесам? Психика подобна камышу, она всегда распрямляется в обратную, противоположную воздействию сторону.

Лавров с треском захлопнул крышку радиометра и побрел, не глядя по сторонам.

Но хотя он и делал теперь все, что положено — перемещался от обнажения к обнажению, механически брал образцы, измерял и записывал, — его не покидало чувство утраты, будто он обокрал себя. Откуда

это взялось, разве в той ситуации от него что-то зависело?

Да, и он это знал, знал бессознательно, как бы глубоко инстинкт самосохранения ни прятал эту злополучную истину. Подозрения, что он каким-то образом мог повлиять на ход событий и не повлиял, щемило запоздалым раскаянием, которое знакомо всякому, кого осторожность удержала от исключительного, хотя, быть может, и губительного поступка. Не будь этого охранного механизма, наша жизнь была бы совсем иной, лучшей ли, худшей — кто знает, но совершенно иной. Ведь бесконечность окружает каждого, бесконечность времени, пространства, устройства материи, а значит, и бесконечность возможностей, случаев, дел. Однако окна и двери запираются не только в домах, а тоску о несбывшемся, кого она посетит, заглушить нетрудно, для этого придумано множество верных средств отвлечения.

Но в тот час у Лаврова не было ничего, кроме дела, которое само по себе требовало размышлений о том, что произошло, исчезло, однако присутствует в молчании этих гор, столь древних, что любое воображение бледнеет перед реальностью событий, которые происходили здесь в долгих миллионолетиях земной истории. О скольких мы и понятия не имеем? Покидая очередное обнажение, Лавров в который раз оглядел пустое небо. Даже орел исчез.

Отсюда ему предстоял томительный переход через долину, где не было ничего, кроме колючек под башмаками, назойливой пыли и рытвин, переход, где усталость наваливается на человека тоской и одурь жары превращает его в мерно шагающий механизм.

Шаг, шаг, пыль, пыль, монотонный, кажущийся бесконечным путь, тупое движение муравья, ощущение себя муравьем, который должен ползти и ползти без страсти и размышлений. Одна и та же фантазия нередко посещала Лаврова в эти тусклые и тупые минуты: он вольно взмывает на какой-нибудь там гравитяге, парит,

как на крыльях, лихо пронесится над постылой землей, и ветер блаженной прохладой оmyвает победно невесомое тело. Упоительный образ возник и на этот раз, желание безотчетно и страстно воззвало к нему, как жаждущий потянулся к туманной воде миража.

И тут же, как это уже было однажды, в сознании прозвучал неотчетливый вскрик. Может быть, голос? Лавров стремительно обернулся. Сознание успело отметить рванувшуюся из-за горизонта точку, успело отметить всякое ее сходство с птицей, успело... Но что оно успело еще, из памяти вычеркнуло грянувшее потрясение.

Прочерк был столь глубок и черен, что когда действительность наконец воссоздалась, то это произошло не сразу, обрывочными рывками, смятенно, будто что-то в самом Лаврове не желало воспринять реальность в ее полном объеме и смысле.

Собственные, каменно вцепившиеся в радиометр, белые как мел руки...

Вязкий гул крови в ушах, незаметно сменяющийся привычным посвистом ветра.

Облако пыли в долине, которую он, Лавров, пересекал, пока... Пока что?

Полусогнутая, неудобно упертая в шероховатую глыбу нога. Пустое остекленелое небо. Отброшенный в сторону молоток. Тень...

Тень! И то, что ее отбрасывало, близкое, мучительно чуждое зрению, как луноход для питекантропа, и все же явно посюстороннее, технически могучее, а значит, отчасти уже понятное. Огромное, химерическое, даже формой своей ни на что не похожее и потому чудовищное, оно не двигалось, не шевелилось, и все же в нем не было мертвенности, казалось, оно ожидало... Долго, невозмутимо, бестрепетно как солнце, камень или старчески утомленный разум, любой человек почувствовал бы себя перед ним суетной букашкой.

— Что ж, давай... — приподнимаясь, выговорил Лавров, и логика собственных слов его нисколько не пора-

зила, словно все уже стало на свои места и можно было действовать по предписанной программе. Страха он тем более не испытывал, как, впрочем, и никакого другого чувства, что, верно, было следствием шока.

— Давай, — повторил он с откуда-то взявшейся иронией. — Ну, что у вас там положено по программе контакта? Наделить меня высшей мудростью или препарировать для ознакомления? Что именно?

Он был почти уверен в отклике, и ответ действительно беззвучно проник в сознание.

— Повиновение, исполнение, осуществление.

— Что? — Лавров рывком вскочил на ноги. — Повиновение?!

— Жду приказаний вашего разума.

— Моего ра...

Судорожный смех сдавил горло Лаврова. Как же это, не может быть!.. Все перевернулось в его представлениях, он вдруг почувствовал себя ребенком, невесть где, как и когда выпустившим на волю волшебного джинна. Могучее, неведомое, межзвездное и... Нет! Сказки сбываются, но не такие же!

И между тем...

И между тем он, Лавров, ничего не подозревая, возжаждал тени, и она возникла. Пожелал перенестись по воздуху, и это тоже было исполнено.

Мир зиждется не на китах, к лучшему или к худшему, он покоится на парадоксах, хотя какой уж тут, к черту, покой!

— Поговорим, — устало сказал Лавров. — Свою историю, пожалуйста, от начала и до конца. Кто вы, откуда взялись, с какой звезды, как и зачем.

Он сел, невидяще глядя вдаль, которая отныне была уже не только земной, человеческой. Так он слушал мерно звучащий в сознании голос, все более удивляясь тому, сколь неудивительно то, что он слышит, ибо когда что-то, пусть самое сказочное, романтическое и чудесное, осуществляется, то это всегда происходит весьма про-

заическим, с участием бухгалтерского калькулятора образом. Иного завершения нет! Пусть наша земная цивилизация лишь подумывает об освоении ближних планет, а другая, безмерно могучая, уже распространилась в Галактике; обе вынуждены считаться с закономерностями прогресса и велениями экономики. Пусть освоением заняты не двурукие, а сторукие существа; без мощных, послушных машин им не обойтись. Пусть в одном случае разум вынужден довольствоваться примитивными роботами, тогда как сверхразум пользуется сверхроботами; те и другие со временем морально устаревают, причем быстрее всего устаревают как раз самые сложные, наиболее аккумулялировавшие в себе достижения науки устройства. Что же делает земная цивилизация с теми космическими аппаратами, которые отслужили свой срок? Она их бросает на произвол судьбы, иное решение либо невозможно, либо невыгодно. И вообще, чем дальше, тем все больше обесцениваются вещи, все короче срок пользования ими, все легче мы с ними расстаемся, будь то часы, телевизор или космический спутник. Однако слова «невозможно», «невыгодно», «устарело» знакомы любой цивилизации, каких бы высот она ни достигла, оттого всегда что-то будет выбрасываться за ненадобностью, как это происходит при ликвидации лагеря где-нибудь в Антарктиде.

А если это не просто машины и автоматы, чей срок службы недолог? Если это сверхкиберы? Брошенные по тем или иным причинам, предоставленные самим себе, самоподдерживающиеся, вечные по земным меркам и способные странствовать? Что происходит с ними, если весь смысл заложенного в них бытия сводится к выполнению команд, а более нет ни приказов, ни деятельности, ни хозяев?

Собаки, с горечью подумал Лавров. Сказочно могучие, сказочно много умеющие, заброшенные собаки! Дождались... Не пришелец со звезд перед ним, не посланец с великой миссией — отслуживший свое инструмент,

техногенный отброс исполинской цивилизации, бесприютный кибер, одинокий пес, повсюду ищущий хозяина, любого хозяина, ибо только хозяин способен ему вернуть утраченный смысл существования.

Воистину: хочешь проникнуть в неведомое — ищи парадокс!

— Случайно ли вы натолкнулись на Землю? — глухо спросил Лавров.

— Нет. Признаки вашей деятельности заметны издали.

Да, конечно! — наши радиопередачи, должно быть, заполнили собой пространство до Веги и Фомальгаута. Лишь стоит зажечь свет в доме своем... И что же теперь? Вглядываясь во Вселенную, окликаая звезды, мы брали в расчет природу и разум, забыв или еще не поняв, что не все и не всегда сводится только к природе и только к разуму.

Вот и дожили.

Тревожным шорохом в сознание проникли слова:

— Вы дважды отказали мне, не отвергайте в третий...

— Дважды? Когда же был первый раз?

— Когда я попытался дать знать о себе.

Ну, конечно, тот давний голос на вершине холма! Первый отклик на смутное и неизбыточное, чисто человеческое пожелание необычного. Может быть, это и есть пеленг всякого разума?

— Не отвергайте.

Лавров опустил голову. Ветер ли это свистит в ушах, или это вихрь самой истории? Отвергнуть! Принять! Тому разуму должно быть известно, что значит внезапно вмешаться в чужие дела, явиться в блеске всезвездного могущества, какой шок это вызовет, им, верно, выработано такое понятие, как «охрана самобытности и естественного порядка развития всякой цивилизации». Но кого волнует судьба отброшенного инструмента, да и знают ли прежние хозяева этого кибера о

существовании Земли? А в результате является джинн, которому надо сказать «да» или «нет».

Все счастье разума в этом — в возможности выбрать свое будущее, и в этом же его несчастье.

Но почему же я, почему именно я?!

Боль в пальцах заставила Лаврова разжать кулак. С удивлением и испугом он уставился на ладонь, где лежали два камешка — белый и черный. Да когда же рука захватила их, чтобы сыграть в чет — нечет?!

Возможно, давно. Трудно ли оценить главные последствия любого выбора и, содрогнувшись, положиться на волю случая? Выпадет «чет» — и никакого потрясения жизни, только он, Лавров, будет знать, чего лишилась Земля и чего она избежала. «Нечет» — и джинн обретет новых хозяев, и рванется прогресс, и все нальется свинцом перегрузок, и кто знает, к чему это приведет.

Палящее солнце показалось Лаврову негреющим. Он с гневом отшвырнул камешки, они запрыгали по лаве, которая застыла здесь, когда человека не было еще и в проекте. Все менялось, меняется, всегда будет меняться, и нечего обманывать себя, нечего надеяться, что кто-то другой решит более мудро. Решение было, оно, худо или хорошо, было однозначным, потому что человечество еще никогда не отказывалось ни от чего нового. Ни разу за свою историю, никогда!

И кроме того, отвергать просящего и бездомного — это не по-человечески.

— Давай, — тихо сказал Лавров. — Будь с нами.

Тень над ним взволнованно всколыхнулась.

— А другие? — радостно протрубил голос. — Другие, они близко и ждут, вы примете их?..

ПРОБЛЕМА ПОДАРКА

Результат небывалых событий и надежд фирма «Интерпланет» со всеми своими апартаментами, блистательными экспертами и безграничными кредитами была, если разобраться, самым грандиозным в истории мыльным пузырем.

Город за окнами был сер, как невымытая пепельница, и взгляд директора тоскливо скользил по плоским крышам и подернутым пеленой фасадам. Горизонт утяжеляли заводские дымы, чей сумрак всякий раз напоминал о задаче, которую так и не удалось решить.

От мрачных мыслей отвлек деликатный звонок интеркома. Медленно, нехотя директор снял трубку.

— Да, конечно! — Он покосился на часы. — Еще семь минут. Нет, эксперты не нужны, это частная встреча. Пусть будут наготове, вот и все.

Положив трубку, директор оглядел почти символическую пустыню стола. Темновато, может, зажечь свет? Нет, не стоит: огромный кабинет сразу приобретет официальность, которой лучше избежать. Поколебавшись, он включил одну только настольную лампу, направив свет так, чтобы причудливое кресло напротив оказалось в тени. Стало чуточку уютней.

Внезапно его разобрала злость. Для кого он старается? Для существа, у которого совершенно иные понятия, и об уюте в том числе?

Голая плоскость стола резала глаз, и он швырнул на нее пачку сигарет, зажигалку, иллюстрированный журнал, достал пепельницу и с наслаждением затянулся.

Ребячий поступок, ну и пусть. Ведь если честно, то он просто боится. Сейчас, как и при первой встрече, он боится даже не самого представителя могучей цивилизации Антареса, его странной логики и морали; он бо-

ится сделать не то движение, сказать не то слово, ибо, черт его знает, какой именно поступок может настроить того против землян!

Никакой скорей всего. В общем, они отнеслись к людям предельно благожелательно, но от этого не легче, быть может, трудней. Какой поднялся восторг, когда они прилетели! Первый контакт! Братья по разуму! А дальше что?

Замечательные еще до прилета шли споры. «Разумные существа иных миров как физически, так и духовно, близки людям!», «Ничего подобного: разум может иметь облик кристалла, плесени, плазменного сгустка!» Истина, как это обычно бывает, оказалась посередине. Всем цивилизациям присуще нечто общее, ибо становление разума везде формируют одни и те же закономерности (это уже информация антаресцев). Но если и на Земле, что ни народ, то свой обычай, что ни человек, то свой характер, если уж земное начало создало и вирус, и гиппопотама, гения и кретина, напалм и фугу Баха, то каким должен быть — и оказался — галактический разброс форм, явлений и мыслей!

Вот прилетели. Обменялись дружескими заверениями. Культурными ценностями (хоть бы один человек что-нибудь понял в их искусстве!). Обменялись образцами природы (неправдоподобно было видеть, как в их не столь уж большом корабле исчезают мхи, секвойи, скелеты динозавров, айсберги, дюны, облака). Затем был создан «Интерпланет» — для обмена научно-техническими и промышленными ценностями.

И тут заколодило. Никаких даров, никакого кредита! «Мы, — заявили антаресцы, — готовы предоставить любую философскую информацию о тех общих законах развития жизни и разума, которая могла бы вам помочь разобраться в путях вашей эволюции и предостерегла от захода в тупик. Но материальная сфера так неравновесно связана с социальной, нравственной и моральной, что передача наших научно-технических достижений

лишь создаст опасный крен. Здесь возможно только естественное ускорение, только равный обмен».

И вот уже третий месяц шел безуспешный поиск таких изделий, методов и патентов, которые могли бы заинтересовать антаресцев. А что их могло заинтересовать — с их-то наукой?!

Ожидаемая встреча была, пожалуй, самой деликатной из всех. Еще более щекотливой ее делала тайная мысль о пользе, которую можно извлечь, если удастся задуманное.

Директор вытер взмокшие ладони.

Антаресцы всегда являлись с точностью до мгновения, и он заранее встал, чтобы приветствовать гостя у двери. Теперь это был совсем другой человек, чем минуто назад, — директор шел твердым шагом хозяина, неся на энергичном лице радушную и спокойную улыбку.

Инопланетяне, судя по всему, могли мгновенно перемещаться в пространстве, и стены для них не были преградой. Но при встрече с землянами они никогда не пользовались этим. Дверь снаружи открыл секретарь, и антаресец вкатился, будто на колесах, в кабинет. Призматические глаза антаресца по обыкновению смотрели куда-то вкось, когда он после обмена приветствиями подплыл и уселся в особо предназначенное ему кресло (они жили на массивной планете и при низком росте имели две пары рук и ног). Антаресец сел и замер — маленький, похожий на кузнечика. (А в общем-то, ни на что не похожий.)

— Откровенно говоря, я не знаю, с чего начать, — директор с усилием сглотнул комок в горле. — Близится время вашего отъезда. А у нас, на Земле, есть обычай: гостям что-нибудь дарят на память. Тем более дальним и дорогим. Но у вас, насколько мы поняли, нет такого обычая. Это первая трудность, которую мы хотели бы обсудить.

— Подобный обычай существует и у нас...

Голос глухо прозвучал откуда-то изнутри, поскольку

антаресец не разомкнул рта: атмосфера их планеты была смесью убийственных, с земной точки зрения, газов, и воздух Земли им никак не годился (вот и пойми, как в таком случае они обходятся без скафандров и масок!).

— ...Но этот обычай вряд ли применим во взаимоотношениях между планетами.

Вежливый и категоричный отказ. Директор наклонил голову в знак понимания.

— Речь идет о другом, — сказал он. — О личных подарках экипажу. Это, надеюсь, не противоречит вашим правилам?

— Затруднение в том, что подарок, по вашим обычаям, предполагает ответный дар.

— Не совсем так, не всегда, а ввиду особых обстоятельств тем более! Направляясь к Солнцу, вы, естественно, не могли знать, какие у нас тут обычаи.

— Разумный довод в пользу отказа и от первой части традиции.

— Увы! Обычай — это сила, с которой нам приходится считаться. Если мы не подарим вам даже пустяка, то многие сочтут, что мы холодно отнеслись к вам.

— А если не будет ответного подарка, то эти же люди сочтут, что не по-дружески поступили мы.

— Ну, ваш поступок куда легче объяснить, — директор изобразил на лице улыбку.

— Легче объяснить невежливость гостя, чем невежливость хозяина?

— Что же делать, если ваши правила запрещают подарки?

На секунду, бесконечно долгую для директора, антаресец задумался.

— Вы говорили, что подарок может быть символическим пустяком? — произнес он.

— Да!

— Такой подарок будет правильно воспринят?

— Безусловно.

— Тогда нет проблемы. Можно соблюсти ваши традиции и наши правила.

Директор замер в волнении. Да ведь любой их подарок... О господи! «Интерпланет» — торговая фирма; и пусть что угодно твердят гордецы и моралисты!

— При одном условии, — добавил антаресец. — Вы дарите нам то, что не имеет у вас цены и не приносит вам материальной пользы. Мы поступаем так же.

— Но...

— Иного решения мы, к сожалению, найти не можем.

Директор почувствовал себя так, будто из-под него потянули стул. Проклятье! Ноль всегда ноль. Антаресцы и проблему подарка решили по-своему. Обошли, оставили в дураках. Такие чистенькие, самодовольные, до отвращения чужие кузнечики...

Чужие, вот главное. Во всем. Да пропадом пропади все научные ценности, которыми они не хотят делиться! Но у них не нашлось ни капли душевного тепла и отзывчивости. Строгая, беспощадная логика нечеловеческого разума — только.

Антаресец бесстрастно ждал. «Ненавижу, — стиснул зубы директор. — Всегда, с самого начала подсознательно ненавидел. Просто боялся отдать себе в этом отчет».

— С вашего разрешения я должен немного подумать, — сказал он вслух.

— Пожалуйста, я не тороплюсь.

Они никогда не торопились. Не навязывали своего мнения. И всегда получалось так, как они хотели. Теперь поздно отступать. Надо придумать подарок или признать еще одно свое поражение. Так ли уж было дурно его намерение принести людям пользу ценой маленькой деловой хитрости?

Самонадеянный болван, с кем вздумал тягаться! Подарок, подарок... Что на Земле не имеет ни цены, ни пользы? Что?

Все имеет либо то, либо другое. Даже гашеная марка. Все.

— Возникает новое противоречие, — директор вздохнул. — Кажется, мы ничего не сможем вам подарить на выдвинутых условиях — просто нечего. Но тогда мы приходим к тому, с чего начали: страдают наши правила гостеприимства.

— Это мнимое противоречие.

Мнимое? Да, конечно. «Мы дарим вам планету Нептун». А что? Ни цены, ни пользы она не имеет. Подарок, достойный космической цивилизации. Нет, не пойдет. С таким же правом можно преподнести Полярную звезду или галактику М-82. «Ни цены, ни материальной пользы». Материальной — существенная оговорка! Подарить, что ли, свою дружбу?

Директор внутренне усмехнулся. И быстро взглянул на антаресца. Непроницаем. Непробиваем. Непобедим. Ничто не может противостоять его разуму. Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим!

Память лихорадочно перебирала все, чем богата Земля. Приливы, почвы, сияния, алмазы, ананасы, течения, пляжи, пальмы... Все, чем богато человечество: ракеты игрушки, мелодии, пирамиды, идеи, синхрофазотроны, книги, искусственные сапфиры, картины... Память перелистывала все это как прейскурант. Ничего, ничего подходящего!

Да, надо сдаваться. До чего же унылый день за окном! Эти однообразные здания, эти...

А что, если...

Взгляд директора сузился.

— Технические вопросы транспортировки вас не затруднят? — спросил он отрывисто. — Ну, если это нечто объемистое, трудноуловимое...

— Пусть это вас не беспокоит.

— Тогда взгляните в окно. Видите этот смог? Он не имеет ни цены, ни пользы. Мы дарим его вам. Все смогли Земли!

Директор обессиленно откинулся в кресле. «И пусть что будет, то и будет!» — подумал он в каком-то лихом отчаянии.

— Спасибо.

В голосе антаресца мелькнула — или это показалось? — теплая нотка. Директор подскочил, широко раскрыв глаза.

— Спасибо. Ваш смог — это горный воздух нашей планеты, которого мы так давно были лишены в путешествии. Вы сделали великодушный и самоотверженный подарок.

Самоотверженный?! Директор не верил своим ушам.

— Да, смог — это, конечно... — пролепетал он. — Хотя, с другой стороны... э... так сказать, фигурально...

— Вот именно, — сказал антаресец. — Разум крепнет в преодолении обстоятельств, а смог требует от вас серьезного преодоления, и мы понимаем, как трудно отказаться от фактора прогресса, даже если он горек и тяжел. Поэтому если вы намерены пересмотреть.

— Нет, нет! — замахал руками директор. — Бог с ним, с фактором! Чего-чего, а трудностей у нас хватает, так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь.

— Все же мы у вас в крупном долгу, — антаресец, казалось, покачал головой, хотя головы в земном понимании этого слова у него не было. — Разрешите попроситься, нам надо серьезно подумать об ответном подарке.

Директор раскланялся.

— Я бесконечно сожалею, что затруднил вас своей проблемой.

— Великолепно! — воскликнул он, едва за антаресцем закрылась дверь.

«Но какая странная логика...»

— Великолепно! — повторил он, подходя к окну, за которым уже исчезала пелена смога.

«Надчеловеческая логика...»

— Великолепно! — поздравил он себя, усаживаясь снова в кресло.

— Ве...

Так ли?

Директор вскочил как ужаленный.

— Что, если антаресцы...

Что, если взамен смога они надумают подарить людям какой-нибудь новый, с иголочки, «фактор прогресса»?!

Прекрасных, тонких и нежных описаний закатов и перелесков, тихих речек и звездных ночей так много в литературе, что из них нетрудно составить почтенный том, тогда как всех слов об уличной толпе едва ли хватит для заполнения тетради: писатели более внимательны к образам природы, чем к ликам человеческого множества. Гадать о причинах все равно, что заглядывать в бездонный колодец или в пучины собственного подсознания. Все же отметим, что можно блаженно, отрешенно и долго следить за накатом морской волны, пламенем костра, неспешным движением облаков, но столь же длительное созерцание смены человеческих лиц утомляет. Хочется отвести взгляд, избежать этого мелькания и наплыва, и опытный горожанин давно научился воспринимать толпу как фон, привычную нейтральность которого способны нарушить лишь резкие отклонения в поведении, облике. Кстати, спросим себя, куда подевались уличные зеваки? Чем крупнее город, тем реже они, в самых многолюдных лишь один прохожий из сотни задержится, чтобы поглазеть даже на суматоху уличной аварии.

Это не от потери любознательности или утраты нескромного любопытства. Стоит выдаться свободному часу в дальнем и незнакомом, тем более чужеземном городе, как тот же равнодушный прохожий замечает толпу, с интересом вглядывается в лица, вникает в то, мимо чего сто раз проходил у себя дома. Особенно, повторяю, если он оказался за границей. Вот тут он постарается ничего не упустить, даже если от обилия впечатлений разламывается голова.

Столь пространное вступление потребовалось мне для ответа на неизбежный вопрос: почему именно я, да еще

будучи за границей, углядел то, что для местных жителей так и осталось скрытым? Да именно потому все и случилось, что я был сторонним наблюдателем, склонным задумываться над природой мелких житейских неразъясненностей. Само собой, вмешался и случай, без которого нигде никогда ничего не обходится. Обычно научные конференции планируются так, что передохнуть некогда. А тут, не знаю уж почему, в расписание свободным днем вклинилось воскресенье. Естественно, после завтрака я поспешил вон из отеля.

Улочки, в которые я углубился, казалось, досматривали утренний сон. Всюду было так пустынно и тихо, что собственные шаги по брусчатке мне самому стали видаться нарушением благопристойности и покоя чистеньких зданий с обязательным цветником на балкончиках. Немногие прохожие двигались здесь столь неторопливо и замкнуто, словно выполняли обряд прогулочной медитации. Все в этих кварталах намекало на непристойность моего разглядывания, неуместность моей чересчур быстрой походки. Всякое мое движение тотчас улавливалось зеркальной прозрачностью окон. В перспективе улочек всюду укоризной маячили хмурые башни и позеленелые шпили церквей: как, ты не пошел к утренней мессе? Намек исходил и от ухоженных автомобилей, чей плотный строй вдоль тротуаров был одинаково бесконечен, куда бы я ни сворачивал. Вроде бы деталь уличного пейзажа, и только. Но нет, в этом безлюдье десятки белесых фар создавали ощущение цепкого стерегущего взгляда (когда людей нет, за них говорят вещи).

Не выдержав, я спустился к набережной, но и там вскоре почувствовал себя чужаком. У реки, похоже, тоже было воскресенье, она нежилась в лучах теплого, как бы даже летнего солнца, однако неяркое небо, дымка голубоватой мглы, дремотный покой воздуха — все напоминало об осени, о последних днях, когда река еще может безмятежно погреться. Ее разморенность словно

передавалась деревьям, траве, людям, кроме ребятишек, конечно (откуда-то на газон бойко выбежала голопузая и бесштанная девчушка лет трех, сидящие на скамеечке дамы сдержанно ахнули, но это был единственный случай переполоха и беспорядка). Сколько можно любоваться спокойным блеском реки и видом замка напротив? Я двинулся прочь от набережной, попетлял по улицам, спустился на перекрестке в пешеходный тоннель, бетонные стены которого были испещрены лозунгами и призывами (впрочем, среди них присутствовала надпись едва ли политического содержания: «Ульрика М. будет убита!»). Так незаметно я вышел к центру города и сразу очутился в плотной оживленной толпе.

И здесь никто не спешил, никуда не торопился. Но толпа есть толпа, ты не чужак в ней, потому что стал ее частью. Я двигался, подхваченный ее течением, дремотная одурь, навеянная пустынными кварталами и набережной, развеялась, я перестал себя чувствовать неприкаянным одиночкой, который едва ли не кошунственно жаждет чего-то, кроме ленивого отдыха и праздного ничегонеделания. Тут я мог глазеть во все глаза, вглядываться в лица, никого это не смущало, никто этого просто не замечал. Уличная толпа дает свободу, свободу быть самим собой, разумеется, в рамках приличия, которое здесь трактовалось широко (хочешь стоять столбом — стой, хочешь поцеловать подружку — целуй, хочешь пройтись на руках — и это пожалуйста; вот разве что плевок на чисто вымытый тротуар мог вызвать нарекание, если не штраф). Вдобавок движение в толпе создавало видимость занятия, дела, будь то разглядывание витрин или лиц противоположного пола. О извечном желании «себя показать и на людей посмотреть» я уже не говорю, хотя выделиться в нынешней толпе совсем не просто даже с помощью дерзких ухищрений моды (увы, модники и модницы, увы!).

Десять тысячелетий назад не существовало ни людских скоплений, ни самих городов. Современное много-

людыс — это ли не пример пластичности нашего поведения, это ли не чудо уживчивости? Ныне всего за час перемещения по оживленной улице любой из нас встречает больше людей, чем крестьянин давнего и недавнего прошлого за всю свою жизнь. Ничего, психика справляется. Хотя, должно быть, именно по этой причине прохожие скользят в нашей памяти как тени. Я был полон внимания, а что запомнилось в первые полчаса? Тщательная подтянутость и парикмахерская ухоженность старушек. Парень с чудным прокрасом седины посредине волос. Неназойливые газетчики-арабы в оранжевых жилетах. Девушка с нотным пюпитром, тихо и славно играющая на скрипке перед входом в картинную галерею. (Зачем, почему? — все шли мимо, будто видели ее каждый день.)

Вот, пожалуй, и все. Экзотических манков, отвлеченный и уводов внимания в то утро, к счастью, было немного, иначе я бы проглядел незнакомца. Наверняка проглядел, ибо в нем не было ничего такого, что выделяло бы его из толпы, — обыкновенный мужчина, обыкновенного роста, в обыкновенном костюме. Он оказался в нескольких шагах впереди, брел с той же скоростью, что и я, мой взгляд порой на него натывался, я его видел, но не замечал, что возможно лишь в уличной толпе. А если бы и пригляделся? Идет человек, не спешит, частый поворот головы выдает его интерес к окружающему — должно быть, не местный, такой же заезжий зевака, как я, ничего особенного и ничего примечательного.

Обыденность так бы и скрыла его своей шапкой-невидимкой, если бы легкий затор толпы не сблизил нас на какое-то мгновение; он повернул голову, и я увидел его лицо. Опять же и в лице не было ничего необычного, настолько, что это-то и привлекло мое внимание. Попробую объяснить. Говорят: заурядное лицо, человек без особых примет, ничего запоминающегося. Это верно, потому что таких людей тысячи, и в то же время

совершенно неверно. Безликих людей не существует, и если о ком-то говорят, что он безлик и неприметен, то лишь потому, что говоривший не пожелал его примечать, не захотел различить его индивидуальность. Это так, нет же двух одинаковых листьев, что же сказать о людях? А вот незнакомец был вопиюще безлик. Он выглядел так, будто природа усреднила тысячу мужских лиц, обобщила все их черты и формы, а далее по этому образу и подобию вылепила тысячу первое. Ни малейшей индивидуальности, совершеннейший человеческий нуль; это, если вдуматься, было столь же необычно, как полярное сияние над городом, по которому мы шли.

Тогда я об этом так не подумал, разум вообще не участвовал в той мимолетной оценке. Просто мне безотчетно захотелось получше разглядеть незнакомца. Я немного ускорил шаг, обогнал его, словно невзначай бросил в его сторону как бы рассеянный взгляд, затем снова отступил назад. Первое впечатление подтвердилось: он был воплощением человеческой безликости. Все на месте — глаза, брови, нос, рот — и все неопределенное, не просто стандартное, а сверхстандартное, этаким типичный среднестатистический западноевропеец; взглянул на него, чуть отвлекся, и уже невозможно вспомнить, как же он выглядит. Ускользающе неуловимым был даже цвет его глаз, то ли серый, то ли голубоватый, а, может, наоборот, карий, черт его знает!

Ну и что? Вот именно: что? Стоило мне чуточку поразмыслить, как я недоуменно пожал плечами. Мало ли на свете граждан, различных не более, чем окатанные голыши пляжа. С чего я вообразил, что этот какой-то особенный?

Спустя минуту-другую я бы наверняка потерял интерес к незнакомцу, если бы не собачка из породы комнатно-декоративных. Эта крохотная черная блоха в ошейнике благонаравно следовала за своей хозяйкой, как вдруг при виде незнакомца ее гладкая шерстка, во-

преки всякому вероятию, вздыбилась, выпуклые глаза налились бешеной краснотой, рванув поводок, она с захлебывающимся лаем было устремилась в атаку и тотчас с тоскливым воем отпрянула прочь. Почтенная дама, ее владелица, поспешно укоротила поводок, обронила безадресную улыбку сконфуженного извинения и властно потянула за собой свою любимицу, которая, казалось, онемела от раздиравших ее чувств страха, ярости и бессилия.

Конфликт не занял и полминуты, огоньки интереса, было затлевшие в глазах прохожих, сразу погасли, в необычном поведении собаки никто не увидел ничего особенного. Я тоже был готов сморгнуть этот инцидент, как крохотную соринку, однако не получилось. Странно, странно! Я немного знал эту «блошиную породу» собак; такие маленькие, злые, умные шавки ни с того, ни с сего не бросаются на прохожих, а бросившись, не сжимаются в комок отвращения, гнева и ужаса. Должна же быть причина? Собака, по старинным преданиям, как никто другой чует черта; я едва не расхохотался при этой мысли.

Но отступить от незнакомца уже не мог. То удаляясь, то приближаясь, я тащился за ним, куда бы он ни сворачивал. Заподозри себя в соглядатайстве, я наверняка прекратил бы преследование, но обмануть себя ничего не стоит. Я гулял, просто гулял и глазел на все окружающее, в том числе и на незнакомца, который, в сущности, делал то же самое: бесцельно гулял и глазел. Правда, скорости наших шагов неукоснительно совпадали, но ведь это могло быть и непреднамеренно...

Кружение по улицам прибавило к моим первоначальным наблюдениям лишь самую малость. По всему чувствовалось, что незнакомец, как и я, впервые в этом городе и в этой стране. Все естественно, однако была тут одна крохотная несообразность. При всем внешнем бесстрастии в незнакомце угадывалось цепкое, пытли- вое внимание решительно ко всему, даже к голубям на

мостовой, что для западноевропейца, каким он был или казался, не совсем обычно, ибо, скажем, бельгийца мало чем удивишь, например, в Австрии, и наоборот. Тогда, может, американец или какой-нибудь австралиец? Вряд ли. Австралиец тоже не станет поглядывать на прельстительное богатство витрин, тем более на голубей и прохожих так, словно все это ему внове.

Но это малое недоумение вскоре сменилось крупным. Не потребовалось много времени, чтобы убедиться в столь же очевидном, сколь и поразительном факте: тот инцидент с шавкой не был случайностью. Все прогуливаемые собаки (других на улице не было) при виде незнакомца выказывали такую нервозность, точно их будоражил, возмущал и пугал сам его дух. Столь необычное поведение четвероногих, казалось, должно было приоткрыть чудовищную истину, однако вполне очевидные сигналы звериного инстинкта не дошли, даже капелька той жути, которую испытывали собаки, не передалась мне. «Что за притча?» — спросил я себя в недоумении и тут же нашел успокоительный ответ. Есть же люди, которых не переносят собаки! — далее моя мысль не продвинулась. Что-то ей помешало, и даже понятно что. Ведь наше сознание двойственно: оно чутко настроено на восприятие окружающего, и оно же тщательно фильтрует сигналы действительности, отсекая все чересчур необычное, неприемлемое, опасное для душевного равновесия. Так и я: истина сама шла мне в руки, я же постарался ее упустить.

Дальнейшее блуждание не прибавило ничего. Не находя новой пищи, мой интерес постепенно снижал, да и утомление давало о себе знать. Я продолжал волочиться за незнакомцем, все менее понимая, чего я хочу и хочу ли чего вообще. Мы шли и шли, брели мимо красочных витрин, мимо затерянных среди них наглухо запертых подъездов, мимо выдвинутых на асфальт столиков кафе и фруктовых лотков, мимо табачных и денежных автоматов, бесчисленных магазинов, ресторанов, банков, за-

кусочных; толпа обтекала нас, когда мы замедляли шаг, несла нас, как щепки в потоке, мелькали сотни, тысячи лиц, одурь коловращения затягивала, гул чужой речи уже томил, пробуждая тоску по родине, все, все делалось ненужным, излишним. Где я, что я, зачем кружу по этим улицам, какое мне дело до всех? Ну посмотрел, удовлетворил любознательность, потешил себя посторонней загадкой, и довольно, и хватит, голова пухнет и задыхается!

Тем бы все и закончилось, со вздохом: «А, чего не бывает!» — я бы присел на лавочку где-нибудь в тенистом уголке сквера, если бы не трость одного дородного прохожего.

Случилось то, что тем или иным образом обязательно должно было случиться в уличной толпе: незнакомца задели. Кто-то издали окликнул мимо идущего господина с тростью, тот резко обернулся, наконецник палки, описав полукруг, коснулся ноги незнакомца. Точнее, он зацепил брючную складку костюма... И прошел через материю насквозь.

Меня будто обдало громом. Я все видел отчетливо, но не поверил глазам своим. А кто бы поверил? Поме-решилось! Конечно же, трость скользнула мимо, никто не заметил — ни тот, кто ударил, ни тот, кого задели. Да, но собаки?!

Существовал способ проверки. Будто не я, кто-то другой, безрассудно-дерзкий, замороженно продвинулся к незнакомцу и, поравнявшись, сильнее обычного отмахнул рукой. Так, чтобы пальцы вроде бы невзначай задели полу его пиджака.

Вместо ткани они ощутили пустоту. Всякие сомнения рухнули, все вокруг покачнулось в моих глазах. Костюм незнакомца был чудовищной маскировкой, иллюзией, наваждением, чем угодно, только не одеждой земного производства! Должно быть, и само лицо...

— Вам плохо? — Голос незнакомца проник ко мне словно из космической дали. — Чем могу помочь?

Не лучше ли вам выпить чашечку кофе, чем выяснять то, что вас совершенно не касается?

Вопреки значению слов в тоне незнакомца не было ни сочувствия, ни издевки. Его лицо-маска колыхалось в моем потрясенном сознании, как отражение в речной зыби, как ускользающая человекоподобность.

И в двух шагах были люди!

Самое удивительное, что я не только повиновался незнакомцу, но при этом еще испытал облегчение. Так, словно его действие остановило распад реальности, дав взамен новую, пусть неведомую и пугающую, зато очевидную перспективу.

Неподалеку оказались вынесенные на улицу столики кафе, мы присели. Небезыntересная деталь, меня она потом поразила: вопреки всему мне было любопытно, скрипнет ли под чужаком соломенное кресло или его тело столь же призрачно, как и костюм. Сиденье скрипнуло, и это меня почему-то успокоило.

Говорить я не мог, кофе заказал незнакомец. На меня он, казалось, не обращал внимания. В совершенстве похожий на человека, до ужаса банальный, он сидел в ожидании с безучастным видом, будто самый обычный, слегка подуставший турист. Ветерок ерошил его неприметные волосы; не совсем натурально, если взглядеться. Воплощение человеческой безликости, серый оборотень, чего он хотел? На кофе, когда его принесли, он не взглянул. Я же свой выпил залпом, не ощущая, горячий ли он. Впрочем, вопреки ожиданию чувствовал я себя не так уж скверно. Пожалуй, мое настроение даже склонилось к бесшабашности. Вот именно! Когда все потеряно, терять уже нечего. О противодействии, похоже, нечего было и думать, да и с какой стати? Ничего более захватывающего, чем эта встреча, в моей жизни не было и не будет.

— Можете допить и мой, — наконец проговорил чужак. — Земной кофе, сами понимаете, не для меня.

Говорил он четко и правильно, но то была правиль-

ность дикторской речи. Очевидно, языку (языкам?) он обучался, слушая наши передачи.

— Спасибо, вы очень любезны, — пробормотал я, едва подавив нервный смех, ибо светский разговор в таких обстоятельствах был более чем комичен. — Надеюсь, вы на меня не в претензии?..

— Что случилось, того изменить нельзя, надо использовать последствия. Мне еще никогда не доводилось вот так беседовать с другими разумными.

— А они были? Наш мир не первый?

— Надеюсь, и не последний. Но это ничего не значит. Ни для вас, ни для нас, вообще ни для кого.

Слова пришельца были темны, при этом странно изменилось выражение его глаз. То есть, конечно, не глаз — человеческих глаз, как и самого лица, наверное, не было. Но ведь что-то было, что-то смотрело сквозь их имитацию? В глубине его взгляда мне почудилась тень тоски или усталости.

— Расскажите о главном в себе, — внезапно проговорил он. — В чем человек видит смысл своей жизни?

Я судорожно глотнул воздух. Ничего себе! Таким вопросом можно кого угодно сбить с ног. Недаром его избегают в разговорах, хотя редкий ум мучительно не задумывается над ним.

— Видите ли, — промямлил я. — Боюсь, я сейчас не в том состоянии...

— Потому и спрашиваю. Нормальное состояние разума — труд мысли. Это занятие я вам и предложил.

Бесподобная логика, что тут скажешь...

— Но я не философ! Это очень сложный вопрос!

— Простые и мелкие меня не интересуют. Книжные знания я без вас извлеку, меня интересует ответ человека, то есть ваш собственный. Не хотите — расстаемся.

— Нет-нет! Хотя... Хорошо, хорошо, я согласен. Согласен, если и вы ответите на тот же вопрос.

— Что справедливо, то и логично. Видите, мой вопрос уже привел вас в нормальное состояние.

Как бы не так! Все-таки он плохо знал человека. Но деваться было некуда, волнуясь и запинаясь, я начал говорить. То была отчаянная попытка выразить истину, которая не давалась мне самому (и только ли мне?). Моя мысль изнемогала, точно на дыбе. Вдобавок... Господи, кому я все это говорю?! Пришельцу, отвечал разум, а зрение отказывалось верить, столь зауряден был его псевдочеловеческий облик. Переводя дыхание, я мельком видел улицу, такую обычную, людей, таких несомненных, но стоило снова взглянуть на собеседника, как то и другое делалось нереальным. Ощущение безмерной ответственности парализовало меня. На столик слетел пожелтый лист, мои пальцы ухватились за него, как за спасительный якорек.

Не могу вспомнить, что я говорил и что в итоге сказал. Тот, кому я говорил, сидел с прежним, будто бы безучастным видом, и меня оглушил вид мухи, которая лениво кружила над его головой, словно у нее не было сомнений насчет человеческой природы данного объекта ее внимания.

— В общем, все одно и то же под всеми звездами, — наконец проговорил он как бы с сожалением. — Поразительно, сколь разнообразны миры и до чего же сходны устремления духа. Одинаково бесконечные, одинаково противоречивые и неудовлетворенные — да... Спасибо за разъяснения. Теперь мой черед отвечать. Спрашивайте.

Сотни вопросов, тесня друг друга, безумствовали в моем сознании, но с языка сорвался самый банальный:

— Вы побывали на многих звездах? То есть, я хотел сказать на планетах... Как там, что там?

Какое-то подобие улыбки промелькнуло во взгляде инопланетянина.

— А вы не допускаете мысли, что для вас спокойней не знать то, что известно мне?

— Допускаю. И все же...

— И все же вы иначе не можете. Вот это и есть ответ на ваш главный, еще невысказанный вопрос.

— Простите, я не совсем понимаю...

— И в этом ваше счастье. Звезды, далекие звезды, смысл устремления к ним! Порой я завидую вам. Вас еще тешат мечты, дали Вселенной еще кажутся вам распахнутыми. Мы же, увы, давно расстались с иллюзиями.

— То есть как?! — вскричал я. — Вы же здесь! Это не иллюзия!

— В каком-то смысле более чем иллюзия.

Вздвогнув, я смятенно уставился на него.

— Нет-нет, — поспешил он меня успокоить. — Физически и духовно я здесь, и я существую. Но, существуя, можно и не существовать.

— Извините, но это выше моего понимания! Коли вы здесь, значит, звезды достижимы...

— Нет, и это вы знаете не хуже меня. Только ваша душа еще не восприняла эту истину, и ее для вас как бы не существует.

Я обреченно сник. Палый лист уже превратился в кашицу, но мои пальцы продолжали терзать его растертую мягкость.

— Хорошо, — с горечью сказал я. — Я тупица, в этом не стыдно признаться. Возвращаю вам ваш вопрос, может быть, тогда мне станет яснее. Что движет вами? В чем вы видите смысл жизни?

— Смысл жизни столь же многообразен, как и сама жизнь. И столь же неисчерпаем. Скажу лишь о собственном, хотя он, конечно, неотделим от смысла жизни вообще. Над нами дерево, роняющее листья. Оно неподвижно и долговечно. Листья, наоборот, кратковременны и подвижны. Они опадают, гибнут, так питают собой корни. Внешне смысл существования дерева и листа противоположен, на деле един. Однако выполняя свое предназначение, иные листья отлетают так далеко, что уже не служат дереву и гибнут без пользы. Или с поль-

зой для чего-то другого. И чем выше дерево, тем, заметьте, это случается чаще. Так и с цивилизацией, так и с ее представителями. Я здесь, хотя это алогично и лишено явного смысла. Но для меня и моих товарищей только так и было возможно, наш смысл жизни в этом. Такой ответ вам понятен?

Я энергично замотал головой. На большее я уже не был способен.

— Значит, не поняли... Да, все естественное и закономерное в своем пределе выглядит нелепым и труднообъяснимым.

Инопланетянин помедлил, как бы собираясь с мыслями. Он задумчиво смотрел на текущую мимо толпу, на жующих и пьющих соседей за столиками, на воровато порхающих воробьев, на все обычное, что было вокруг. В его взгляде снова мелькнуло что-то похожее на тоску. Или то была жалость?

— Вы не цените всего этого, — сказал он вдруг.

— Вы ошибаетесь, — возразил я.

— Нет. Оценить может лишь тот, кто покинул все это. А таких среди вас не было.

— Как не было? Космонавты...

— Они возвращались! Представьте иное: отрыв. Полный и навсегда. О звездах вы знаете больше, чем о собственной душе, достаточно, чтобы вы меня поняли. Напомню истину, которую вам показал еще ваш Эйнштейн: полет к дальним мирам Вселенной возможен и в то же время он невозможен. Возможен, потому что, двигаясь с околосветовой скоростью, несложно облететь Галактику. Невозможен, потому что на таком корабле пройдут всего годы и десятилетия, тогда как на родине промелькнут века. Это обращает в бессмыслицу сам полет, его задачи и цели; всякое самопожертвование экипажа. Вот почему дальние звезды закрыты и навсегда будут закрыты для представителей любой цивилизации.

— Тогда почему бы вам не сказать проще: я прилетел к вам с ближней звезды?

— Потому что я-то прилетел с безмерно далекой. Ваш глаз не отыщет ее в земном небе, так она далека.

Если он собирался меня поразить, то не добился цели. Я слишком устал. Настолько устал от всего невероятного, что на меня обрушилось, от загадок и парадоксов, в которых я не мог разобраться, что новая доза на меня не подействовала. Может, он спятил? — мелькнула невольная мысль. Кое-что в словах пришельца делало ее правдоподобной, но даже это ужасное предположение не заставило меня содрогнуться, а лишь наполнило скорбью. Как же, должно быть, нелеп и печален мир, если отборные из отборных действительно свихнулись в межзвездном странствии и первая, долгожданная встреча человека с иным разумом превращается в шизофреническую беседу за пустой чашечкой кофе! Вселенная злей и насмешливей дьявола, если все это так.

— Я вас, похоже, разочаровал, — слышался голос пришельца. — Но было же сказано: неведение лучше.

— Нет-нет, продолжайте, — встрепенулся я. — Сколько же длится ваше странствие?

— Сорок лет для меня, если считать по земному календарю. А для вас... Словом, когда мы двинулись в путь, на Земле еще не было городов.

Есть вещи, которые не поражают в силу своей невообразимости. Грациозность времени непостижима в особенности.

— Когда же вы собираетесь вернуться на родину? — осведомился я скорей по инерции.

— Но я же вам объяснил. Никогда! Это бессмысленно, на родине тоже прошли тысячелетия.

— Позвольте... — Сказанное наконец дошло до меня. — Вы не... Зачем же тогда?!

— А зачем вы бродите по чужому городу? Странствуете, познаете?

— Так это же другое дело! Мне интересно...

— Вселенная еще интересней. И это не другое дело, а то же самое, лишь плата другая. Вижу, вы все еще

не поняли. Мы ушли, заранее зная, что возвращение невозможно, абсурдно спустя тысячи лет. Мы этим пренебрегли. Бессмысленно лететь к дальним звездам, однако мы полетели. Безумие пускаться в странствие без возврата, но этот безумец здесь, перед вами. Не могу себя даже тем утешить, что этот поступок обязательно послужит благу нашей цивилизации.

Он жестко усмехнулся. Или то была гримаса отчаяния?

— Конечно, мы аккуратно передаем информацию. Вот и наш разговор... До моей родины он дойдет примерно через три тысячи лет. А будет ли польза... Три тысячи лет! Нам не дано узнать.

— Тем более! — Все мое естество отшатнулось от этих слов, как от края головокружительной пропасти. — Смысл? Какой во всем этом смысл?!

— И этого нам знать не дано. Я выгляжу в ваших глазах безумцем?

— Я просто не понимаю...

— Поймете. Со временем кто-нибудь из вас это обязательно поймет. И наверное, поступит так же. Не верите? Тогда вы плохо знаете самих себя. Пространство, которое вы осваиваете, пока что соизмеримо с вашими желаниями и сроками жизни. Но так будет не всегда. Сегодня кто-то из вас жаждет ступить, допустим, на Марс, знает, что это ему не суждено, и страдает от этого. Но так же точно он знает, что Марс достижим и кто-нибудь помоложе ступит на его поверхность. С этим утешительным чувством ваша цивилизация жила и живет. Пройдет срок, и вы окажетесь в ином положении. Все доступное — достигнуто, дальнейший шаг невозможен, новых горизонтов нет и не будет. Что тогда? О, это положение устроит многих! Но не всех. Вы сказали, что смысл жизни, во-первых, в самой жизни. Верно. А что во-вторых, в-третьих? Устремление к новым далям в крови любой прогрессирующей цивилизации. Жажда неизведанного — страсть не менее силь-

ная, чем любовь, хотя и более редкая. Как у вас, так и у нас обусловленная природой и развитая цивилизацией. Что делать одержимым? Безумие поступать так, как мы поступали, но смириться — значит, отказаться от самих себя. Самозаточение невыносимо для таких, как я, и, быть может, губительно для самой цивилизации, из двух невозможностей надо было выбрать одну — вот и весь смысл. Мы выбрали. Лишь бы вырваться! — приемлемой казалась любая цена. Теперь вам ясно, почему нам предоставили звездолет? Мы освободились. Да, за это мы платили и платим. Счастлив лист, который вы растерзали: он не чувствует и не мыслит... Зато мы здесь. Мы были во многих мирах и еще будем во многих, наша жизнь длится дольше вашей. Хотя в каком-то смысле мы уже не живем. Так будет еще долго... Что ж, всякая жизнь проходит, важно ее наполнение, мы свою наполнили до краев. Мы видели то, чего никто никогда не увидит. Чужие среди чужих миров — пусть так! Нет, этого вам не понять. Все это ваше вокруг... То ли оно нереальное, то ли нереален я сам. Стоит мне провести год в полете, как здесь промчатся века, и только я буду помнить, как тут было. До чего же все мимолетно! До призрачности мимолетно...

Странное ощущение охватило меня после его слов. Близости? Или, наоборот, бесконечной далекости? Не стало пугавшей меня человекоподобной безликости, но и неведомый, грозно могучий пришелец тоже исчез. То, что приоткрылось в его словах, пронзило меня смятением, величием, ужасом. Что мы все перед временем? И каково же вдобавок лишиться смысла и цели! Изнывать в полете, в миллиардолетней тьме пространства, снова и снова устремляться к огонькам звезд, видеть все новые и новые миры, быть может, прекрасные, но такие чужие. Познавать, думать, чувствовать, зная, что это никому не нужно, для всех бесполезно, словно ты уже умер. Какой же, наверное, холод он нес в своей душе! Что перед этим все муки бо-

гов и титанов... Какая страшная, какая дерзновенная участь! Отречение от себя, вызов целой Вселенной, которая твердит разуму: «Нет, дальнейший шаг невозможен!», и вот уже все опрокинуто тем победным безумием, которое знакомо и человеку... Победа — и с ней мука бессмыслия, тоска, которую едва ли можно постичь.

Моя рука дрогнула в безотчетном порыве сочувствия, словно ее прикосновение могло передать каплю земного тепла тому, кто в нем так нуждался. Но рассудок мгновенно пресек неуместный порыв, вместо этого я лишь спросил:

— Значит, с надеждой на сверхсветовые перемещения надо расстаться?

— Да.

— Значит, для вас нет, а для нас не будет другого выхода?

— Да.

— И ваши глаза еще не устали видеть?

— Нет.

— А ваша душа...

— Возможно, это случится скоро.

— Сознание бесцельности...

— И это тоже.

— Одиночества, постылой отверженности...

— Вы жалуете меня?

— Я вас понимаю. Надеюсь, что это так.

Он медленно отвел взгляд. Мне показалось, что в его глазах блеснули слезы. Но этого, конечно, не было, маски не плачут. Мы сидели среди уличного гомона, под светлым осенним небом, близкие друг другу и безмерно чужие, как это часто бывает в психической вселенной, которая столь же огромна, неодолима, как и физическая.

— Я бы так не смог, — тихо и неожиданно для себя сказал я.

— Кто знает...

Он повернул голову, взглянул на меня так, будто

впервые увидел, и, к моему изумлению, засмеялся негромким, совсем человеческим смехом. Тем безотчетным, ни с того ни с сего, каким иногда смеется старик или ребенок.

— Кто знает, — повторил он уже серьезно. — Из нашей безвыходности, оказывается, тоже есть выход.

— Какой?

— Наипростейший. Когда наши глаза устанут видеть или когда приблизится наш последний час, то мы... Мы устремимся к той ближней цивилизации, которой можно и должно будет передать все нами накопленное.

— Слушайте, но это же все меняет! — воскликнул я, точно и с моей души спала невыносимая тяжесть. — В самом деле, как просто, как замечательно просто... Так вот что поддерживало вас, теперь понимаю, почему вы до сих пор не сломились!

Он с улыбкой покачал головой:

— Все не так, как вы думаете. То, что я сказал... Самое непонятное, почему столь очевидная мысль не пришла мне в голову раньше? Страсть эгоистична, безумная вдвойне, должно быть, поэтому. Видите ли, желание отдать возникло у меня только сейчас.

— Сейчас? Каким образом?

— Самым обычным. Да, мы видели много миров, да, мы изучили не одну цивилизацию. И всюду, неузнанные, мы оставались чужими и все оставалось чужим для нас. А надо было всего лишь вот так посидеть и поговорить... Замыкаясь на себе самом, самого себя не познать, это так же верно для цивилизации, как и для личности. Под всеми солнцами верно. Спасибо за все — и прощайте!

— Постойте, куда вы, минуточку...

Я вскочил, но было поздно. Он уже растворился в толпе, которая поглотила его, как она поглощает всякого, — молодого и старого, мудреца и безумца, человека и нечеловека. Она всеобщность и этим напоминает Вселенную, где все возможно и все может сбыться.

ШЕЛ ЧЕЛОВЕК ПО ГРИБЫ

Сосипатров привык верить глазам своим, но когда на поляну средь бела дня стала опускаться «летающая тарелка», он им, естественно, не поверил. Как нагнулся за крепеньким подосиновиком, так с ножом в руке и закаменел, благо в такой позиции от инопланетного наваждения его преотлично скрывали кусты.

Тем временем «тарелка» села, люк откинулся, откуда гусеницей выполз трап и по нему семенящим шагом на землю прошествовали маленькие, очень деловитые зеленые человечки с противогазными рыльцами. Один из человечков запнулся о кочку, явно по-инопланетному выразился, что наконец заставило Сосипатрова поверить в реальность происходящего. Но от этого ему, само собой, стало не легче, а тяжелей. Что прикажете делать? Если происходит вторжение, то в целях личного сбережения и всенародного оповещения надо срочным образом драпать; если же, наоборот, намечается дружеский визит, то надлежит выйти и приветствовать. А может, и в этом случае лучше позвать кого следует? Лес безмолвствовал, совета было получить не у кого, поступай, выходит, по собственному разумению, а это, как известно, порой тошнехонько. Так ничего и не надумав, Сосипатров остался в прежней, за кустами, позиции. Только нож спрятал; и не оружие, и ненароком может быть не так понято.

Зеленые человечки меж тем прошествовали мимо — Сосипатрова то ли не заметили, то ли проигнорировали. Вид у них был целеустремленный, как у докладчика на подходе к трибуне. Земля под их ногами дымилась, без всякого, впрочем, для окружающей среды ущерба.

Процессия удалялась. Опять же надо было что-то

делать, но что? Решимость была не в характере Сосипатрова, потому что характера он, собственно говоря, не имел. То есть видимость его, конечно, была, поскольку в отличие, допустим, от Иванова, Сидорова, Петрова он часто ввертывал в разговор «будьте добреньки», терпеть не мог «Жигулевского» пива, жизнь называл «куролесицей», а не «жестянкой», как то обычно делают, и таких особicc за ним числилось немало. Однако все умерялось безотчетным, как дыхание, стремлением быть «как все». Незримые заемы куда обширней денежных; Сосипатров, который редко у кого перехватывал до поллучки и всегда аккуратнейше возвращал взятое, очень бы удивился, скажи ему кто, что во всем остальном он неоплатный должник, причем неизвестно кому. В первую очередь, наверное, окружающим. Все ворчат на погоду, начальство, транспорт — и Сосипатров ворчит; что-то хвалят — и его голос слышен; все обзаводятся коврами — и он в очереди; все кидаются тушить пожар — он и тут со всеми (был в его жизни такой эпизод). Подобная артельность, может быть, и прекрасна, только что остается на долю личности и где она? Это уже не душа, не характер, а сосуд для чего-то или из-под чего-то: что нальется, то и будет. Хотя, если вдуматься, кто из нас не артелен? Без своего характера прожить можно, без общинного — вряд ли.

И вот в самую трудную для себя минуту Сосипатров оказался один. Правда, в сознании брезжило что-то насчет «тарелок» прочитанное или услышанное, только, увы, противоречивое и потому неруководящее. Инопланетяне же уходили, а с ними скрывалась то ли смерть, то ли слава. Ситуация! Трудно сказать, как повернулось бы дело, но в каждом из нас, о чем многие предпочитают забыть, жив неутомимо любознательный, жаждущий подвигов и открытий ребенок. И Сосипатров, к своему удивлению, двинулся вслед за пришельцами. Откуда только взялась крадущаяся походка разведчика, которая его, обмирающего, скрытно повела от дерева к де-

реву! Позже он, правда, сообразил, что по всем приключенческим литканонам так себя и должен вести настоящий мужчина, значит, подсказка все же была.

Но то было позже, а сейчас в оглушенном сознании трепыхнулась лишь залетная строчка какой-то давней песни: «Там он землю бережет родную...» И ведь точно! Бережет, да не просто землю, а всю, можно сказать, планету. Надо же! Очень к месту пришлась та строчка и вся воинская некогда служба.

Не одиноким почувствовал себя Сосипатров, и это приободрило, тверже стал шаг. Зеленый цвет и малорослость удачно маскировали человечков, зато они двигались колонной и на ходу, опять же без ущерба для окружающей среды, дымили. Так что преимущество в конечном счете было на стороне землянина, тем более что Сосипатров понасмотрелся всяких фильмов и это, как выяснилось, тоже способствовало. Много чего оказалось у него за душой, он сам поразился. Успех обнадеживал. Правда, пришельцы могли взять хитроумной техникой, но пока не брали, шли бестревожно. Их противогазного облика рыльца даже не поворачивались из стороны в сторону, словно на земную флору, а заодно и фауну, инопланетянам было решительно наплевать. Сосипатров, на что уж покладистый мужик, и то обиделся, хотя это-то невнимание зелененьких лучше всего обеспечивало ему безопасность.

Наконец процессия остановилась. Сосипатров осторожно выглянул из-за куста. Место было как место, ничего особенного: сосенки да елочки, брусничник с черничником, внушительный у ствола муравейник, парочка гнилых пней и ядовитый мухомор впридачу. Полнейший, короче, зауряд, однако зелененькие повели себя так, будто свой гимн здесь намеревались исполнить или флаг поднять. Четко выстроились вокруг муравейника, рыльца свои подравняли и торжественно замерли.

Что за притча!

Прошла минута-другая — все то же. Ни шевеления в рядах зелененьких, никакого ни на что внимания, стоят благоговейными истуканами и словно чему-то внемлют. Забыв осторожность, Сосипатров от изумления даже высунулся — и снова ничего. Нет, один все же зыркнул, мимолетно, как на муху, взглянул в его сторону.

Сосипатров обомлел. Эх, разведчик, разведчик, выдал же себя, выдал, так глупо оплошал! Захотелось юркнуть за куст, вжаться в родную землю, но что-то тут же потребовало совсем обратного — то ли встать и в отчаянной лихости рвануть на себя рубаху (мол, стреляйте, гады!), то ли выйти хозяином и гаркнуть:

— Здорово, братья по разуму!

Сделал он последнее. Шагнул, как тогда на пожаре, только не гаркнул (горло перехватило), а хрипло сказал:

— Здравствуйте... Позвольте вас, значит, приветствовать от имени...

Явная, понял, чушь получилась. От чьего имени? И кого?! Кто уполномочил?! А вот, надо же, сказал, само с языка скатилось.

Но не возымело последствий. Рыльца, правда, повернулись и вроде как-то поморщились, но ни один зелененький из круга не вышел, никто никакого бластера не выхватил, но и словом не удостоил, точно не Сосипатров был перед ними, а замшелый пень.

Тем все и кончилось, зелененькие снова впали в свой транс, отчего Сосипатров и вовсе увяз. До сих пор в памяти отыскивалось хоть что-то путеводное, а теперь как обрезало, и, хотя ум работал, руки и ноги могли двигаться, эта свобода только обременяла, ибо ничто не подсказывало, как ею пользоваться. Все в нем онемело, как в кукле.

Лишь животный рефлекс остался. Едва прошло оцепенение, как ноги сами дернулись, и побежал бы, навер-

ное, Сосипатров, но уж слишком его оскорбили. Всегда махал рукой на всякие там высокие материи, а тут проняло. Кто они такие в конце концов, эти зелененькие?! Сами не лыком шиты, сами в космос летаем и на других звездах, придет время, будем. Так чего же эти лягушата выпендриваются?! Никогда Сосипатров не имел отношения ни к космическим полетам, ни к другим свершениям века, а тут словно боевые медали на груди почувствовал. Знаться не хотите, ах так! Ну и мы не заинтересованы.

Чтобы подчеркнуть это, он выразительно сплюнул и, хотя поджилки тряслись, демонстративно стал собирать чернику. Мол, не хотите контактировать — и не надо, у нас своих дело по горло. И вообще... Черника, понятно, выскальзывала из ослабевших пальцев, но кое-что удавалось отправить в рот и тем показать. Попутно Сосипатров приглядывался.

И все яснее ему становилось, что муравейник, вокруг которого зелененькие сгрудились, — это не просто так. Что есть в нем особый смысл и для пришельцев он даже нечто вроде святилища. Похоже, молятся они на него, как старушки на пресветлый престол. Вот те раз! Тут религией пахло, хотя и непонятно какой, что еще возмутительней. Стоят, вылупились — и млеют. Над чем?! Над тварями кусачими?! А человек для них, стало быть, место пустое?!

У Сосипатрова от столь окончательного попрания формулы «Человек — звучит гордо!» аж руки зачесались. Однако сдержался. И потому, что опасался последствий, и потому, что думал, а чем больше думал, тем меньше понимал. Лететь черт знает из каких далей, чтобы муравейнику поклониться? Не сообразовывалось это с межзвездной техникой. Ни с какими представлениями о разуме не увязывалось, решительно всему противоречило.

И тут Сосипатрову такая мысль пришла в голову, что он даже икнул. Никогда его не осеняло, а тут осени-

ло; как, может быть, Эйнштейну не снилось. Не молятся они вовсе, а контактируют! По-своему, по-особому общаются с муравьями! Беседуют с ними телепатически.

Ну да... Что-то Сосипатров читал, что-то по телевизору видел, все разом всплыло и обухом по башке тумкнуло. Ведь у муравьев тоже есть какая-то цивилизация! Вишь какой небоскреб себе отгрохали, коровок, то есть тлей, опять же пасут и так далее. Могло это кого-то свыше заинтересовать? Вполне. Это мы на них сверху вниз, а они, быть может, со всей Галактикой давно в контакте, потому что задолго до человека появились и время в инопланетной дружбе преуспеть у них было. А старый друг, как известно, лучше новых двух. Ай-ай-ай, как же это мы не раскумекали, походя муравейники пинали, ой, стыдобушка! Вполне понятно, что зелененькие нас сторонятся...

Горько так было думать, но волнующе. Сосипатров даже об оскорблении забыл. Да и чего обижаться, если все выходит по справедливости? Загладить надо. Собственная идея так увлекла Сосипатрова, что он уже не столько на зелененьких смотрел, сколько на муравьев. Снуют, бестии, шебуршатся вроде больше обычного. Друзья инопланетян, это надо же! Мамочки родные... А вдруг нажалуются?! Что тогда?

Нехорошо стало от этой мысли, муторно. Не от страха даже, от чувства вины, потому что лозунг «Муравьи — санитары леса, берегите их!» лишь недавно был принят, а до этого... Лучше не вспоминать.

Среди зелененьких меж тем прошло движение. Вроде общего вздоха раздалось, они зашевелились, и тотчас один из них шагнул к Сосипатрову. Тот, теряя нечего, принял достойный вид: мол, все сознаю и ответ в случае чего готов держать, только и вам о перспективе не мешает задуматься... Иначе какой же разум?

Зелененький подошел совсем близко, хоботок выпя-

тил, пошевелил им, будто принюхиваясь. И тут же в сознание Сосипатрова проникли чужие слова.

— Здравствуйте, гомо сапиенс. Извините нашу неоткликаемость, но искусство муравьев, согласитесь, очаровательно.

Искусство?! Скользни в карман шаровая молния, предложи инопланетянин раздавить пол-литра, Сосипатров не так бы растерялся.

— Вдобавок, — продолжал зелененький своим теплepatическим голосом, — муравьи сегодня были феноменальны. Шедевр, неопиcуемый экстремум, волшебный вклад в культуру всей Галактики!

Галактика Сосипатрова добила.

— Ну да, — забормотал он сущую околесицу. — Искусство, оно, понятно... Требует жертв и должно служить...

— Именно! — в восторге подхватил инопланетянин, а окрест него все протрубили что-то радостное. — Мы счастливы таким пониманием наших мотивов и обстоятельств. Вы всегдашнии с муравьями, а нам каково? Временная непредпосылочность вашей цивилизации требует бесконтактности, но искусство муравьев уникально во всей Галактике, отдельно от вас и потому монопольно. Мы вынуждены так разрешать противоречие, компромиссовать с этикой, следовательно, как вы точно заметили, нести моральные жертвы. Выдавший нас сбой маскировки досаден, но благодетелен узнаванием вашей щедрой готовности делиться тем, чем одарены эти скромные труженики и гении.

— Да сколько угодно! — вскричал Сосипатров. — Пожалуйста! Искусство принадлежит и является... Прилетайте еще, будьте добреньки! Мир и дружба!..

Он что-то еще говорил, а что — вспомнить потом не мог. То же самое, наверное, потому что слова соскальзывали самые привычные; ничего другого его смятенный ум выразить был не в состоянии. Но, видимо, не так уж

они были плохи, эти слова. Во всяком случае, инопланетяне еще раз поблагодарили, телепатически расклялись и, весело дымя, оживленной гурьбой двинулись к своему транспорту. А Сосипатров даже помахал им вслед. И лишь когда зелененькие скрылись, до него дошла вся огромность промашки.

Ни о чем же не расспросил, ничего толком не выяснил!!!

Вероятно, можно было еще догнать, но неловко, неуместно и даже стыдно. Сапиенс называется! Царь природы! После всего, что наговорил, поди сознайся теперь, что и свое-то искусство редко волнует, а уж о муравьином не только ты — все человечество понятия не имеет...

И с этим вылез к инопланетянам!

Никуда не побежал Сосипатров, отдуваясь, вытер вспотевший лоб, на негнувшихся ногах подошел к муравейнику и уставился на него, будто видел впервые. Инопланетяне в конце концов пришли и ушли, а вот муравьи с их искусством... Уникально во всей Галактике, подумать только! С других звезд, чтобы насладиться, летят! Вот и ломай теперь голову, какое оно, их искусство... Может, симфония в ультразвуке? Муравьиный балет? Или уж вовсе для человека недоступная соната запахов? Живопись каких-нибудь биополей? Может быть, под этим куполом свои Рембрандты и Бетховены скрыты? Даром что неразумные; любим же мы слушать соловьев, восхищаемся их искусством. А если чуть шире взять...

— Эй! — тихо окликнул муравьев Сосипатров и наклонился ниже.

Никакого отзвука, словно лицо человека как было для них, так и осталось в космической неразличимости. Муравьи сновали по своим делам, вся поверхность кипела ими, как уличная в час «пик» человеческая круговерть. Даже голова закружилась. И все-таки Сосипатро-

ву понемногу стало казаться, будто и хвоинки уложены с изяществом, и звуки незнакомые доносятся, и аромат он чувствует какой-то особенный, и все вокруг не такое, как прежде, во всем удивительный бесконечный смысл. В этом небе над головой, в земле под ногами, в шепчущих соснах и даже в поганом мухоморе.

Тревожная радость охватила Сосипатрова. Вот он, вот Галактика, все у всех на виду и все друг другу нужны.

Эх, жизнь-куролесица, до чего же ты интересная штука! Ведь за грибами шел. Только за грибами.

При высокой температуре мысли ползут и вязнут, как ноги в глинистом месиве, только лениво, нехотя, круговоротно. Все вяжется мерным узором, монотонной чередой всеобщих пустяков, успокоительным колыханием теплой ряби, так, без обрыва, но и без четкой связи, без единого всплеска, нет ни малейшего раздражения даже на не-кстати свалившийся грипп. Впрочем, когда грипп бывает кстати? Только когда хочешь увильнуть от более досадной, чем болезнь, заботы. Я же был в отпуске, в крохотном городке Закарпатья, принадлежал сам себе, рассчитывал всласть отдохнуть и всласть поработать, а вместо этого, укрывшись пледом, лежал в старом доме, еще точнее, в «комнате с привидениями».

Кстати, весьма уютной и недорогой, только немного запущенной. Напротив кровати находился камин, ей-час, в свете ночника, отверзлый и черный, как зев пещеры. Солидных размеров ковер на полу напоминал о дряхлости, забвении, пыли и тому подобных серьезных вещах. Когда-то веселенькие, в пунцовых розах обои изрядно пожухли и смотрели на меня пятнами, которым при желании можно было придать смысл и оттенок выцветшей крови. Такого желания я не испытывал. Наоборот, я им был благодарен, ибо подозрительная теперь тусклость аляповатых роз, их багровая в сумерках мрачность наверняка помогли мне осесть в этом тихом, всего за рубль в сутки пристанище, когда я уже было отчаялся снять где-либо комнату. Сезон, наплыв жаждущих солнца и винограда северян! Долго я тогда вышагивал по раскаленному сухим блеском булыжнику, напрасно стучался в уютные домики, стойко принимал вежливые улыбки отказа и брел дальше от одного тенистого оазиса к другому. Места не было нигде, и я уже ощущал то,

что, верно, чувствует бесприютная дворняга, некую униженность легковесного и, как пыль под ногами, никому не нужного существования, когда одна тонконогая, лет двенадцати фея в шортиках, шмыгнув носом, махнула куда-то в глубь переулка:

— А вы попробуйте у дяди Мартина. У него, правда, нечисто... Но, может, и сдас. Прямо и налево, старый дом, во-он черепица в просвете!

Владелец домика оказался похожим на встревоженного филина. Даже рубашка была на нем какая-то оттопыренная, седые волосы топорщились, как им хотелось, а глаза под круглыми очками то часто мигали, то, наоборот, застывали в неподвижности, такие же серые, как и весь облик хозяина. Мартин не столько говорил, сколько мямлил, и неизвестно, чего в его междометиях было больше — смущения или нежелания объясняться. Сначала он мне отказал, но сделал это так неуверенно, что я продолжал уговоры, и, должно быть, мой вид был красноречивей слов; мой собеседник явно ощутил некое моральное неудобство своей позиции и, мигая чаще обычного, как-то даже заерзал.

— Нет-нет, не хочу вас подводить... э... вообще... тут, видите ли... Впрочем, однако... Да, конечно: человек без угла хуже, чем угол без человека, но... Слушайте, как вы относитесь к привидениям?

— Что?!

— Понятно... — Он грустно покачал головой. — Видите ли, комната есть, пустая, но в ней... э... поселилось привидение. Не могу вам помочь, — добавил он тоскливо.

К счастью, я даже не улыбнулся. Долгие мытарства хождений сделали из меня провидца и дипломата. Я тут же без всяких логических обоснований отбросил мысль о легком помешательстве собеседника, внутренним зрением приметил под его рубашкой крохотный крестик (впрочем, выпуклость этого амулета могла сама собой обозначиться под тканью) и понял, с кем имею дело.

Мартин искренне хотел помочь ближнему, но совесть, но долг никак не позволяли ему сводить человека с нечистью, да еще брать за это деньги. В той же мере его, однако, угнетала мысль, что вот есть же свободная комната, а вот человек, которому она позарез нужна. Свою роль, конечно, играли и деньги.

Уже спокойно, с понимающим выражением лица я осведомился, как давно поселилось привидение, что оно себе позволяет, и уверил Мартина, что перспектива встречи с ним меня ничуть не смущает. Я не стал приводить довода, что ни в какие привидения не верю (этот довод его не убедил бы), а просто сказал, что раз для него, Мартина, призрак неопасен, то, значит, и я с ним как-нибудь уживусь.

Это произвело нужное впечатление.

— Но я-то не живу в комнате, — заколебался он. — Ее и дети избегают. Младший в свой последний приезд попробовал... А!

— Да ведь я ненадолго. Сами же говорите, что оно не всегда появляется. Попробуем, попытка не пытка....

— Так-то оно так... — Мартин тихонько вздохнул. — Ладно, я вас предупредил. Только знаете что? Говорите всем, что я с вас взял полную цену, а то соседи... Ну, вы понимаете.

Так я обрел пристанище. А заодно воображаемое привидение и вполне реального добродушного хозяина, с которым под материнской опекой хозяйки мы в тот же вечер славно раздавили бутылочку домашнего вина. Уже в постели я лениво подумал, как интересно устроена жизнь и кого только в ней нет. Предполагал ли я утром, что столкнусь с психологией совсем другой эпохи и буду калякать с человеком, для которого божий промысел и нечистая сила такая же реальность, как телевизор и космические полеты? Разумеется, нет. Каждый держится своего круга, живет его представлениями и порой забывает, что это еще не весь мир.

Никакого привидения я, само собой, не увидел ни в

ту ночь, ни в последующие. Так, собственно, и должно было быть, но вовсе не потому, что призраков не бывает. Проблема существования чего-либо не так проста, как кажется людям с однозначным складом ума, для которых что-то либо есть, либо его нет вообще. Кроме геосфер, имеется еще ноосфера, а это отнюдь не пустыня. Усилия психики творили и творят в ней не менее диких, чем в биосфере, образования, которые, правда, еще ждут своего Линнея и Дарвина. Существует ли Гамлет или Дон-Кихот? Их нет, никогда не было в физическом мире, но в духовном они есть, существуют как образ и способны воплотиться на сцене, то есть отчасти перейти в сферу телесной осязаемости. Привидения — образования того же класса, хотя и другого рода. Они порождены не искусством, а религиозной мистикой, это продукт мировоззрения былой эпохи, но для тех, кто в них верует, они существуют и по сей день. Воображение способно их воскресить, здесь актерствует психика самого зрителя, однако это уже частности. Важно, что мне привидение не могло явиться, ибо я в них не верил.

Оно и не являлось, чем повергло Мартина в легкое недоумение. Понятно, я ничего не стал объяснять и даже не намекнул, что если бы он не был столь щепетилен и всем предлагал «комнату с привидениями», то это лишь увеличило бы наплыв желающих. Более того, наверняка бы нашлись любители платить втридорога, лишь бы было потом о чем порассказать. Что делать, вялое существование требует душевной щемотки и доброе старое привидение годится для этого не хуже, чем вымысел о каком-нибудь «Бермудском треугольнике». Ничего этого Мартину не сказал, наоборот, в шутку заметил, что, видимо, пришелся привидению не по вкусу и оно, чего доброго, навсегда очистит помещение. «Дай-то бог...» — пробормотал Мартин не слишком уверенно, но я не сомневался, что заронил в нем некоторую надежду. На большее я и не рассчитывал. Атеиста трудно заставить поверить в потусторонний мир, но многие

из нас почему-то убеждены, что обратная задача куда проще.

Так или иначе, все обстояло прекрасно, если бы не проклятый грипп. Хотя когда еще можно вот так ни о чем не беспокоиться, просто лежать, забывая о времени? Хочешь держаться на стремнине — гребь из всех сил, таков удел современного человека, и грипп здесь при всех своих неприятностях еще и разрядка. За окном давно смеркалось, в доме было тихо, не хотелось даже читать, я лежал, безучастно глядя на тусклые пятна обоев, и вялый ход мыслей так меня убаюкал, что я не расслышал шагов Мартина за дверью.

— Да-да... — встрепенулся я на стук. — Входите!

Сначала в проеме двери возник поднос с графином и мелко дребезжащим о стекло стаканом. Как и в прежние свои посещения, Мартин кинул украдкой взгляд, в котором читалась надежда увидеть меня молодцом, а когда эта надежда не оправдалась, его лицо сразу стало сокрушенным. Подозреваю, что добрую душу моего хозяина томило сознание невольной вины, ибо захворал я в его доме, значит, он, хозяин, чего-то не предусмотрел, о чем-то не позаботился, ведь, что ни говори, свалился я один, а вот у соседей все постояльцы здоровы и вообще в городе никто не слышал ни о какой эпидемии. Допускаю даже, что в причинах моей болезни Мартин усматривал козни привидения, которое, почему-то не решаясь действовать в открытую, прибегло к окольному маневру.

— Вот, — сказал он, ставя графин с лимонадом. — Как вы себя чувствуете?

— Нормально...

Брови Мартина чуть-чуть приподнялись.

— Нормально, — повторил я. — А что? Вирус — честный противник. Сразу дает о себе знать, организмы тут же на него врукопашную, так и ломаем друг друга.

— Все смеетесь... Хоть бы аспирин приняли, еще лучше антибиотик.

— Дорогой Мартин, вы ужасно нелогичны! По-вашему, все в руке божьей, так какая разница — глотаю я таблетки или нет?

— Извините, но нелогичны вы. Бог дал человеку разум, разум создал лекарства, значит, ими надо пользоваться. А вы, человек науки, и пренебрегаете...

Он осудительно покачал головой.

— Наука, — возразил я со вздохом, — не смирению учит. Но и не гордыне. Пониманию. С лекарствами, знаете ли, как с автомобилем: доставит быстрее, но можно разучиться ходить пешком. Всему свое время, согласны?

— Ну, как знаете... Может, еще чего надо?

— Нет. Спасибо за питье, больше ничего не надо.

Повода задерживаться у Мартина больше не было. Однако он остался в кресле. Вид у него был весьма смущенный, чем-то он сейчас напоминал неловкого торговца из-под полы, даже волосы встопорщились больше обычного, а руки растерянно елозили по коленям, округлые глаза смотрели мимо и часто мигали.

— Не беспокойтесь, все будет хорошо, — сказал я. — Подумаешь, грипп!

— Нет-нет, я не о том... Сейчас, понимаете ли, полнолуние...

— Да? Ну и что?

— Самое беспокойное время... Вы опять будете смеяться, но...

— А-а! Привидение. Полно, Мартин, ничего со мной не случится.

— Да, да... Но, знаете, на всякий случай... Вам же все равно? А мне как-то спокойней...

— Спасибо, Мартин, только зачем мне куда-то переходить? И вас стесню, и мне неудобно. Оставим это.

— Нет-нет, вы не так меня поняли! Оно, конечно, самое святое дело вам было бы перейти, но, простите, наука, как я полагаю, все-таки учит гордыне... Ах, я не о том! Но... Вы не рассердитесь, если я над вами повешу... Все-таки, может, оно поостережется.

С этими словами откуда-то из глубин своих одежд Мартин извлек изящное костяное распятие.

Я чуть было не рассмеялся. Мне хотелось сказать, что распятие наверняка уже здесь висело и ничуть не помогло (еще бы!), но выражение глаз Мартина было таким просительным, его забота обо мне была такой трогательной, что я поспешно кивнул.

— Вот и хорошо, вот и славно, — обрадовался Мартин. — Так и на душе как-то спокойней. Ваше право все это отрицать, но опыт отцов, уверяю вас, чего-то стоит... А ведь я вам гожусь в отцы!

— Нельзя отрицать того, чего нельзя отрицать, — ответил я (спорить мне уже не хотелось). — Спокойной ночи.

— Минутку. — Мартин перегнулся, чтобы повесить распятие, и надо мной заколыхался его животик. — Ну вот... Спокойной ночи, спокойной ночи!

Высоко приподнимая пятки в заштопанных носках, он мягко, как на лыжах, заскользил шлепанцами к двери и тщательно прикрыл ее за собой.

Я нехотя встал, повернул ключ, разделся, выключил ночник, натянул на себя одеяло повыше. Теплая пещерка постели показалась мне самым уютным на земле местом. Туманные обрывки мыслей продолжали свое вялое круговращение, я не сомневался, что засну тотчас. Но это ожидание не сбылось, видимо, я слишком много продремал днем.

Впрочем, это не имело значения, при высокой температуре мало что имеет значение. Где-то далеко соборные часы пробили полночь. Услышав их, я приоткрыл глаза. Комната мне представилась чужой, ибо в окно успела заглянуть луна. Ровный свет далекого шара серебрил ковер, косо перечеркнутый тенью рамы, белизной глазури покрывал в ногах крахмальные простыни, льдистыми сколами преломлялся у изголовья в стекле графина, а за пределами этого минерального сияния и блеска все было провалом мрака, столь глухого и черного,

словно комната переместилась в инопланетное измерение и воздух в ней утерял свою способность смягчать контраст.

Таково вообще свойство лунного света, есть в нем что-то нездешнее, недаром он льется с черных космических равнин до безнадежности мертвенного шара. Поддаваясь его гипнозу, я вяло подумал, что привидению самое время явиться. Полночь в старинном (ну, не старинном — старом) доме, страхи хозяина, таинственный блеск луны — что еще надо? Все было по классике, правда, слегка уцененной, так как полагалось быть замку, а не комнате за рубль в сутки, и не полагалось быть электричеству, чей прозаический свет я мог вызвать движением пальца. Вдобавок призраки — явление скорей западноевропейское, чем русское. У нас все было как-то более по-домашнему, — ну, там лешие, кикиморы, домовые, все без особых страстей-мордастей и прочих романтических переживаний. То ли дело Европа! Там не один век выходили наставления, как надлежит говорить с призраками — вежливо и обязательно полатыни, что, несомненно, указывало на аристократическую природу как самих привидений, так и тех, кто с ними общался.

Куда уж мне, плебею... Устроившись поуютней, я продолжал разглядывать наплывы лунного света и тьмы. Все, решительно все способствовало галлюцинациям, и это было даже интересно, потому что галлюцинации со мной никогда не случались. Не то чтобы я их жаждал изведать, но почему бы и нет? Грипп не совсем притушил исследовательское любопытство, обстоятельства благоприятствовали, здравый смысл ослабил свою рутинную хватку, словом, я ждал неизвестно чего в том вялом и отрешенном состоянии нездоровья, когда человек одинаково способен погладить и кошку, и мурлыкающую тигрицу.

И я дождался. Девушка возникла в косом сиянии, возникла сразу, без всяких там промежуточных стадий

материализации. Но если это было привидение, то весьма нестандартное. Никакой мистической полупрозрачности, никаких туманных хламид и горящих глаз; вид у девушки был сосредоточенный, как у гимнастки перед выходом к спортивным снарядам; ее стройную, вполне телесную фигуру облегал переливчатый купальник, который наверняка поверг бы в смятение любого сочинителя готических романов.

Легкое нетерпеливое движение ног еще резче обозначило гибкий перелив мускулов моей гостьи. Никогда не думал, что галлюцинация может явить столь прелестный образ! Нисколько не сомневаясь в его природе, я все же для чистоты опыта надавил на веки глаз. Но, увы, гриппозная лихорадка начисто вышибла из памяти, что именно должно было раздвоиться — видение или реальные предметы. Вдобавок, что совсем непорочно, я перестарался в усилии и на мгновение просто ослеп. А когда зрение восстановилось, то уже никакого раздвоения не было ни в чем. Белесый глаз луны по-прежнему заглядывал в окно, ничто не изменилось в комнате, кроме позы самой девушки. Пригнувшись, как перед броском, отведя назад тонкие локти, она медленно двигалась на меня. Ход ее ног был беззвучен и мягок, глаза смотрели куда-то поверх кровати, я отчетливо видел каждую западинку облитого лунным сиянием тела девушки, в ней не было ничего от нежити, кроме...

Ее движущаяся тень падала не в ту сторону! И глаза взблескивали не тогда, когда на них падал свет... На меня детей призрак!

Сердце бухнуло, как набатный колокол. Не стало голоса, я хотел и не мог вскрикнуть, а только что есть силы зажмурился, ожидая, что меня вот-вот заденет, пронизжет притворившийся человеком дух.

Ничего не произошло, даже воздух не шевельнулся. Когда же я обморочно раскрыл глаза, то никакой девушки не было. Было другое: прямо перед постелью,

спиной ко мне возвышалась темная мужская фигура, чьи напряженно движущиеся плечи выдавали какую-то сосредоточенную работу рук.

Тень от фигуры падала в полном согласии с законами оптики.

Такая смена видений логична для сна, не для яви, ибо только во сне возможно превращение чего угодно во что угодно. Однако врут те романы, в которых утверждается, будто человек не способен отличить кошмар от бодрствования. Мы прекрасно различаем эти состояния, но тут в моем разгоряченном уме все смешалось, я не знал, чему верить, ибо при гриппе вполне возможен и бред. Как ни странно, эта мысль меня успокоила, и деловитая поза очередного призрака тут же подсказала единственно верное сейчас движение. Я метнул руку к выключателю, но промахнулся, и об пол со звоном грохнулся стакан.

Эффект это дало потрясающий. Фигура в черном подпрыгнула, как вспугнутый выстрелом олень, живо обернула ко мне бледное пятно лица и с чувством выругалась:

— Нейтрид оверсан! Это еще что такое?!

Столь откровенный испуг придал мне решимости.

— Брысь... — сказал я тихо, но тут же поправился. — Изыди!

— Слушайте, не будьте мистиком! — последовал раздраженный ответ. — Вы что, грабителей не видали?

— Бросьте, — сказал я твердо. — Сядьте, господин призрак, поговорим.

— Позвольте, я...

— Не врете. Оверсан, нейтрид... Грабители так не изъясняются.

— Верно, — незнакомец как будто усмехнулся. — Допущен прокол, так это, кажется, называется? Придется кое-что объяснить...

Он сел.

— Зажгите свет.

Я поспешно нажал выключатель.

М-да... Передо мной, спокойно сложив руки, сидел молодой человек в довольно своеобразном черном комбинезоне, широкий пояс которого спереди был усеян кнопками, разноцветными сегментами переключателей и другими совсем уж непонятными атрибутами переносного пульта. Еще примечательней было лицо незнакомца. Ничего вроде особенного, человек как человек, но его умные, прелестные своей открытостью глаза словно светились изнутри. При этом трудно было сказать, кто кого разглядывает с большим интересом: я его или он меня.

— Понял, — сказал он вдруг. — Вы не заснули, потому что больны.

Его голос теперь звучал мягко, в нем исчезли нарочитые грубоватые ноты, зато стал уловимей акцент, хотя я был готов поклясться, и некоторые обороты речи подтверждали мою уверенность, что передо мной соотечественник.

Или подделка под него.

Впечатление раздваивалось. Озаренное изнутри духовным светом лицо незнакомца, чудесные умные глаза, которые не лгали, не умели лгать, — все вызывало доверие. Но остальное! Поддельный голос. Дурацкая роль, которую незнакомец пытался сыграть... Меня, самого обычного человека, он разглядывает, будто люди ему в новинку, — это как понимать?!

Но хуже всего комбинезон. Такой не мог быть изделием человеческих рук, ибо ткань... Она поглощала свет! Ни мерцания, ни отлива, ни одна складка не западала тенью, тем не менее этот савантэмы каким-то непонятным образом не только рельефно очерчивал тело, но и выделял каждое движение крепких мускулов, хотя полное отсутствие теней и бликов, казалось, делало это невозможным. Настолько невозможным, что прозаический свет настольной лампочки далеко не сразу выдал мне эту противоестественную особенность одежды.

Но когда я ее наконец заметил, точнее сказать, когда сознание ее восприняло и оценило, то под моим черепом будто прошлась когтистая мохнатая лапа.

— Кто вы такой?! — выкрикнул я.

— Человек. — Казалось, моя нервозность искренне удивила, даже огорчила незнакомца. — Правда, не совсем такой, как вы.

— Не совсем... Вроде той девушки?!

— Ничего общего! То был обыкновенный фантом. Не понимаю вашей реакции.

— Ах, вот как... — Помимо воли во мне вдруг проснулась ирония. — Ничего, значит, особенного, обыкновенный, стало быть, призрак...

— Не призрак, — пришелец досадливо поморщился. — Фантом. Это разные вещи, ибо фантомы в отличие от призраков существуют физически.

— Рад это слышать. Очень, очень любопытно, особенно когда они на тебя насакивают...

— Это досадное, по нашей вине, стечение обстоятельств, пожалуйста, извините.

— Чего уж! Одним... э... фантомом больше, одним меньше, пустяки!

Я махнул рукой, что вызвало на лице моего гостя улыбку.

— Странно, — сказал он. — Я полагал, что юмор и мистика несовместимы. Вообще мистика я представлял немного иным.

— Мистика? — Я задохнулся от возмущения. — Это кто же мистик?!

— Вы.

— Я?!

— Разве нет?

Он показал на распятие.

— Не мое, — отрезал я, ибо рассердился не на шутку и более уже не чувствовал никакого страха. Кем бы ни был этот ночной гость, он вторгся в мой мир, в мою действительность, которую я вовсе не собирался усту-

пять никаким пришельцам, будь они трижды фантомы или какие-нибудь там из другого измерения, биороботы. Сердце билось ровно, я был спокоен, как арктический айсберг.

— Не мое, — повторил я. — К тому же мистик и верующий — не одно и то же. Но это вас не касается.

— Прекрасно! — воскликнул нездешний гость. — Но раз вы ни во что такое не верите, откуда сомнения, человек ли я?

Он еще спрашивает!

— Есть факты и логика, — буркнул я.

— Разве они опровергают мои слова?

— Еще бы! Призрачная девушка. Ваша хламида...

— Хламида? — Он недоуменно покосился на свое одеяние. — Не понимаю...

— Свет, — пояснил я. — Нет теней.

— А-а! Ну и что?

— Не бывает такой материи.

— Но это и подтверждает мои слова! Именно человек создает то, чего не бывает...

— Или внеземной разум...

— Который в миг испуга (а вы, признаться, меня тогда напугали) вскрикивает по-русски? Где же ваша логика? Разве не ясно, что я обычный человек, только иного века?

На секунду я онемел. Такое надо было переварить. Иного, стало быть, будущего века... М-да...

— Допустим, — сказал я наконец. — А девушка?

— Что девушка? Отход нашей деятельности, обыкновенный фантом, я уже объяснил. Вам же знакома голография!

— Но ее изображения не разгуливают по ночам! Не прыгают на людей! Тем более не перемещаются во времени. Это невозможно, это фантастика!

— Наоборот, раз фантастика, значит, возможно.

— Как-как? Если фантастика, то... Это же дичь!

— А что такое для прошлого ваше телевидение, кос-

мические полеты, оживление после смерти, как не фантастика? И для вас будущее неизбежно окажется тем же самым. Отсюда простейший логический вывод: фантастика — первый признак грядущей реальности.

— Но разве что-то может противоречить законам природы?!

— Чем же наше появление здесь им противоречит?

— Будущее — следствие прошлого! А ваше в него вторжение... Следствие не может опережать причину!

— А вам известны все закономерности причинно-следственных связей? Наш век не столь самоуверен.

— Наш тоже...

— Незаметно. По-моему, вам легче признать меня призраком, чем пересмотреть свои представления о природе времени.

Я прикусил язык. Крыть было нечем. Что я мог противопоставить его доводам, когда на моей памяти низринулся непустячный закон сохранения четности? Упираю на то, что будущее еще ни разу не объявлялось в прошлом? Это не аргумент: мои современники, например, уверенно конструируют атомы, каких прежде не было на Земле, а возможно, и во всей Вселенной. Что нам, в сущности, известно о времени, его свойствах и состоянии? Вряд ли тут наши знания полнее представлений Демокрита о структуре вещества. Правильно сказал мой гость: первый признак свершений далекого будущего — их кажущаяся по нынешним меркам невероятность.

— Но, — спохватился я, — как тогда понять ваши поступки? Сначала возник фантом...

— Он-то всему и причина! Фантоматика у нас примерно то же самое, что у вас телевидение. К сожалению, не сразу выявилось одно побочное и крайне неприятное следствие: фантомы иногда срываются в прошлое.

— Ну, знаете!

— Мы были поражены не менее! Изредка фантомы вдруг исчезали как... как призраки. Проваливались неизвестно куда. Никто ничего не мог понять, пока не обра-

тили внимание, что в литературе прошлого проскальзывают описания, подозрительно похожие на свидетельства встреч людей с нашими фантомами.

— Как?! Выходит, все эти призраки, привидения — продукт вашей деятельности, точнее, беспечности?

— Вовсе нет! Чаще всего они то, чем и должны быть: психогенные продукты веры, ошибок зрений и галлюцинаций. Лишь некоторая, ничтожная их часть... Мы в это с трудом поверили, уж слишком фантастично.

— А-а, и вы тоже...

— Почему «тоже»? Люди мы или не люди? Фантастическое и нам нелегко дается. Мы сто раз все перепроверили. Увы! Собственно, с этого и началось развитие хронодинамики. Прошлое надо было срочно очистить от наших «гостей», тем более что наша деятельность плодила новые и новые толпы фантомов. За какое-нибудь средневековье мы не очень-то опасались, там людям и так кругом мерещились призраки, чуть больше, чуть меньше — не имело особого значения, да и фантомы, как правило, ускользали не столь далеко. Зато в двадцатом или двадцать первом веке их нашествие могло вызвать незакономерную вспышку мистики, что ударило бы по истории, следовательно, и по нас. Парадокс! Все поколения наивно думали, что только настоящее в ответе за будущее, а оказывается, и будущее должно заботиться о минувшем. Не странно ли?

— Да... — помедлил я. — Все это трудно укладывается в сознании. Хотя... как вы сказали? И будущее должно заботиться о прошлом? Слушайте, а в этом нет ничего странного, тем более нового.

— Как нет? — наконец-то, наконец пришлось изумиться и моему гостю! У него даже брови подпрыгнули. — Это же недавний вывод нашего времени!

— Напрасно вы так думаете. — Я сполна наслаждался своим маленьким торжеством. — Просто очевидное не бросается в глаза. Историки всегда стремились очистить прошлое от наслоений лжи, ошибочных представ-

лений, по крупницам восстанавливали его первоизданность, всю полноту прежней жизни, тем самым духовно воскрешая былых людей, их мысли, поступки, стремления... Что это, как не забота будущего о прошлом? Иначе, кстати, нельзя разглядеть грядущее в былом, то есть понять закономерности, предвосхитить события, извлечь урок из прежних ошибок, улучшить тем самым будущее... Нет, охрана прошлого отнюдь не ваше изобретение. Просто у вас другие возможности и, как погляжу, куда большие обязанности.

Надо было видеть лицо гостя из будущего, пока я все это говорил!

— Верно! — воскликнул он даже с некоторым почтением в голосе. — Весьма справедливо, если не в деталях, то в принципе. Не могу понять, как столь очевидная мысль не возникла прежде!

— Возможно, она и возникала, — возразил я. — В двадцатом, девятнадцатом, а то и более раннем веке. Не осталась погребенной в толще книг, и мы сейчас открываем чьи-то прописи.

— Вы правы. — Собеседник задумался. — Обычная иллюзия: наш век — самый умный...

— Зато ваша деятельность подтверждает, что от века к веку растет ответственность поколений. В том числе и за прошлое.

— Несомненно. А знаете, я счастлив. Тем, что мы не только нашли общий язык, но и обогащаем друг друга, хотя меж нами такая пропасть времени... — Он pokrutil головой. — Ради этого стоило оплошать и выдать вам свое здесь присутствие. Вы, конечно, уже до конца поняли, чем я тут занимался и почему так хотел избежать встречи с предками?

— Сейчас проверю... Итак, призрак, который напугал моих хозяев, — это ваш беглый фантом, с ним все ясно. То есть о чем я? Все неясно, но, вероятно, физическую природу явления я не пойму, даже если у вас есть право ее объяснить.

— Не поймете, это точно, не обижайтесь.

— Ничего, я и квантовую механику не очень-то понимаю. А вот некоторые попутные соображения...

— Да?

— Мысль, конечно, банальная. То, что случилось с вами, или нечто подобное, должно было случиться. Невотвратимо.

— Вы уверены?

— Еще бы! Мы лишь недавно обнаружили, что, сами того не желая, воздействуем и на прошлое. Без всякой хронодинамики, кстати! Акрополь, и не только Акрополь, надо спасать от загрязнений уже теперь, иначе воздух нашего века разъест эти частички прошлого... О, вы, конечно, справились с экологическим кризисом, раз существуете и даже побеждаете время. Но перед вами в принципе стоят те же самые задачи! Те же самые, ибо чем мощнее деятельность человека, тем сильнее ее напор на все и вся, тем шире и парадоксальней последствия этого напора, глубже их дальное действие. Все! Какая-нибудь хронодинамика, охрана самого времени рано или поздно должны были стать для вас такой же необходимостью, как для нас — сбережение воды, воздуха, почвы, своего настоящего и вашего будущего. Разве не так?

— Не отрицаю и не подтверждаю, — слегка оторопело сказал мой гость. — Знать вам о нас можно далеко не все.

Я усмехнулся:

— Милый мой, дорогой прапраправнук! Да ваше лицо — открытая книга. Возможно, вас тренировали, учили скрытности и притворству, все равно вы не умеете лгать, что, кстати, говорит мне о будущем куда больше, чем любые ваши о нем пояснения.

— Неужели так?

— Именно так.

— Да-а... — проговорил он задумчиво. — Притво-

рись в случае чего... Ну, теоретики, ну, знатоки!.. Спасибо, учтем.

— Не стоит... Между прочим! Когда я уронил стакан, разве вы не могли вместо всей этой глупой инсценировки просто исчезнуть во времени?

— И тем, может быть, довести вас до инфаркта? — Он взглянул на меня с упреком. — Убедить в реальности привидений?

— Ах, так! Ну, разумеется, так... А эту свою... «гимнастку» успели словить?

— Здесь. — Он похлопал себя по поясу. — Теперь можете спать спокойно.

— Да я и так... Стоп! Почему вас так удивило мое бодрствование?

— Возникнув, я тут же, как полагается, включил... Словом, любой человек должен был сразу погрузиться в беспробудный сон и забыть все, если ему что-то привиделось. К сожалению, средство не действует, если организм борется с вирусами. Кстати, теперь, — он подчеркнул слово «теперь», — вы совершенно здоровы.

Верно, гриппа и след простыл! Давно и так незаметно, что я только сейчас обратил на это внимание... Ай да правнук, как он это умудрился?

— Спасибо, — сказал я с чувством. — Большое спасибо.

— Не за что. Я причинил вам беспокойство...

— Ну что вы!

— ...И должен был как-то извиниться. Но пора прощаться... Навсегда. Жаль, было очень, очень интересно, я не жалею о своей оплошности.

— Я тем более! Постойте... Вы не боитесь, что я расскажу о вашем появлении здесь и тем как-то повлияю на историю?

Он с улыбкой покачал головой:

— Вам же никто не поверит.

— Верно. Но мысли, которые вы невольно заронили...

— К ним, как вы сами заметили, мог прийти любой думающий человек вашей эпохи. Это ничего, наоборот, думайте о нас почаще, это надо, ведь мы от вас куда больше зависим... Прощайте, всего вам доброго в прошлом!

С этими словами он исчез. Сразу, мгновенно. Я даже не успел заметить, нажал ли он какую-нибудь там свою кнопку. Просто был человек — и растаял. Как я ни был готов к этому, а все-таки вздрогнул.

— Всего вам доброго в будущем! — крикнул я уже в пустоту.

Услышал ли он меня сквозь века?

Не знаю. Я лег, тут же уснул, а наутро сгоряча попытался убедить Мартина, что никаких призраков в его доме не было, нет и не будет.

Увы, переубедить его мне так и не удалось. Попробуйте, может быть, вам повезет больше, адрес я дам...

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?

Вы берете вульгарную проволочку, вдвигаете ее в магнит и без тени волшебства получаете электричество. Собираете всякие там катушечки, сопротивленьца, транзисторы, и эта дребедень, откашлявшись, вдруг информирует вас о ходе посевной кампании или об осадках на ближайшие сутки. В полнолуние по соседству с масс-спектрометром включаете генератор высоких частот и...

Перед Саней, опрокидывая табурет, возник дьявол. Глаза дьявола пылали гневом, раздвоенный кончик хвоста издавал шипение, а левое копытце нервно било о кафельный пол.

— С-с-волочь! — телепатически произнес дьявол.

Саня слегка обомлел и для проверки своего умственного состояния попытался вспомнить преобразование Лоренца. Удалось, но дьявол не исчез.

— Ну? — в замешательстве спросил Саня.

— Сволочь, — менее уверенно повторил дьявол.

— Ругаться, положим, я и сам умею, — отступая за табурет, осторожно возразил Саня. — Зачем пожаловали?

— Душа...

— Ерунда, — быстро сказал Саня. — Никакой души нет.

— Что-о? — Дьявол икнул от возмущения. — Души... нет?

— Само собой.

— Какая наглость! Какое неслыханное лицемерие... Конечно, ее нет! Но другие хоть делали вид, что она есть!

— За средневековье не отвечаю.

Дьявол полиловел и раздулся, как мыльный пузырь.

Запахло чем-то потусторонним. Саня на всякий случай сгреб со стола увесистый том.

— Библия? — подозрительно спросил дьявол.

— «Введение в субквантовую механику». А что?

— И действует?

— Еще как! Не хуже кирпича.

— Воля ваша, но вы поплатитесь! Адские силы...

— Пожалуйста, без демагогии. Давайте лучше объяснимся. Что вам от меня надо?

— Мне?! Это вам надо!

— Разумеется, разумеется. Вы вломились сюда без спроса, сорвали мне опыт, бранитесь — мне все это, конечно, крайне необходимо.

— Но вы же меня похитили!

— Пардон, вы сами явились.

— Ах, вот как! Сам явился... Вам бы так явиться. Лицемеры проклятые... Я-то, дурак, не верил. — Он закрыл морду когтистой лапой и продолжал, раскачиваясь: — Я-то считал все это темным суеверием, которым пугают младенцев... Очутиться в лапах человека! Не сон, не бред, не вымысел, вот он, враг рода дьявольского...

На кафедру упала и затлела горячая слеза.

У Сани очки полезли на лоб.

— Так вы не пришелец с миссией контакта?! — брякнул он ни к селу ни к городу.

— Я — дьявол, — всхлипывая, ответил дьявол. — Ваш, будьте вы прокляты, пленник.

Саня дрожащей рукой потрогал свою голову. Голова оказалась на месте.

— Послушайте... э... мистер дьявол! Тут какое-то недоразумение... Это вы суеверие! Это вами пугали младенцев! Это вас считали врагом рода человеческого!

— Да, я ваш враг. — Дьявол внезапно выпрямился и метнул из глаз высоковольтный разряд. — Отныне и во веки веков.

— Фу, — сказал Саня. — Пожалуйста, не изобра-

жайте из себя лейденскую банку. Рассудим спокойно. Насколько я понял, вы, дьяволы, считаете, что мы, люди, похищаем вас... Откуда, простите?

— Из ада. С нашей милой, уютной планеты, которая...

— Прекрасно! Сам факт вашего появления здесь свидетельствует, что во всей этой чертовщине есть рациональное зерно. Скажите, а вы никогда не похищали людей?

— Никогда. Мы мирные...

— Ладно, ладно. Обрисовывается рабочая гипотеза. Вы, извините, кто по профессии?

— Бухгалтер.

— М-да, это может затруднить понимание... Все-таки попробуем. Гипотеза сводится к следующему. С вашей планеты на нашу возможен внепространственный переход, иначе говоря, трансгрессия. И на Земле в давние времена кое-кому случайно удавалась операция переноса дьяволов, которая в ваших глазах, понятно, выглядела как злоумышленный разбой. Люди же натурально принимали вас за нечистую силу и срочно начинали торговать свою душу за горшки с золотом, титулы и тому подобную чепуховину. Так было дело?

— Это ваша интерпретация, — настороженно ответил дьявол. — Насилие, рабство и обман в придачу — таковы люди.

— Но ведь какого-нибудь бессмертия вы дать, конечно, не могли...

— Разумеется, нет!

— И золота тоже.

— Отчего же? Наша слюна обладает каталитическим свойством...

— А-а! Это многое проясняет. Так как вам моя гипотеза?

— Жалкая попытка самооправдания, — буркнул дьявол. — Если только не очередная издевка.

— Послушайте, вы же интеллигентный дьявол! Не



нравится вам моя гипотеза, обоснуйте свою. Или вы предпочитаете скатиться в болото мистики?

— Я хочу вернуться домой.

— Да на здоровье! Пожалуйста! Хоть сию минуту!

— Как, вы от меня не потребуете ни кабального, кровью подписанного договора, ни золота, ни баронского титула...

— Еще чего! Жаль, не получилось у нас с вами разговора. Такая возможность пропадает! Ладно, наука обождет. Сейчас я вас катапультирую обратно.

— Без всяких условий?!

— Ну, если бы вы задержались на минуту, я был бы вам очень благодарен.

— А, все-таки услуга...

— Что вы! Просто я успел бы наладить кое-какую аппаратуру. Крайне любопытно замерить хотя бы параметры вашего перехода в ад. Ведь это, как хотите, нетривиально.

Хвост дьявола задумчиво сложился лентой Мебиуса.

— Вы, кажется, хотели знать, что я обо всем этом думаю, — сказал он, помедлив.

— Да, было бы любопытно сопоставить точки зрения. Ничего не понимаю, куда завалился тестер?

— Простите, кажется, я на него сел...

— Совершенно верно! Благодарю вас. Так что вы хотели сказать?

— Я не силен в физике, но с точки зрения морали...

— Да, да, я слушаю, — сказал Саня, с натугой вытягивая из-под стола портативный психотензомер.

— Нас, жертв, вы изобразили исчадьями. Этому есть только одно объяснение: вы перенесли на нас свои худшие качества, чтобы оправдаться в насилии и варварстве.

— По-моему, вы правы, — рассеянно сказал Саня, оглядываясь. — Магнитометр, теперь хорошо бы магнитометр...

— Так вы согласны с моей оценкой? Может, еще извинения принесете?

— Это само собой. Честное слово, я не хотел! Готов, чем могу, загладить.

— Вот как? А если я поймаю вас на слове и потребую согласия перенестись со мной в ад?

— С удовольствием, там, я вижу, живут вполне разумные дьяволы. Позвольте! Вы же, как будто, намекали, что дьяволы никогда...

— Допустим, мы научились. Допустим, стоит мне послать телепатеу, и вас тоже.. как это... трансгрессируют.

— Так это же замечательно! Я-то, признаюсь, — Саня доверительно понизил голос, — трансгрессировал вас случайно. Голая, стыдно сказать, эмпирика... Ну, ничего, — добавил он весело, — теперь сравним методики, сопоставим теории — и дело пойдет!

Дьявол ничего не ответил. Его глаза давно уже не пылали. Хвост мирно улегся на плечо, и один из раздвоенных кончиков задумчиво почесывал щеку.

— Как странно, — наконец проговорил он. — Такое впечатление, будто вы не человек, а мой старый знакомый, магистр оккультно-физических наук. Одна и та же манера... Нет, не могу поверить! Было столько преданий о людском коварстве...

— Ну, ну, не переносите на нас свои худшие качества. Легенд и у нас хватает, развеять предрассудки, знаете ли, благое дело. Так я готов! Правда, терминал слегка барахлит, но, думаю, сойдет.

Саня поправил очки, пригладил волосы. Дьявол почему-то отвел взгляд. В неловкой тишине из плохо повернутого крана в раковину грянула капля воды.

Досадливо покосившись, дьявол одним движением хвоста прикрутил кран.

— Должен перед вами извиниться, — сказал он отрывисто. — Не умеем мы переносить людей в ад, пока не научились.

Саня ахнул.

— Тогда зачем же...

— Эх, молодой человек, молодой человек... Душа, что там ее замещает, тоже требует пробы. Знали бы, какой опасности избежали, еще поблагодарили бы!

— Что?! Послушайте, неужели все эти рассказы об адских жаровнях...

— Сатана с вами! — кончики раздвоенного хвоста дружно всплеснули. — Сейчас, слава Вельзевулу, не темное средневековье, за кого вы нас принимаете? В наши дни, — дьявол понизил голос, — надо бояться научной предвзятости и поспешности. Ведь проблема трансгрессии, как мне объяснил мой друг физик, действительно близка к разрешению. Теперь представьте: дьяволы вдруг убеждаются в реальности мифов и... Кто поручится, что память о былом зле не повлечет за собой новое зло? Чувства, увы, так часто опережают разум!

— Верно, — грустно согласился Саня. — Но тогда... — взгляд его вспыхнул, — тогда, выходит, мы вовремя встретились!

— И я о том же! — Дьявол просиял. — Нет, нет, я ничего не хочу сказать плохого о нашей высокообразованной научной молодежи, но излишняя горячность, недостаток житейского опыта, некоторый, знаете ли, апломб... Есть ли у нас время для обстоятельной и уже, надеюсь, дружеской беседы?

Саня метнулся к окну, затем кинул взгляд на приборы.

— Так! Луна, значит, в надлежащей фазе, техника функционирует нормально, до петухов... Хотя при чем тут петухи?! Да их и нет в городе! Слушайте, у нас масса времени!

— Ах, как славно! — Дьявол потер лапы и уютно скрестил копытца. — Спокойный обмен информацией, приятельский, за полночь, разговор с интеллигентным человеком, наконец-то установившийся контакт братьев по разуму — что может быть лучше?!

— Вот именно! — с жаром подхватил Саня. — Мы, конечно, не ангелы...

— Кхр-р! — У дьявола болезненно передернулась шея.

— Что с вами?!

— Нет, нет, ничего... Мой друг, не поминайте ангелов всуе!

— Вот как... — прошептал Саня. — И ангелы, значит, тоже...

— Разумеется, — дьявол поежился. — Слушайте, у вас не найдется чего-нибудь... э... согревательного?

Его хвост сам собой изогнулся штопором.

— О чем речь! — Саня сорвался к полке. — Вам, очевидно, серной концентрированной?

— С вашего позволения, — дьявол хмыкнул, — немножечко устарело. Вот если бы плавиковой...

Плавиковая нашлась тотчас. Дьявол (Саня слегка содрогнулся) залпом осушил платиковый тигелек, и к нему вернулось равновесие духа.

— Извините, — сказал он смущенно. — Нервы, понимаете, но теперь все в порядке, и мы наконец можем приступить... Ай!

Стена вдруг выгнулась, лопнула, как мыльный пузырь, и меж собеседниками, сметая их вместе с табуретами, возникло крылато-белоснежное существо с таким взглядом, что от него задымился кафель.

— Хорош, — сказала существо. — Я-то уже все за гробья обзвонила, бесов на ноги подняла, а он тут прохлаждается!

— Но, мой ангел... — пролепетал дьявол. — Тут, понимаешь, такая история...

— И плавиковой от тебя пахнет! — Когтистый палец грозно припечатал дьявола к месту.

— Да оглянись же! — взвопил тот. — Перед тобой человек! На полу!

— А хоть на небесах. Я, милый, не ангелочек, чтобы в сказочки верить.

— Простите, — растерянно пробормотал Саня. — Но я, к вашему сведению, действительно... м-м... существую. Вот!

Он вскочил, отряхнулся и даже зачем-то щелкнул каблуками.

— Ну, теперь убедились? — торжествующе спросил дьявол.

— Вижу. Не слепая. Обычная голограмма, ничего особенного.

— К-как? — У дьявола копытца поехали врозь. а Саня где стоял, там и сел. — Опомнись! Он же реальный! Живой! Ты потрогай!

— Так, — крылья зловеще лязгнули. — Исчез, пил плавиковую, а теперь... Думаешь, раз я неученая, значит, во что угодно поверю? Ошибаешься, мой дорогой. Я все передачи «Невероятное — рядом» смотрю и уж как-нибудь знаю, что в природе реально, а чего в ней быть не может.

— Но это же Земля! Иная, пойми, цивилизация, другой ра...

— Неудачно выдумываешь, мой друг, отстал от науки. Доктор Мефистофель недавно математически доказал, что мы одиноки во Вселенной! А ты! Невежество до добра не доводит, вот так. Ну, сам сгинешь или помочь?

— Стойте! — закричал Саня.

Но было поздно. Крылья взмахнули, воздух взвихрился, приборы зашкалило, оба исчезли.

«Наука имеет много гитек... — отчего-то пронеслось в Саниной голове. — Наука имеет много гитек...»

ПРОБА ЛИЧНОСТИ

Внимание Пospelова привлекли голоса за дверью. Он приостановился. Вечера в интернате не отличались тишиной, дело было не в шуме, который доносился из кабинета истории, даже не в том, что ребята, похоже, занялись там чем-то скрытым от глаз учителя. На это они имели полное право. Кому, однако, мог принадлежать фальцетом срывающийся, явно старческий и, судя по интонациям, перепуганный голос?

— Помилосердствуйте... Все пакостные наветы недругов моих, клеветущая злоба завистников...

Что за странная лексика! Впрочем, это кабинет истории, там все может быть...

— Нет, Фаддей Венедиктович, — слышалось за дверью. — Вы, пожалуйста, ответьте на наш вопрос.

Фаддей Венедиктович? Пospelов сдвинул брови. Какое необычное имя! И почему-то знакомое. Фаддей... Венедиктович... «Так это же Булгарин! — ахнул Пospelов. — Деятнадцатый век, Пушкин, травля, доносы... Ничего не понимаю!»

Уже давно вид закрытых ребятами дверей не мог навести педагога на мысль о чем-то дурном, но так же точно в подобной ситуации и педагог не был для ребят нежеланным гостем. Без долгих размышлений Пospelов толкнул дверь и, войдя в помещение, тихонько притворил ее за собой.

Семеро мальчиков и девочек не заметили его бесшумного появления. Они были так увлечены своим занятием, что отвлечь их, чего доброго, не смогло бы и нашествие инопланетян. Слова вопроса, с которыми Пospelов хотел к ним обратиться, остались произнесенными. И немудрено! Там, где он очутился, был самый

обычный, погруженный в полумрак школьный кабинет, в котором сидели столь же несомненные, хорошо знакомые учителю подростки двадцать первого века, — голоногие, голорукие, весьма взволнованные и привычно сдержанные. Но такой же несомненной, такой же подлинной была смежная реальность — уставленная громоздкой мебелью, как бы продолжавшая аудиторию комната, изразцовое чело печи в простенке, конторка с впопыхах брошенным поверх рукописи гусиным пером, шкаф с темными корешками книг на полках, узкое и высокое окно, в которое падал хмурый свет дня, явно петербургского, потому что над крышами вдали восставал шпиль Петропавловки. И ничто материальное не отделяло эту комнату от действительности двадцать первого века: просто в двух шагах от ребят акмолитовое покрытие пола кончалось, как обрезанное ножом, и сразу начинался навощенный паркет. Вот только свет из окна, озарявший фигуру у конторки, не проникал за черту, хотя в воздухе ему не было никакой видимой преграды.

Но не эта реальность состыковки двух эпох поразила учителя. Будучи физиком, он прекрасно понимал, что все находящееся там, за чертой, столь зримое и очевидное, на деле было произведением фантоматики, неотличимой от настоящего моделью прошлого, сотканной компьютером голограммой. Парадокс, обратный тому, который возникает при быстром мелькании спиц в колесе: там грубая сталь, оставаясь веществом, расплывается в призрак; здесь призрачное ничто превращалось для взгляда в самую что ни на есть подлинную и телесную материю. Туда, в девятнадцатый век, можно было даже шагнуть, потрогать предметы, но лишь затем, чтобы убедиться в мнимости и этой конторки, и этого массивного, с завитушками шкафа, и этих резных кресел, столь же проницаемых для взмаха руки, как самая обычная тень. И в том, что среди всей этой иллюзорной обстановки находился прилизанный, с лоснящимся от по-

та лицом Фаддей Венедиктович Булгарин (Видок Фиглярин, по нелестной аттестации современников), тоже не было ничего исключительного. Как все остальное, компьютер и его моделировал по рисункам, запискам, воспоминаниям той эпохи, воссоздал облик, душевный склад, характер мыслей, наделил фантом самостоятельной, насколько это вообще возможно, жизнью доподлинного Фаддея Венедиктовича, так что фигура у конторки могла слушать, думать, говорить и чувствовать, как сам Булгарин. Нового для Пospelова тут ничего не было. Всего несколько лет назад шальная жажда справедливости толкнула его, тогда еще студента, подобным образом воссоздать Лобачевского, чтобы хоть тень великого человека услышала благодарность потомков, ведь Лобачевский при жизни не дождался ни единого слова признания, даже простого понимания своего труда. Однако уже ослепший старик сразу перебил его излияния: «Благодарю вас, сударь, но я и так знал, что моя воображаемая геометрия будет нужна».

Однако сейчас от Пospelова ускользал самый смысл затеи, и он не мог понять того странного разговора, который завладел его вниманием.

— Повторяю вопрос, Фаддей Венедиктович. Вы понимали значение Пушкина в литературе?

Пospelов сразу узнал говорящего: Игорь, конечно, и тут был главным!

— Понимал-с, прекрасно понимал, ваше...

— Напоминаю: без титулов, пожалуйста!

— Хорошо-с. — Казалось, что Булгарин при каждом слове мелко раскланивается, но это впечатление создавал его ныряющий, с придыханием голос, потому что телесно он держался со смиренным достоинством.

— Если вы понимали, кто такой Пушкин, то почему вы его травили?

— Ложь сплетников и низких клеветников! Я, я — травил?! Господи, пред тобой стою, всегда желал Александру Сергеевичу добра, стихи его с восторгом печатал,

мне он писал письмелски, сохранил, как святынню... могу показатъ...

Рука Булгарина дернулася к конторке.

— Не надо, — в голосе Игоря прорвалася брезгливость. — Эти письма двадцатых годов нам хорошо известны. Скажите лучше, что вы писали о Пушкине, например, в марте и августе 1830 года.

— Не отрицаю! — поспешно и даже как-то обрадованно воскликнул Булгарин. — Случалось, пенял ·до­стопочтенному Александру Сергеевичу, звал, некоторым образом, к достойному служению царю и отечеству. Не понят был, оскорблен эпиграммами, поношением литературных трудов моих, недостойным намеком на прошлое супруги, но зла — упаси боже! — не сохранил, ту эпиграмму сам напечатал, рыдал при безвременной кончине Александра Сергеевича... Заносчив был покойный, добрых советов не слушал, ронял свое величие поэта, так все мы, грешные, ошибаемся! Господи, отпусти ему прегрешения, как я их ему отпустил...

От обилия чувств лицо Булгарина покривилось; он сконфуженно утер слезу.

Шелест возмущения прошел по залу. Одна из девочек даже вскочила, готовая броситься, выкрикнуть потрясшее ее негодованием. Остальным удалось сохранить спокойствие, только взгляды всех сразу устремились на Игоря. Девочка, помедлив, села. Губы Игоря сурово сжались. «Да, — сочувственно подумал Пospelов. — Вот это и есть демагогия, с которой вы, ребятишечки, никогда не сталкивались. Такого ее мастера, как Фаддей, голыми руками взять и надеяться нечего... И чего, интересно, вы хотите добиться, милые вы мои?»

— Значит, добра желали, — слова Игоря тяжело упали в зал. — Тогда поясните, как это ваше утверждение согласуется с тем, что вы секретно писали и говорили о Пушкине Бенкендорфу?

Сжав пальцами край конторки, Булгарин подался вперед, будто желая лучше расслышать. Его глаза, в ко-

торых еще стояли слезы, моргнули, совсем как у старого, привычного к побоям пса. Никакого звука он, впрочем, не издал.

— Забыли? Может быть, напомнить вам некоторые ваши доносы? Этот, например: «К сему прилагаю все тайно ходящие в списках стихи г. Пушкина, содержание которых несомненно изобличает вредный уклон его мыслей...»

«Ого! — изумился Пospelов. — Где они нашли такой документ? Впрочем, что я... Это же артефакт, иначе в учебниках было бы. Конечно! Такого доноса Булгарина не сохранилось, но как палеонтолог по одной кости способен реконструировать скелет, так и центральный компьютер, к которому ребята, несомненно, подключились, может по известным фактам и записям воссоздать утраченный текст. Не дословно, но вряд ли и сам Булгарин хорошо помнит написанное им когда-то... Рискованно, но, кажется, ребята попали в самую точку».

— ...Назвать день, когда вы это написали?

Ответа не последовало. Что-то шепчущие губы Булгарина побелели, он пошатнулся, криво оседая в ближнее кресло.

— Страхочный импульс!!! — бешено крикнул Игорь. — Упредить не могли?!

— Спокойно, спокойно, — ломким басом отозвался второй с края подросток. Его короткие пальцы проворно коснулись чего-то на пульте дистанционного управления, который он держал на коленях. Склоненное лицо подсветили беглые огоньки индикатора. — Это не сердечный приступ (Пospelов невольно вздрогнул), даже не обморок. Просто испуг и ма-аленькая игра в жука-притворяшку.

— Но ты хоть сбалансировал тонус?

— Еще бы! Пусть посидит, отдохнет, поразмыслит...

— А обратная связь?

— Отключена. Не видит он теперь нас и не слышит — эмоционирует как хочешь!

Поспелов вжался в тень, ибо ребята тут же повскакали с мест. Всех прорвало. Всем не терпелось высказаться, все спешили высказаться и кричали наперебой, как только возможно в их возрасте.

— Вот тип!!! С таким слизняком возиться — потом год тошнить будет...

— Игорь, чего ты: «Пушкин да Пушкин!» Надо по всему спектру, исподволь, а ты — бац!.. Я тебе медитировал, медитировал...

— Нет, ты представь, каково было Пушкину! Вот только он написал «Пророка», в уме еще не остыли строчки «И внял я неба содроганье...», а в редакции к нему с улыбочкой Булгарин, и надо раскланиваться с этим доносчиком, руку жать...

— Раскланивался он с ним, как же! Он в письмах его «сволочью нашей литературы» называл...

— То в письмах! А в жизни от него куда денешься...

— ...Ленка, ты заметила, какие у Булгарина стали глаза? Печальные-печальные...

— А я что говорила! Жизнь у него была собачья, может, не так он и виноват...

— Кто не виноват?! Булгарин?!

— Ну о чем вы... Надо разобраться, выяснить...

— Нет, вы слышали?! Она ему сочувствует!!!

— Почему бы и нет? Надо по справедливости.

— А он к кому-нибудь был справедлив?

— Так это же он! Уподобиться хочешь?

— Что, что ты сказала? Повтори!

— Ничего я не сказала, только булгарины и позже были. Гораздо позже, а раз так...

— Увидите, каяться он сейчас будет. Возразить-то нечего. Даже скуч...

— Тихо! — Игорь предостерегающе вскинул руку. — Приходит в себя. По местам, живо! Петя, готовь связь, а вы думайте, прежде чем советовать...

Все тотчас смолкло. Будто и не было суматохи, крика, задиристой перепалки, привычка к самодисциплине

мигом взяла свое. Свободно и непринужденно, в то же время подтянуто и достойно в зале сидели... Судьи? Нет. Но и не зрители. И уж, пожалуй, не дети. Исследователи. У всех в ушах снова очутились медитационные фоноклипы, которые позволяли Игорю улавливать мысленные советы, отбирать лучшие, так что мышление становилось коллективным, хотя разговор вел только один. Пospelов невольно залюбовался знакомыми лицами, на которых сейчас так ясно отражалась сосредоточенная работа ума и чувств. Вмешиваться не имело смысла. Какой бы ни была поставленная цель, ребята подготовились серьезно, с той ответственностью и внутренней свободой, без которой не может быть гражданина.

Веки Булгарина меж тем затрепетали. Он исподтишка кинул быстрый, опасливый взгляд. Помертвел на мгновение. Вялая рука сотворила крестное знамение. Лицо его как-то внезапно успокоилось, он тяжело поднялся, старчески прошаркал вперед и выпрямился с кротким достоинством.

— Сидите, если вам трудно, — поспешно сказал Игорь.

— Не слабостью угнетен, — тихо прошелестело над залом. Губы Булгарина горестно дрогнули. — Тем сражен и повержен, что и тут настигла меня клевета...

— Вы хотите сказать, что никогда не писали доносов на Пушкина?

— То не доносы... То крик совести, то служба подданного, ради которой страдал и страдаю. Никем, никем не понят! — Голос Булгарина надрывно возвысился, руки широко и моляще простерлись к залу. — Тебе, всеблагий, открыты истинные порывы моей души, суди справедливо!

Голос упал и сник. Пospelова точно обдало холодом, ибо теперь, после этих слов, ему с пугающей ясностью открылось то, о чем он уже смутно догадывался, но от чего, протестуя, убегал его смятенный ум. Ведь это же... Чем или кем должны были представиться Бул-

гарину вот эти самые подростки?! Адским наваждением? Галлюцинацией? Самим судом божьим?!

В любое из этих допущений Булгарину, конечно, было поверить легче, чем в истину. Неважно, что никакого подлинного Булгарина здесь не было. Этот воссозданный голографией и компьютерной техникой призрак вел и чувствовал себя так, как в этих обстоятельствах мог себя вести и чувствовать живой Фаддей Венедиктович. Несомненно, ребята успели ему внушить (или даже заранее вложили в него это знание), что с ним говорят потомки. Но психика, пусть всего лишь психика модели, руководствуется представлениями своей эпохи. Значит, фантом мог думать...

Поспелов растерянно взглянул на ребят. Ощущают ли они хоть каплю той жути, которая овладела им?

Не похоже. В жизнь Поспелова фантоматика вошла как новинка, а вот для них она была привычной данностью. Зато все ирреальное, потустороннее, что когда-то страшило ум, было для них фразой в учебнике, безликим фактом далекого прошлого, который надо было рационально учесть, когда имеешь дело с этим прошлым, только и всего. Просто Игорь нагнул к Пете и осведомился шепотом: «Насчет бога, это он как, искренне?» Тот пожал плечами. «Судя по эмоционализатору — чистой воды прагматизм». — «Ага, спасибо...»

— Стало быть, Фаддей Венедиктович, — продолжал Игорь спокойно, — мотивом ваших поступков была общественная польза?

— Так, истинно так! Верю, вы убедитесь...

— Уже убедились. Все же поясните, пожалуйста, как именно ваши доносы в Третье отделение способствовали процветанию отечественной литературы.

— Каждодневно служили, каждодневно, и хотя не всегда ценились, как должно, благотворное влияние свое оказали. Что случилось бы с Пушкиным да и с другими литераторами, кабы неведение помешало властям тотчас подметить дурное на ниве словесности и мягко, отече-

ской рукой упредить последствия? Страшно подумать, каких лекарств потребовала бы запущенная болезнь! В том мой долг и состоял, чтобы, пока не поздно, внимание обращать и тревогу бить. Старался по мере слабых сил и преуспел, надеюсь.

— Настолько преуспели, Фаддей Венедиктович, что эти ваши старания по заслугам оценены потомством.

— Ах! — Пухлые щечки Булгарина тронул светлый румянец, глаза растроганно заблестели; всем своим обликом он выразил живейшую готовность заключить собеседника в объятия. — Писал, писал я как-то его высокопревосходительству Дубельту Леонтию Васильевичу: «Есть бог и потомство; быть может, они вознаградят меня за мои страдания». Счастлив, что оправдалось!

Булгарин многозначительно устремил указательный палец к небу.

— Да-а, Фаддей Венедиктович, — протянул Игорь. — Мы вас вполне понимаем. Служили верно, искренне, рьяно, а вознаграждаемы были не по заслугам. Хуже того, обиды имели.

— Страдал, еще как страдал, — с готовностью подхватил тот. — Даже под арест был посажен безвинно за неугодное государю мнение о романе господина Заго-скина!

— Не только под арест... Случалось, жандармские генералы и за ушко вас брали, и в угол, как мальчишку, на колени ставили. Вас, литератора с всероссийским именем! Было?

«Неужели было?» — недоверчиво удивился незнако-мый с документами той эпохи Пospelов, но вмиг осевшее лицо Булгарина развеяло его сомнения.

— Имел разные поношения... — голос Булгарина сразу осип. — Оттого и возлагал на потомков надежды, что даже со стороны их высокопревосходительств терпел мучения!

— Сочувствуем, Фаддей Венедиктович. Это не жизнь, когда не то что за мнение, за самые восторженные по-

хвалы властям предержавшим вы получали нагоняй. Ведь и так бывало?

— Святая истина! Побранил однажды в газете петербургский климат, так мне претензия: «Как смеешь ругать климат царской столицы!» Стоило отдать должное мерам правительства, так и тут не угодил! Сказали мне: «Не нуждаемся мы в твоих похвалах...»

— И все-таки вы продолжали служить этой унижавшей вас власти. О личном достоинстве не говорю, но отчего же вы так восхваляли строй, при котором вас за провинность в угол на колени ставили?

— Не ради почестей старался! Поносителей своих презирал...

— И Дубельта?

— Его особо!

— Чего же вы тогда к нему в письмах обращались: «отец и командир»?

— Это же так принято по-русски, по-семейному...

— Барин холопа наградит, он же его накажет, а холоп еще и ручку облобызает, так?

— Снова я не понял! — с горечью воскликнул Булгарин. — Не дурным слугам — идее я был предан, за то и терпел...

— Ясно! В своих «Воспоминаниях» вы писали: «Лучше спустить с цепи голодного тигра или гиену, чем снять с народа узду повиновения властям и закону... Все усилия образованного сословия должны клониться к просвещению народа насчет его обязанностей к богу, к законным властям и законам... Кто действует иначе, тот преступает перед законами человеческими...» Вот это и есть та идея, ради которой вы, терпя унижения, трудились так ревностно?

— Да-с! За приверженность богу, царю и властям законным мятежники мне голову отрубить грозились!

— Положим, с декабристами вы сначала завязали крепкую дружбу, хотя для вас не было тайной, что они

как раз хотят «преступить перед законами человеческими».

— Виноват, оступился по молодости, тут же раскался и делом доказал свою преданность!

— Совершенно верно! Сразу после декабрьского восстания вы представили проект усовершенствования цензуры и стали сотрудником Третьего отделения. Оставим это. Не будет ли ошибкой сказать, что Николай I и его правительство следовали той же, что и вы, идее?

— Несомненно! Иначе как бы я мог...

— Хорошая, неуклонно проводимая в жизнь идея должна принести народу благо. Согласны?

— Так...

— Тогда объясните, пожалуйста, слова из вашей собственной докладной записки о положении дел в России: «От системы укрывательства всякого зла и от страха ответственности одному за всех выродилась в России страшная система министерского деспотизма и сатрапства генерал-губернаторов...»

— То о дурных слугах царя писано, о недостатках, кои надлежит исправить!

— Дурные слуги, так у вас получается, — это министры, генерал-губернаторы, сам шеф Третьего отделения, а недостатки — всеобщая система произвола и лжи. Вот что, по вашим собственным словам, расцвело под солнцем вашей идеи! Так чему вы служили в действительности? Может быть, не идее вовсе, не царю, не государству, а самому себе?

— Неправда! Все ложно истолковано!

— Ну зачем так, Фаддей Венедиктович! Есть факты и есть логика. Вы, полагаю, убедились, что нам известно о вас все самое тайное. Не лучше ли самому сказать правду?

На Булгарина было жалко смотреть, точно его, было согретого пониманием, внезапно окатили ледяной водой. Он съежился, поблек и онемел, казалось. Но в его затравленном взгляде мелькали колкие, злые искры, что

никак не вязалось с жалобным и растерянным выражением его лица.

— Скажу-с, — выдавил он глухо. — Всю правду-с... Веру в добро и истину сквозь беды пронес, но затравлен был обстоятельствами, опутан ими, как пленник сетями, н... и...

— И?

— И оступался... Слаб человек, никому зла не хотел, по сволочью был окружен, завистниками; вынужден был бороться, святые не без греха...

— Кто же заставил вас сближаться со сволочью? В начале двадцатых годов к вам хорошо относились лучшие люди России.

— Они сущность мою видели! Останься жив Грибоедов, который, в Персию уезжая, мне, как лучшему другу, рукопись своей комедии доверил...

— Которую вы затем продали за несколько тысяч рублей. Вы и прежних друзей — декабристов предали. Только не говорите, что из идейных побуждений! Вы и своего могущественного благодетеля Шишкова тоже предали.

— Ради бога, поймите же меня наконец! Издатель и литератор в России — агнец среди волков...

— Позвольте! Никто из писателей, чьи книги стоят у нас на полках, не служил в Третьем отделении, не доносил на своих собратьев, хотя находился в тех же условиях.

— В других, совершенно других! Я не стыжусь своего прошлого, но в глазах властей...

— Вы не стыдитесь своего прошлого?

— Я храбро сражался против Бонапарта под Фридландом, ранен был во славу русского оружия...

— А потом во славу французского оружия сражались против крестьян Испании, позднее, в Отечественной войне 12-го года, бились против русских солдат...

— Даже пристрастная комиссия оправдала меня!

— От которой вы кое-что скрыли, да и Бенкендорф



замолвил словечко. Хозяева вами брезговали, но в вас нуждались, тут все понятно. И то, что вас в свое время заставило уйти к Наполеону, — тоже.

— Несправедливость полкового командира, отставка, злая нищета...

— Да, да, знаем, как вы в Ревеле стояли с протянутой рукой и хорошим литературным штилем, иногда даже стихами просили милостыню...

Округлая фигура Булгарина дернулась, как лягушка под ударом тока.

— Не было этого!!!

Все вздрогнули, ибо так мог бы возопить раненый.

— Было, — побледнев, но непреклонно повторил Игорь. В его словах Поспелову даже почудился лязг скальпеля. — Было, Фаддей Венедиктович. Таких ли мелочей вам стыдиться? И горькую вы тогда пили, и офицерскую шинель крали, все было.

Булгарин отшатнулся, ловя воздух широко раскрытым ртом, и боль, которую он сейчас испытывал, передавалась всем, вызвала желание отпрянуть, защититься от горького, непрошеного, тягостного к нему сочувствия. И еще больше от острого, гипнотического, недостойного любопытства к невольно открывшимся уголкам этой выжженной цинизмом души. Даже оператор растерянно забыл о своих переключателях, хотя казалось, что Булгарина сейчас хватит непритворный обморок. Все словно коснулись клемм какого-то высокого и опасного психического напряжения, и уже готов был раздаться крик: «Выключить, выключить!»

Но Булгарин не грохнулся в обморок. Наоборот, его голос внезапно обрел твердость.

— Все правда. — Он быстро облизал высохшие губы. — Падал я на самое дно бездны, молил о помощи, но оставили меня как бог, так и люди. Сколько я пертерпел от них! Так я понял, в каком мире живу... Хотел потом забыть и очиститься, оттого и потянулся к лучшим людям России. Но знали, знали жандармы, какие на

мне пятнышки! Что для них человек? Пылинка в делах государственных, звук пустой... Хорошо чистеньким! А мне под нажимом куда деваться? Снова в нищету, на дно, стреляться с похмеля? Уж нет-с! Во мне талант был сокрыт, его сам бог велел всем беречь. Стал я себя укреплять, ненавистников нажил, зато «Иваном Выжигиным» и многими другими своими сочинениями русскую словесность прославил!

От столь внезапного поворота, от дышащих искренностью слов Булгарина растерялся даже, казалось бы, готовый ко всему Игорь. «Вывернулся!» — с отчаянием и безотчетным восхищением подумал Поспелов, и от этого мелькнувшего в душе восхищения ему стало гадко, совестно и противно.

— Вы считаете свои книги вкладом в литературу? — успел оправиться от замешательства Игорь.

— Нескромно было бы мне отвечать словами Александра Сергеевича: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Однако же редкая книга видывала такой успех, как мой «Выжигин». Даже мой поноситель Белинский признавал это.

— Верно, успех был. Только, несмотря на шумную рекламу, официальную поддержку и вами же организованное славословие, читатель очень скоро и прочно охладел как к «Выжигину», так и к другим вашим сочинениям. Вы не задумывались почему?

— Небо содрогнулось бы, начни я перечислять все интриги смутьянов, которые, вознося новомодные сочинения, портили вкус публики и отвращали ее от истинно патриотических образцов литературы! Но все вернется на свои места, все!

— С вашим «патриотизмом», Фаддей Венедиктович, мы, положим, разобрались. Поговорим лучше об обстоятельствах, которые вас заставили клеветать и доносить. Эх, Фаддей Венедиктович, и вранью есть мера! Обстоятельства... Вы очень скоро стали богатым. Могли бы спокойно отойти от дел и писать романы в своем имени.

Только не говорите нам, что вас не отпускало со службы Третье отделение! Но вы упорно продолжали свою деятельность. Обогащались, не брезгуя ничем. Кажется, не было такого талантливого писателя, художника, актера, на которого вы хоть раз не напечатали бы хулу. Даже геометрию Лобачевского ваша газета охаяла... без права ответа, конечно. Десятилетиями вы точно, прицельно били по всему честному, талантливому, передовому, что возникало в России. Сказать почему?

Булгарин молчал, до ниточки сжав побелевшие губы.

— Во-первых, вы в глубине души прекрасно понимали, что без поддержки властей, без сотрудничества с Третьим отделением вы и ваши сочинения — ноль. Только так, выслуживаясь, подличая, угождая, вы могли утвердить свое имя и обогатиться.

— Господи, дождусь ли я справедливости?! Имел я доходы — так разве это грех? Не затем я домогался влияния, а чтобы, заимев полное доверие властей, осторожно склонять их к улучшению дел и облегчению тягот! Мои записки правительству, кои вы уже трогали, и мои прожекты доказывают...

— Что даже вам было тяжело в обстановке всеобщего бесправия! Верим. Но вы же его и умножали. Не вы ли предлагали проект устройства новой сыскной полиции, во главе которой рекомендовали поставить самого что ни на есть зверя? Нет, Фаддей Венедиктович, не сидит на вас маска потайного либерализма. Все, увы, куда проще. Вот логика ваших поступков. Пушкина вы до поры до времени не трогали, даже печатали с расшаркиванием. Потом вдруг стали строчить на него доносы, печатно намекнули, что он плагиатор, чем даже вызвали царское неудовольствие. Откуда такая внезапная перемена, что произошло? Только одно: Пушкин с друзьями затеял газету, которая могла составить опасную конкуренцию вашей «Пчеле»...

— Поклеп, нет тому подтверждающих документов, а сказать можно все!

— Есть логика фактов. Ваша «Северная пчела», скверная, по единодушному мнению, газета, имела все же немало подписчиков. Она была единственной ежедневной газетой России, и у подписчиков просто не оставалось выбора. А где подписчики, там и доходы. Терять монополию вам никак не хотелось! Прошел слух — только слух! — что Вяземский хочет издавать газету. От вас тут же спешит донос с обвинением Вяземского в аморальном поведении. Привести еще факты того же рода или хватит? Хватит... И талантливых писателей вы стремились опорочить прежде всего потому, что их произведения составляли конкуренцию вашим, могли их зачеркнуть, что, разумеется, и случилось. Вот исток вашей ненависти ко всему талантливому! Вы еще потому хотели всех унижить, что чужая порядочность мешала вам жить. Если бы все кругом лизали сапог, гребли под себя, наусничали, то вам было бы куда уютней. А так даже царь, даже жандармы брезговали вами... Да, жизнь у вас была — не позавидуешь!

Булгарин дышал учащенно, с присвистом. До сих пор даже в испуге, в самом униженном подобострастии его лицо сохраняло цепкую, ко всему готовую энергию сопротивления. Теперь — никто не уловил мгновения, когда это произошло, — его лицо погасло. В нем не осталось ничего, совсем ничего, кроме внешних примет старости: рыхло обвисших щек, багрово-синеватых склеротических жилок под дряблой кожей, безвольно полуоткрытых губ с капелькой набежавшей слюны. Вид этой жалкой, дрянной капельки внезапно обдал Пospelова такой пронзительной жутью, что он едва не заорал на весь зал: «Да что же вы делаете, наконец?! Булгарин давно мертв, его это не может коснуться, здесь призрак, фантом — кого же вы тогда мучаете? Зачем?!»

Ничего этого он не выкрикнул, не метнулся, чтобы остановить кошунственный разворот событий, — не успел. Булгарин, то, что представляло собой Булгарина, вдруг словно обрел второе дыхание. Исчезла дряхлость,

напор энергии стер опустошенность, глаза ненавидяще блеснули, зло и четко грянули совсем неожиданные слова.

— Ваш приговор хуже, чем нелеп. Факты? И убийство награждается, когда оно совершено на войне. Законы определяют, кто есть виновный! Установленные людьми, они соблюдаются земными властителями; мои же поступки были поощряемы самим государем. А ежели я виноват перед законом всевышнего, то каким? Тайному следовать невозможно, потому как он нам неведом, за соблюдением же открытых надзирает святая церковь, коя также не находила во мне больших прегрешений. Чист я перед государственными и божьими установлениями! Каким же тогда законам следуете вы? Никаким или бесовским! Но я-то им неподсуден, и за меня бог, раз я не нарушал его законов!

Он замер с торжеством. Сама оскорбленная святость глядела теперь свысока и упивалась явным замешательством судей. Какая разница, кто перед ним был, — потмки, жандармы, дьяволы или ангелы, если можно было отвести неведомую, но, с его точки зрения, реальную кару! Все годилось в той ужасной, ни в каких книгах не описанной ситуации, в которой он очутился, — что ж, вся его жизнь были искусной борьбой, он умел приспособливаться и побеждать в любых обстоятельствах.

Поспелов вздрогнул от унижения и гнева. Подлость не могла, не смела торжествовать над его ребятами, а она вопреки всему нагло торжествовала. Он не имел больше права молчать, он лихорадочно искал и в отчаянии не находил слов, которые могли бы выручить, спасти растерявшихся подростков от разгрома и стыда поражения. Доводов не было. А он-то еще воображал, что ребята затеяли недостойную игру в кошки-мышки! Неужели и он, пусть не историк, не психолог, но все-таки взрослый человек двадцать первого века, педагог, бессилен опровергнуть чудовищную софистику лжи?! На

что, на какие ненужные сейчас науки он тратил свое время, вместо того, чтобы...

Губы Булгарина уже кривила довольная усмешка; многоопытным чутьем он правильно оценил значение столь долгого и тягостного молчания. Но внезапно — Поспелов не сразу понял причину — веки прожженного демагога опасливо дрогнули. Он заметил — все заметили! — слабую, чуть грустную и, пожалуй, снисходительную улыбку Игоря. Поспелов в нетерпении подался вперед. Булгарин и его далекий потомок, в упор глядели друг на друга. И Булгарин не выдержал — отвел взгляд.

— Почему вы не хотите смотреть мне в глаза? — стирая улыбку, тихо спросил Игорь.

Булгарин надменно вскинул голову, всем своим видом показывая, что его полная воля поступать так, как он хочет.

— Чего же вы боитесь, Фаддей Венедиктович, если за вами правда, закон и бог? Кстати, вам не кажется странным, что и в ваше время хороший поступок не нуждался ни в оправдании, ни в самооправдании, тогда как дурной требовал и того и другого? Вы приняли наш суд уже тем, что оправдывались.

— Софистика! — Булгарин презрительно пожал плечами. — Истину я хотел утвердить — и только. А что вините меня в оправданиях, то должно вам знать, что чаще злодей в чужих глазах предстает невинным, чем наоборот. Или вам сие неизвестно? Неизвестно, как вижу.

— Тогда просветите, Фаддей Венедиктович. Верно ли мы вас поняли, что в глазах людей и перед законом невинный может оказаться злодеем, а злодей — невинным?

— Так, тысячу раз так!

— Но в таком случае благоволение к вам законов, на которое вы так упирали, ни о чем не говорит.

Булгарин смешался, но только на миг.

— Но не доказывает и обратного! — воскликнул он с жаром. — Толковать можно так, можно этак, одна философия, разве я что-нибудь утверждал? Одну истину, только истину!

— Какую из трех, Фаддей Венедиктович? Сначала вы представили себя борцом за идею, но это не оказалось истиной. Затем вы обвинили во всем, что заставляло вас поступать так, а не иначе, неумолимое давление обстоятельств. Но и в этом, как выяснилось, мало истины. Наконец, третья и, надеюсь, последняя ваша истина: поступал с благословения всех законов, значит, моя жизнь — пример гражданской добродетели.

— И даже ваш всезнающий, но предвзятый якобы потомков суд того не опроверг! Потому что истина...

«Считалось: не пойман — не вор, — устало подумал Пospelов. — А тут и пойман, и уличен, а не вор... Одна, кажется, только одна осталась возможность, я ее теперь вижу, но видят ли ее ребята?» Ему хотелось уткнуть голову во что-нибудь мягкое и прохладное — таким вымотанным он себя чувствовал. А Булгарин — тот ничего, был свеж... «Только не сорвись, Игоречек, только не сорвись!» — молил в душе Пospelов.

— Коли ваши поступки, Фаддей Венедиктович, вполне соответствовали человеческим законам и нормам, поощрялись ими, то вам нечего было скрывать. Почему же тогда вы таили от всех свою службу в Третьем отделении?

Как и следовало ожидать, ответом была снисходительная усмешка.

— Высшие государственные интересы, да будет вам известно, требуют от такого рода службы немалой секретности.

— Эту вашу работу общество считало нравственной или только мирилось с нею как с неизбежным злом?

— Противу такой службы мог говорить лишь смутьян!

— Следовательно, ваш донос, к примеру, на Тургене-

ва, из-за которого тот угодил в тюрьму, был морален. Тургенев же, написав неугодную статью, поступил аморально.

— Как закон судит, так оно и есть.

— А если закон в одних случаях карает, а в других поощряет преступника, то какова цена такому закону?

— Сие уже казуистика, в которой, благодарение богу, я не силен.

— Будто? Как часто вы брали взятки?

— Я?! Взятки?!

— Вы. Взятки.

— Поклеп, ложные слу...

— Полно, Фаддей Венедиктович! До сих пор не хотите верить, что нам о вас все известно?

— То одна видимость взяток! Благодарственные подношения, дружеские подарки.

— Врете. Показать, где, когда, с кого вы брали взятки за те или иные публикации в своей газете? Назвать имена этих фабрикантов, книготорговцев, актеров? Тому же Третьему отделению все это, кстати, было хорошо известно.

— Господи, да кто же у нас не берет взяток?! Обычай, можно сказать, такой. Все берут, и с меня брали, тут вывода никакого делать нельзя. Тут взвесить надо проступок, соотнести с заслугами...

— Иначе говоря, дело не в поступке, а в его оценке. Тургенев разгневал власть — и он преступник. Вы же, доносчик и взяточник, — примерный патриот. Нет, оказывается, закона, есть благорасположенность свыше.

— Как во все времена, как во все времена!

— Судите о прошлых временах, но не трогайте будущее, вы о них ничего не знаете.

— Истинно говорите! Как зимой невозможно без шубы, так в мое время нельзя без нравственных отступлений.

— Таков был закон жизни?

— Таков, таков! Я, что ли, его установил? Жил согласно, как все. Таких людей, хотите, мог бы уличить, так высоко стоящих...

— Все одинаково черненькие, так?

— Кто к власти прикоснулся, те, почитай, все.

— И раз все виновны, значит, никто не виновен. Кажется, это уже четвертая ваша истина? Только и здесь неувязка, Фаддей Венедиктович. Большинство ваших современников доносы ненавидели, взятки не брали, лжи и угодничества не терпели. Не оттого ли общественное мнение и презирало вас, что вы воплощали в себе и то, и другое, и третье?

— Боже мой, я-то при чем?! Как свыше предписано было, так я и жил. Если пастух не туда ведет стадо, то разве ягненок в ответе?

— Но вы-то были сторожевым псом. В уме вам не откажешь, многое хорошо понимали, только превыше всего была для вас выгода.

— Что ж с того? Лишь праведников не интересуется выгода, однако бог создал людей такими, что праведников среди нас немного. Велика ли тут моя вина? Соблазнов не избежал, грешен. Сам царь лгал о событиях декабрьского возмущения, я не святей царя. Доносы были поощряемы — не я, так другой... Что допускалось, то делал, а чего не допускалось, того не совершал. Кругом взятки брали, и я брал. Пусть многогрешен! Зато не жил в праздности, как многие, мысли имел, труд уважал, написал девять томов сочинений. Неужели эта чаша весов не перевесит? Святой Петр трижды предавал Христа, покаялся и был возведен в апостолы. Мое же раскаяние не слабей.

— Не видно его что-то, Фаддей Венедиктович. Ваше раскаяние больше на оправдание и торговлю похоже.

— Клянусь, в мыслях того не было! — Что-то лихорадочно прорвалось в слова Булгарина. Он взвинченно озирался. — Чем, чем могу доказать свою искренность?!

— В Третьем отделении вы, однако, не утруждали

себя поисками, — едко усмехнулся Игорь. — Напомнить?

— Сего мало! — вливаясь взглядом в эту усмешку, вскричал Булгарин. — Должен со всей душой, по-нашему, по-христиански...

Внезапно он сложился втрое и, прежде чем кто-нибудь осознал смысл его движения, уже был на коленях.

— Как оплошавшее дите стою перед вами многогрешен!

Все так и застыли, лишь кто-то, подавленно вскрикнув, закрыл лицо руками. Постыдней и хуже вида упавшего на колени старика, его с дрожью простертых рук была та поспешная готовность, с которой он это проделал. Никто не допускал возможности такой развязки от одной лишь видимости намека на ее желанность. Но намек-то вышел не кажущийся... И во всем этом была своя страшная логика, ибо за ней стояла многоспытность холопа, который чутко улавливает окрик и точно знает, когда можно пререкаться, а когда следует униженно себя растоптать.

Смотреть на это было так омерзительно, думать о своей тут вине так нестерпимо, что Игорь с белым от ужаса лицом первым метнулся к пульту, вырвал его из сомлевших рук товарища. Все погасло с коротким, прозвучавшим, как пистолетный выстрел, щелчком. Исчезла обстановка девятнадцатого века, исчез и Булгарин. Но и оставшись наедине со своим временем, все молчали, не смея поднять глаз, как будто рядом еще находился жуткий призрак.

ЗАГАДКА ВЕКА

Милостивый государь
Иннокентий Петрович!

Памятуя о наших встречах и беседах у господина Печкина в Москве, кои оставили во мне неизгладимое впечатление, а также почитая Вас как знатока науки и ревностного собирателя многозначительных тайн нашего бытия, осмелюсь побеспокоить Вас делом сугубо фантастическим и уже вызвавшим смутительные толки. Возможно, что слухи о нем, равно как и отзвуки моих споров о сем предмете со студентом Рожковым, уже коснулись Вашего сельского уединения. Но, не будучи в этом уверен и зная, как легко слухи возводят небылицу в быль, начну с исходного документа и обстоятельств его обретения.

Что до обстоятельств, то они могут быть изложены только со слов господина Печкина, чья правдивость, впрочем, общеизвестна. Теплым, но сырым утром двадцать второго апреля сего года господин Печкин прогуливался по лавкам Охотного ряда, не имея к тому особого интереса, а исключительно ради предписанного врачом моциона. Обязанный его соблюдать при малейшем благоприятствии погоды и движимый присущей ему любознательностью, господин Печкин, проявляя, как всегда, внимание к людям и нравам торжища, подал медяк сельскому погорельцу, обменялся любезностями со знакомым владельцем лавки колониальных товаров, после чего купил отличнейшую, по его словам, гавану, кою тут же и раскурил (поступок вряд ли благоразумный при сыром воздухе). Случилось же это возле лотка с астраханской, свежего привоза сельдью, аккурат в то время, когда куранты Кремля вызванивали десять. Рас-

сеянный взгляд господина Печкина по неизвестной ему самому причине упал на сельдь, а заодно на употребляемую для завертки оных бумагу. Вам, милостивый государь, конечно, известно, что непросвещенные торговцы порою используют для этой цели печатное слово, что достойно всяческого осуждения по причинам нравственным и гигиеническим. Так было и на сей раз.

Господин Печкин уже намеревался пройти дальше, когда его внимание привлек обрывок книжного листа, удививший его не своей особицей, которую он тогда не разглядел, а малостью размера и, следовательно, негодностью для завертывания товара. Господин Печкин с улыбкой заметил это лотошнику, который, пожав плечами, тут же выкинул негодный листок. Однако движение оказалось столь неловким, что порыв ветра бросил бумажку прямо в лицо Печкину, отчего последний был вынужден ее придержать. Впоследствии господин Печкин увидел в этом руку провидения. Тогда же он слегка рассердился и попенял лотошника, который принужден был извиняться. Утихнув душой, господин Печкин хотел было уже отойти, как обнаружил, что держит смятый листок. Уважение к печатному слову не позволило господину Печкину сразу избавиться от листка, хотя тот и припахивал селедкой. Уже беглый взгляд на столь ненужное, казалось бы, обретение изумил нашего общего знакомого, а дальнейшее чтение повергло его в окончательное замешательство. Он было приступил к лотошнику с вопросом, откуда тот взял бумагу, но мужик сказался неграмотным и по обыкновению простолюдина ничего не ведающим. Тут господин Печкин, бросив докапываться до корней сей истории, допустил оплошность, ибо позже не смог припомнить физиономии лотошника и, соответственно, его сыскать, отчего след появления бумаги в Охотном ряду оказался утерянным. Впрочем, нашего знакомого можно понять, ибо содержание обрывка мешало все его мысли.

Воспроизвожу текст дословно, ни на йоту не отступая

от оригинала, как то принято в серьезных научных изысканиях, кои прославили Ваше, м. г., имя и коим Ваш покорный слуга также не чужд.

Вот этот феноменальный документ целиком.

«Будничным утром в голову лезут будничные мысли. «Не опоздать бы!» — одна из первых у таких, как Коля.

Щелчок выключателя мгновенно озарил комнату резким и неприятным спросонья светом. Снаружи в январском сумраке ответно вспыхивали строчки окон — Москва просыпалась привычно и торопливо. Вскочив с постели, инженер натянул тренировку и, позевывая, заспешил на кухню. Конфорка пыхнула голубым венчиком газа. Коля наладил джезву и, пока все разогревалось, быстро обмахнул щеки надсадно жужжащей бритвой. Сев за стол, он по обыкновению включил радио: прогноз погоды пообещал к вечеру очередную ростепель. «Опять будет каша», — отметил инженер и, дожевывая на ходу, устремился в переднюю. Лифт, как назло, был долго занят, зато автобус подошел к остановке тотчас, и Коля привычно ввинтился в его теплое, битком набитое нутро. Автобус, затем троллейбус — дорога заняла обычные пятьдесят минут, и Коля успел проскочить проходную, прежде чем стрелки...»

На этом текст обрывается.

Теперь, достопочтенный Иннокентий Петрович, Вам, уверен, понятно то первоначальное недоверие, с которым я отнёсся к сей криптограмме, когда господин Печкин, отчаявшись что-либо уразуметь, воззвал к моей проницательности. Умоляю и Вас, если такая мысль закралась, не считать все это дурной мистификацией: типографская природа документа бесспорна, сама бумага теперь хранится в моем столе, и если бы я не опасался превратностей почты, то не медля представил бы ее Вам в натуре.

Приходится признать, что перед нами загадка, бросающая вызов самому светлому уму! К сожалению, на оборотной стороне документа вместо текста, который мог

бы многое дополнить и, возможно, разъяснить, отсутствует неполный ввиду обрыва листа рисунок с небрежным или просто неумелым штриховым изображением кусающего чьи-то ноги пса. Пес самый заурядный, дворовый, ноги тоже обычные, ничего прояснить не могущие. Остается все внимание сосредоточить на вышеизложенном тексте.

Вашему тонкому уму, конечно, тотчас открылась та непенница орфографии, коя и без того темное делает вовсе непроницаемым. Отсутствие в тексте «ятя» и некоторых иных знаков алфавита повергло меня, сознаюсь, в такое смятение, что я было предположил немыслимое. А именно. Находятся нигилисты, которые шепчутся против «ятя», «фиты», как букв якобы необязательных и лишь отягчающих правописание. О, геростраты родного языка! Само собой, будучи прогрессистом, я не держусь старины только из-за почтения к ней. Даже на наших глазах, к примеру, благородный своим звучанием оборот «сей» был оттеснен грубым словечком «этот», и я принял такую поддержанную литературой новацию, хотя она и против моих в далекой, увы, юности сложившихся вкусов. Но всему есть предел, и всякому разумному человеку ясно, что исключение «ятя» и ему подобных знаков из строя алфавита обеднит слог отечественного языка. Однако находятся, находятся покусители! Вот у меня от крайней растерянности и шевельнулась мысль: не выходка ли это какой сорвиголовы? Сия бумага — не прокламация ли, всем в пику тайно отпечатанная без «ятя»?!

Слышу, слышу, драгоценнейший Иннокентий Петрович, Ваш смех! Каюсь и прошу снисхождения за выказанный бред, который опровергается самим содержанием текста, а также неуместным рисунком какого-то пса. Ну, статочное ли дело даже анархисту писать такую белиберду?! В самом сумасбродном поступке есть своя логика, а тут ни малейшей, ибо, с какой стороны ни подойди, в означенном тексте нет ни смысла, ни лада. Или

сие от нас ускользает? Не думаю. Допустим даже (была и такая идея высказана), что перед нами фантазия некоего сочинителя насчет жизни в будущем. Нелепое по многим причинам толкование, но дабы испытать и эту гипотезу, на мгновение примем, что загадочные «автобус», «троллейбус», «радио» и «джезва» суть выдуманные машины и аппараты иного века, о чем якобы свидетельствует их упоминание в ряду с реальным, хотя и странным в обычном доме лифтом. Объясняет ли это допущение хоть что-нибудь? Нисколько.

Правда, лексический анализ слов «автобус», «троллейбус» дает такие буквальные, в переводе с английского, значения, как «самоомнибус» (самодвижущийся омнибус?) и «омнибус-вагонетка» (паровой, на рельсах, вагон?). Все это не лишено смысла, а контекст документа, то место, где упомянуты «автобус» и «троллейбус», как будто подтверждает их толкование в качестве средств передвижения. Но проблески здравого смысла наличествуют и в бреде, это еще ни о чем не свидетельствует. Латинского корня слово «радио» тоже ясно для понимания. И что же выходит по смыслу? Некий инженер будущего, чтобы получить сведения о предстоящей погоде, включает «луч»? И аппарат-светоисточник (очевидно так!) уведомляет его о скорой ростепели?! От сего толкования, уверен, отшатнулся бы даже такой смелый фантазер, как Жюль Верн. Кстати, ни в его романах, ни в сочинениях покойного Федора Одоевского, чья неукротимая фантазия заглядывала в далекие века, нет засилья домашней и уличной машинерии. А как прикажете расшифровать таинственный аппарат «джезва»?

Но даже не эти очевидные соображения, с которыми Вы, полагаю, согласитесь, главное, что доказует нелепость всего описания с позиций самого безудержного и безответственного фантазерства о будущем. Вот первое, что бросается в глаза. В отрывке речь идет об инженере. Так! Но где же видано, чтобы сочинитель, будь он трижды фантаст, именовал бы инженера (инженера!) в точ-

ности, как ребенка, Колей? Так редко и мужика называют, а здесь автор представляет нам ученого мужа и дворянина. И почему этот дворянин, подобно дворнику, должен вскакивать спозаранку? Как может проезд в Москве, тем более в механическом экипаже будущего, занимать около часа? И что означает выражение «инженер натянул тренировку»? Что ни фраза, то полная бессмыслица!

Весь стиль отдает дикостью. Ломаные фразы, сплошные невнятицы языка, сумбур описаний, пачкотня вместо рисунка на обороте, то есть решительно все придает вес моей гипотезе о ненормальности автора, гипотезе, коя объясняет многое. Это соображение побудило меня сделать надлежащий, для утверждения истины, опыт. Переписав текст, как подобает, с «ятем», чтобы его отсутствие не затемняло картину умосостояния автора, я предложил документ вниманию лучших знатоков душевных болезней. Представьте, их мнения разошлись! Одни определенно указали на ненормальность автора, другие же склонились к мнению, что за всеми странностями описания и стиля кроется малопонятная, но никак не болезненная логика. Вот каковы наши светочи медицины — кому хочешь, тому и верь...

Тут еще загадка с «ятем». Кто-то же издал, оттиснул сей бред! Пусть автор выпустил книгу, из коей нам достался отрывок, за свой счет и даже не постоял в расходах, лишь бы увидеть в ней свои неумелые рисунки. Но где он нашел столь же безумного типографа? Что закрыло глаза цензуре? Как не пошли толки о возмутительной дерзости издателя? Почему никто (я навел тщательнейшие справки) даже не слышал о такой книжке? Соряюсь, немею, ум за разум заходит!

Только это мое, надеюсь, понятное состояние побуждает меня вступить в спор с Рожковым, студентом неглупым, хотя и с нигилистическим направлением мыслей. Самый дальний родственник моей жены, отчего и принят у нас по-домашнему. Общение с ним я нахожу бесполез-

ным, поскольку оно вводит меня в курс новейших умонастроений, да и для молодежи влияние людей опытных, с идеалами, необходимо как противоядие от бацилл анархизма.

Упомянутый Рожков, которому я сгоряча показал документ, было остолбенел, как все прочие, и в растерянности, по дурной своей привычке, стал вертеть пуговицы тужурки, одну даже открутил напрочь. Впрочем, надобно отдать должное его уму: оправившись от потрясения, он высказал любопытную догадку насчет одного темного в документе места. Мне никак не удавалось уяснить, почему наступление ростепели сулит инженеру какую-то, очевидно на ужин, кашу. Рожков дал ловкое толкование сей несуразице, обратив внимание на то обстоятельство, что ростепель делает снег вязким, кашеподобным и что, следовательно, перед нами лишь образ, метафора. Поблагодарив Рожкова, я, однако, заметил, что имеющееся во фразе словечко «снова» (и не только оно) указывает на обыденность и повторяемость ростепелей. А как это может быть посреди зимы, когда мороз особенно крепок и оттепель в Москве изрядная редкость? Рожков со мной тут же согласился, признав, что эта и другие загадки текста выше его понимания.

Чтобы он не впал в уныние, я похвалил его за изящество толкования взаимосвязи оттепели с «кашей», и он ушел столь ободренный, что поутру явился ко мне весь всклокоченный, с воспаленными от бессонницы глазами и идеей самой дикой, какая только возможна. Он, представьте себе, предположил, что этот клочок бумаги, сей головоломный обрывок текста есть подлинное описание будней иного века, которое попало к нам прямо из будущего!

Привожу этот пассаж мысли с единственным намерением доставить Вам веселую минуту. Ну, не юморист ли? Объяснить, каким манером бумага перемахнула через столетия и очутилась в Охотном ряду, Рожков, конечно, не мог; он только повторял слова Шекспира о

вещах, которые и не снились мудрецам. Позиция, что и говорить, сильная!

Меня, однако, все это так потрясло, что, стыдно признаясь, я ввязался с Рожковым в спор и, к своему немалому изумлению, обнаружил, сколь трудно защитить здравый смысл и доказать, почему не может быть того, чего не может быть никак — ни такого утра иного века, ни описываемых реалий бытия. Рожков возражал с завидной ловкостью, о чем, справедливости ради, надлежит упомянуть. Вот суть его концепции. Допущение будущности текста, сказал он, делает понятным полное отсутствие слухов о книге, из коей выдрана страница: она еще не написана. Столь же логично разрешается загадка орфографии и необычной стилистики — то и другое разительно изменилось в веках. Нам непонятная машинерия будущего? Что ж, так и должно быть: для современников Вольтера столь же странными оказались бы паровоз, телеграф или новоизобретенная, электрического действия лампочка Лодыгина, намеков на повсеместное в грядущем торжество которой можно, кстати, усмотреть в первых строках второго абзаца анализируемого документа. Также не остаются постоянными нравы, чем и объясняется необычное именование инженера Колей, между прочим, подтверждающее догадку лучших умов о развитии в будущем всеобщего дружелюбия и, следовательно, обращения друг к другу исключительно на «ты» и по имени.

Было от чего схватиться за голову! Напрасно я взывал к здравому смыслу собеседника и доказывал, что хотя предстоящий век и будет иным, чем наш, но есть же предел правдоподобия, решительно здесь нарушенный, ибо толкования текста в духе правды сразу заводят нас в тупики абсурда. Нужны ли примеры? — спрашивал я. Еще как-то можно допустить, что машинерия двадцатого века далеко превзошла наши смелые ожидания, хотя уже одно это крайне сомнительно, поскольку наш ли век не самый изумительный достижениями ума и дальню-

видностью взгляда, а между тем даже повсеместность электрического освещения оспаривается многими авторитетами. Но допустим, допустим и такую нелепицу, что русские люди (охрани нас господь от такого безумия!) устранением «ятя» оскальпировали слог родного языка, что нравы пали до всеобщего умаления имен, а город сделался изрядной, если верить описанию, транспортной неудобницей. К чему, однако, ведут столь ужасающие противу логики прогресса натяжки толкования текста? К допущению, что и климат Москвы изменился, существенно потеплел, чего уж никак быть не может!

«Верно! — в каком-то иступлении вскричал Рожков. — Упомянутая обычность ростепелей — ключ ко всему! Ведь для такой перемены московского климата надобна целая эпоха, а это доказывает, что в отрывке описан вовсе не двадцатый, а куда более дальний век! Тогда и все ваши справедливые для близкого будущего возражения устраняются сами собой...»

Я даже речи лишился после таких его слов. Нет, какова современная молодежь! Есть для нее что-нибудь святое? О приверженности идеалам прогресса, чей факел они готовы забросить в болото нигилизма, я и не говорю; сам того не заметив, Рожков отринул даже то, чему они все поклоняются, — научную методику. Боже мой! Поразительно и печально, с какой легкостью он при первом же затруднении заменил ее горячечными спекуляциями воображения! Верно замечено, что необразованность плачевна, а полуобразованность пагубна. Грустно сие...

И все же, когда я было совсем отчаялся утвердить истину, один факт помог мне развеять дурман ложных фантазий и вернуть Рожкова на верную стезю. О, не иссяк еще порох в пороховницах! В каком-то озарении я схватил бумагу, ткнул прямым кончиком в то место документа, где говорится о бритье человека якобы грядущих веков, и спросил Рожкова: в каком будущем возможна надсадно жужжащая бритва? В каком?

Из Рожкова будто дух выпустили — он так и окаменел с раскрытым ртом. Возразить было решительно нечего, ибо даже младенцу ясно, что бритва, это узкое и опасное лезвие стали, ни в каком веке жужжать не может. К чести Рожкова надобно сказать, что он и не подумал переть против такой очевидности: обмяк, покраснел, стушевался, бедняга.

Так было покончено с заблуждениями и бесплодными фантазиями, но роковая загадка текста, увы, не стала светлей, сколько я над ней потом ни бился. Все, все усилия тщетны! Жуть берет, когда я вновь размышляю о сем предмете. Если это не бред больного ума, то что же? Неужто перед нами та самая кантовская, наглухо закрытая «вещь в себе»? Неужто сия бумага есть знак положенного нашему познанию предела, свыше ниспосланное о том предупреждение? Конечно, и такое возможно, хотя это и противу моих философских воззрений. Мой разум склоняется перед тайной, сон и покой давно потеряны, о чем, должно быть, ясно говорит сумбур этого моего письма. Вся, вся надежда только на Вас, драгоценнейший Иннокентий Петрович, на Ваше мудрое искусство проникновения в недоступные нам сферы трансцендентального! Если не Вы, то кто же разрешит эту загадку века?

Надеюсь и уповаю!

Ваш покорный слуга

Ф. Соковнин

17 июня 1879 года.

P. S. Господин Печкин шлет Вам поклоны и спрашивает, какие виды на урожай в Вашей губернии, где у него, как Вам должно быть известно, находится имение.

Весь день море билось о берег.

Оно билось и тогда, когда в свете вечерней зари к нему вышли трое. К их удивлению, накат волн оказался не таким мощным, каким он представлялся в лесу, где еще издали был слышен мерный тяжелый гул. Прибой скорее гладил песок, обращая его при откате в тусклое зеркало, в котором скоротечно проступали краски заката, багрово-черного у дальней черты моря, тогда как высоко над дюнами было светло и там, в поднебесье, отчетливо рдели похожие на клинопись обрывки облаков.

Уминая песок, все-трое двигались вдоль прибоя. Имена двоих — Гриднева и Шорохова — многое могли сказать тем, кто следит за культурной жизнью, имя Этапина, наоборот, любого оставило бы невозмутимым. Но и прославленный ученый, каким был Гриднев, и весьма известный поэт, каким был Шорохов, своим безмятежным отдыхом здесь, на этой благодатной косе балтийского побережья, были обязаны Этапину, который в своем узком кругу был известен скорее как организатор, чем коллега Гриднева. Из этого, впрочем, не следует, что Этапин был чем-то вроде мальчика на побегушках у знаменитости: он тоже имел научное звание, должность, заслуги.

И свое увлечение. Отставая на несколько шагов, он нагибался, разглядывал выброшенные прибоем камешки, такие умытые и яркие, что ими трудно было не залюбоваться, некоторые трогал короткими ухватистыми пальцами, но чаще браковал, сочтя их недостойными шлифовального станка, постоянная работа с которым плачевно отозвалась на состоянии косо сточенных ногтей искателя. Опять же в своем узком кругу Этапин славился как резчик, умеющий выявить красоту какого-

Илибудь с виду невзрачного кремешка. Это его сближало с поэтом, по крайней мере так считал сам поэт, который из-за краткости знакомства еще не смог составить о нем определенного мнения.

Он сам и Гриднев, казалось, просто гуляли. Так это выглядело со стороны, так они сами считали, ибо незаурядные люди, когда дело касается их самих, думают как раз заурядно. В действительности их праздная прогулка, что тоже обычно для таких людей, была неотличимым от работы отдыхом или неотделимой от отдыха работой. Ученый отставал от поэта, но по другой причине, чем искатель камней. У Гриднева, который так часто будоражил мир неожиданными и, как показывало время, плодотворными идеями, не было посторонних интересов, потому что его увлечением было все. Неудивительно, что он и сейчас не просто любовался закатом. Ему не надо было нагибаться, чтобы, подметив необычное у себя под ногами, впиться дальнотзорными глазами в песок, где-развертывалась поразившая его драма жизни. Возможно, для энтомолога она не была таинством, но такой ее увидел Гриднев. Он удивился, задумался, иначе, чем прежде, взглянул на море, что в дальнейшем для всех троих имело немаловажные последствия. Таково уж опасное свойство тех, кого, не различая оттенков, мы называем гениями.

Поэт, которого из-за мужицкой основательности фигуры редко принимали за поэта, тоже был взволнован, только в отличие от ученого он не смог бы сказать чем. Всем вместе и ничем в отдельности! Этим небом, в котором темнели и тяжелели похожие на клинопись обрывки облаков; этим морем, которое неустанно подкатывало к ногам вечно умирающие и вечно рождающиеся строчки пены; этими соснами позади, чей ровный, как под гребенку, наклон и в затишье напоминал о ярости морских бурь. Наконец, самой косою, где подле черной ольхи серебрилась полынь, березу обнимал куст барбариса, неподалеку от горных сосен цвела облепиха, где,

словом, север встречался с югом, а запад — с востоком. И все потому, что человек дважды в ожесточении войн истреблял здесь природу и дважды созидал ее заново, сочетая растения, словно художник краски. Поэтому на всей стокилометровой, сабельно узкой косе не было ничего, к чему не прикоснулись бы руки и мысль, хотя сейчас все вокруг казалось первозданным.

Шорохов не думал об этом несоответствии сущего и видимого, но чувствовал его. Ритм прибоя сам собой будил строчки:

Море, чтобы о берег биться,
Орел, чтобы в небо лететь,
Вьюга, чтобы петь и кружиться,
Мама, чтобы детей беречь...

Пока это были не стихи, только их завязь. То, что уже сложилось, не удовлетворяло Шорохова, конец не просматривался совсем, там всплывала лишь одна, ни с чем еще не связанная строчка:

Все имеет предназначенье...

Все, значит, и человек тоже. Но какое? В связи с чем? Тут брезжила какая-то мысль, но то пока была далеко не поэзия. Удастся ли выразить словом то, что слышится в природе и будит стихи? Этого Шорохов не знал. Мука и счастье искусства в том, что никому не известно, что выйдет из замысла и выйдет ли вообще. Недаром Пушкин, написав однажды изумительные строчки, запрыгал от восторга и закричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын, ай да молодец!» Или что-то в этом роде. Пушкин!

Так все трое долго брели в молчании и каждый беседовал со своей душой. Впереди Шорохов: он шел, тяжело уминая песок и словно ничего не видя вокруг. Или, наоборот, видя все. Легкий шаг Гриднева петлял вдоль узкой полосы песка, к которой подкатывал прибой. Этапнин неукоснительно держался той линии, где лежала

галька; полноватый и рыхлый, он оказывался проворным тогда, когда наклонялся за камешками. Тут взмах его руки был быстр и точен, как бросок змеи.

— И что вы там нашли, в этом песке? — спросил он внезапно.

— Не в песке, — Гриднев рассеянно улыбнулся. — На нем. Или в море.

— А, букашки! Действительно, их тут многовато... Но при чем тут море?

— Не знаю, и это самое интересное.

Приостановившись, Шорохов взглянул под ноги и слегка опешил. Он шел по живому ковро! Всюду, сколь видел глаз, у самой черты прибоя, на узкой кромке песка вяло копошились светло-кофейные, едва различимые божьи коровки. Сотни, тысячи, может быть, миллионы необъяснимо стянулись сюда, к готовому их слизнуть морю, и так, похоже, было везде, возможно, на всем грохочущем побережье. Шорохов озадаченно отступил. Что означала эта нелепая игра со смертью? Ни одна букашка не спешила к воде, но и не стремилась прочь; все словно ждало чего-то.

— Что с ними?..

Гриднев не отозвался, Этапин слабо пожал плечами.

— Какой-то инстинкт, надо будет при случае спросить у энтомологов.

— Вот как? — Шорохов снова взглянул на насекомых, и ему почему-то стало не по себе. — Выходит, для вас, ученых, это такая же загадка, как для меня?!

— Не совсем. — Голос Этапина прозвучал добродушно, но в темных, немного навывкате глазах мелькнула ирония. — Просто мы не всезнайки, не надо путать. Более того, мы считаем безответственным выходить за пределы своей компетенции. И не спешим видеть во всяком новом для себя явлении загадку. К примеру, сам факт массового скопления божьих коровок лично для меня не новость, я читал о нем в литературе. Следовательно, энтомологи давно знают об этом явлении и, воз-

можно, уже изучили его настолько, что слово «загадка» вызовет у них лишь улыбку. К чему же эмоции, если информация не проблема? Хотите, я утром свяжусь с Москвой и получу нужные сведения? Тут нет проблемы.

Шорохов с сомнением покачал головой. Спорить с ученым он не мог, но и не мог согласиться, что вот это безмолвное, к ночи, устремление жизни навстречу гибельному накату волн для кого-то ясно, как дважды два. Сегодня он сам чувствовал в этом море, в этой гряде облаков, в этом вечере что-то необычное. Неужели его спутники вовсе лишены чутья?

Он с надеждой взглянул на Гриднева, чьи губы под конец речи Этапина тронула едкая неохотная усмешка.

— Могу добавить, — так же нехотя сказал тот, — что дурным тоном в нашей среде наравне с «загадкой» стало и слово «ученый». Да, да! Все мы нынче стоим у конвейера индустрии знаний, каждый знает свою гайку, и потому мы предпочитаем называть себя научными работниками. Иначе неловко. Надеюсь, вам больше ничего разъяснять не надо?

— Надо! — Шорохов остолбенел. — Это чудовищно! Это неправда!

— Но это факт, — узкое худощавое лицо Гриднева напряглось. — Хотя и неправда... Хотите, вот прямо сейчас все изменится? Хотите, мы, как в дни Ньютона, снова станем мальчишками, которые играют красивыми раковинами на берегу, тогда как позади катит свои волны неведомое?

Лицо Гриднева озорно осветилось, с него спало десять, двадцать, а то и больше прожитых лет.

— Хотите?

— Еще бы! — воскликнул Шорохов.

— Что ж, — Этапин пожевал губами. — Интересно, как вы на этот раз перевернете мир...

— Очень просто, — весело сказал Гриднев. — Что, если, изучая океан, мы проглядели в нем одну мелочь? Цивилизацию, которая была для него тем же, чем наша

для суши? Давно погибшую, но все еще незримо присутствующую здесь и сейчас? Такую, что ее зову послушны вот эти букашки, хотя ее самой давно нет. Что скажете?

— Ничего, — Этапин замедлил шаг. — Если бы это говорил кто другой, я бы сразу сказал, что это бред.

— Возможно, возможно, даже скорей всего так! Ну и что? Мы отдыхаем, ведем растительный образ жизни, пора и встряхнуться. Я фантазирую, ничего больше, и смысл этого занятия сейчас, быть может, не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы опровергнуть. Наваливайтесь, бейте, только докажите, что бред — это бред. Разрушать легче, чем созидать, не так ли?

Шорохов промолчал, понимая, что для такого спора он не более пригоден, чем пловец для марафонского бега. Лунообразное лицо Этапина нахмурилось.

— Нельзя разрушить то, чего нет, — сказал он.

— Иногда можно, — вставил Шорохов.

— Вот именно! — Гриднев наподдал камешек, и тот без всплеска исчез в волне. — Легко ли было разрушить миф о «Бермудском треугольнике»?

— Тем более не стоит создавать новый, — буркнул Этапин.

— А, выпад, укол — прекрасно! — Гриднев потер руки. — Дуэль умов началась. Шорохов, вы секундант... Да, я злобно нарушаю «правило Оккама». Но я никого не мистифицирую. Маленькое интеллектуальное упражненьице, всего лишь. А? Особо полезно для сутубых научных работников. Не обижайтесь, но в вас, дорогой мой, уже завязался бюрократический жирок...

Он пальцем ткнул в рыхлый бок Этапина. Тот засопел и отпрянул.

— Ну, полно, полно, я же шучу... Вы же умница, скептик, скажите что-нибудь по существу.

— Голословное утверждение есть голословное утверждение, — неожиданным фальцетом сказал Этапин. — Вы не привели ни одного доказательства, а уже требуете... Это я вам говорю как обрызгший администратор.

«Н-да, — подумал Шорохов. — Нелегко приятельствовать с гением...»

— Вы правы, — сказал Гриднев. — Извините. Что ж...

Его лицо снова стало серьезным. К ногам с шипением подкатилась волна, взъерошенная пена лизнула ботинок, но он этого не заметил.

— Осторожней, промочите! — воскликнул Этапин.

— А, спасибо... Знаете, в этом вечере, в этом закате, в этой небесной над нами клинописи есть что-то колдовское. Вы не находите, что мы оказались вне времени? Не пугайтесь, Этапин, все просто... Взгляните на море, на черно-красный закат, на бесконечные гребешки волн. Видим ли мы сейчас настоящее Земли или ее далекое прошлое? Ведь все было таким и миллиард лет назад... Так же в тяжелых завесах туч садилось солнце, так же шумело море, так же пуст был песчаный берег. Теперь оглянитесь. Позади серые откосы дюн, лапчатые вершины сосен. Там, в сущности, перед нами будущее Земли.

— То есть как? — Этапин даже споткнулся.

— Элементарно. Природа этой косы создана человеком. Даже эти вполне естественные на вид дюны некогда были насыпаны, чтобы остановить ветровой перенос песка с моря. Когда-нибудь вся Земля уподобится здешней косе по той простой причине, что мы ввергли себя в экологический кризис, а единственный из него выход — восстановление и переустройство природы. Так, как это уже произошло здесь.

— Черт возьми! — Шорохов остановился.

— Похоже, вы правы, — Этапин, не мигая, смотрел на Гриднева. — Но...

— Но какое это имеет отношение к теме разговора? Видите ли, я задумался над тем, как вымышленная мной цивилизация могла проявить себя во времени и пространстве. Миллионы и миллиарды лет — их надо было почувствовать, ощутить, ведь это не просто циф-

ры... И получилось: далекое прошлое — вот оно, — взмахом руки Гриднев показал на тлеющий закат. — И будущее мы тоже видим — рядом. А меж ними и в них — настоящее. Пансионат, в котором мы живем, обычные огни танцверанды, наши теории, мы сами. Как это, оказывается, огромно и как мимолетно — миллиард лет!

— Вы заговорили, как наш друг поэт. — Этапин покачал головой.

— А поэзия и есть дух науки. Ладно, перейдем к прозе... На суше жизнь эволюционировала сотни миллионов лет, в море — миллиарды. Отсюда вытекает допущение, что разум в океане мог появиться задолго до человека. Этапин, ваш ход, пожалуйста.

— Ваше предположение, — жестко и как бы даже с удовлетворением произнес тот, — противоречит как фактам, так и мнению авторитетных специалистов, какими мы, кстати говоря, в данной проблеме не являемся.

Гриднев вздохнул.

— Довод, конечно, убийственный, — сказал он с усмешкой. — Только природа не признает наших специализаций, она неделима. Только в науке после точки всегда следует новое слово. Теории и мнения... Верно, нам говорят: в океане более стабильная, чем на суше, среда обитания, поэтому эволюция там движется замедленно. Будто там не было «кембрийского взрыва», когда в ничтожный геологический срок возникли скелетные организмы и окончательно сформировались почти все типы современного животного царства!

— И все же бóльшая стабильность морской среды — это факт, — упрямо повторил Этапин.

— Не спорю, и тем не менее...

— Второй факт, — настойчиво продолжал Этапин. — Эволюция сухопутной жизни есть продолжение морской, поэтому нельзя говорить о ее якобы укороченности. И интеллектуалы моря все-таки китообразные, то есть сухопутные в прошлом существа, а отнюдь не моллюски,

рыбы или осьминоги. Это, простите, третий и самый веский факт.

— Да, если сравнивать живые существа так, будто это гонщики, мчащиеся по одному шоссе! Мы далеко оторвались, а кто там позади? Обезьяны, дельфины и еще более отставшие спруты... Но эволюция, простите, не шоссе с односторонним движением. На суше первыми к разуму продвинулись отнюдь не млекопитающие, а насекомые, которые за сто или даже двести миллионов лет до человека создали интереснейшее подобие цивилизации. Уж если ссылаться на авторитеты, то почему бы не послушать Дарвина? «Мозг муравья есть один из самых удивительных комплексов вещественных атомов, может быть, удивительнее, чем мозг человека». Но несовершенство трахейного способа дыхания насекомых не позволило этому мозгу укрупниться, и цивилизация муравьев законсервировалась. А как пошло дальнейшее развитие их морских предков? Несомненно одно: жизнь сделала рывок к разуму и цивилизации задолго до млекопитающих. И, что очень важно, к ней устремились бесскелетные, то есть древнейшие организмы.

— Доказательства? — без выражения спросил Этапин. — Где доказательства, что такая цивилизация действительно была?

— Вот! — Гриднев взволнованно взмахнул рукой. — Тут самое главное, ради чего я этот спор затеял: проблема доказательств или отсутствие их. Пора взглянуть на нее шире. Мы ищем космические цивилизации и удивляемся их отсутствию. Не лучше ли для начала проверить собственное зрение? Вопрос: в состоянии ли мы различить иную цивилизацию у себя под носом? Можем ли мы отыскать ее след сегодня, если в своем геологическом вчера ее деятельность была соразмерима с нашей? В принципе ответ должен быть положительным: можем узнать, можем различить, можем понять. Но готовы ли мы к этому сегодня или психологически еще слепы?

— Слепы... — повторил Этапин. — Смотри кто и в

чем. Поскольку вы отвели мне роль скептика и догматика...

— Яр! — Гриднев изумленно вскинул голову. — Бог с вами, опережайте меня сколько хотите, рад буду...

— Нет уж, позвольте! Значит, слепые, так? Минуточку, минуточку...

Шаря взглядом по кромке берега, Этапин сделал несколько шагов, проворно нагнулся и с торжеством поднял тусклый окатыш стекла.

— Как видите, долго искать не пришлось... Вот осколок, каких триллионы, материал более стойкий, чем гранит, след деятельности, который расскажет о нас и через миллионы лет. Так что уж извините! Иная цивилизация или не иная, она все равно должна производить, должна создавать новые материалы и таким образом оставлять вещественные следы своей деятельности. Где они в вашем случае? Их нет, значит, никакой подводной цивилизации не было. Или вы сомневаетесь в возможностях палеонтологии выявить такие следы?

— Нет, это поразительно! — Гриднев дернул плечом и в это мгновение показался Шорохову похожим на чистокровного скакуна, которого попытались унизить тележной упряжью. — А еще говорите, что мы не слепы! Да вдумайтесь же наконец, какой след должна оставить цивилизация, для которой получение огня — труднейшая из проблем! Которой далеко не так, как нашей, нужны всякие там горшки, строения, тепло очага. Которой куда легче познать электричество, благо в море есть живые источники тока, чем наладить металлургию и выплавку того же стекла. Керамика — чушь! Каким путем пойдет технология в среде, где удар камня, топора, мотыги малоэффективен? Что будет ее визитной карточкой? Подумали вы об этом хоть немного? Следы... Тут, дорогой мой, проблема инвариантности. Что присуще любой цивилизации и в главных своих чертах не зависит от типа породившей ее среды? Что? Технология, как легко убедиться, отнюдь не инвариантна. Если подводная

цивилизация была, но исчезла, сгинула, как это солнце, и остались лишь ее закатные краски, то какие они? Видим ли мы их в упор, как вот эти? А вы о стекляшках... Эх!

Гриднев умолк. Этапин отшвырнул осколок, словно тот обжег его пальцы. Уже смеркалось, ярче, чем прежде, белели рваные строчки пены, в облаках еще тлел закат, будто опустившееся в море солнце чадило там головешкой. Без усталости бухали волны, берег был все так же пустынен, и Шорохов зябко поежился то ли от вечерней прохлады, то ли от внезапного чувства, что он в этом мире недолгий гость. Все показалось ему мимолетным и в то же время застывшим, как темные позади дюны. «Вот так всегда, — подумал он со спасительной иронией. — Мнишь себя центром плоской и неподвижной земли, а является какой-нибудь Гриднев, разъясняет, что ты живешь на круглой и маленькой вертушке, которая мчит тебя в бесконечность, и изволь привыкать... Всего лишь чья-то новая мысль, а мир уже не тот и сам ты другой — экая, однако же, силища!»

— Проблема инвариантности цивилизаций... — голос Этапина, когда он наконец заговорил, прозвучал ровно. — Ее увязка с проблемой распознавания... Трасологизм материальной деятельности разума во времени и пространстве, так, так... Между прочим, если бы геологи часто находили в земных слоях те же окатыши и осколки стекла, то наверняка возникла бы теория их вулканического, допустим, происхождения. Забавно... Публиковать свои фантазии вы, конечно, не собираетесь?

Он как-то искоса взглянул на Гриднева.

— Естественно, нет, — тот поморщился. — Мало ли что взбредет на ум... Но как интересно! В морской среде скорей всего должна была возникнуть не техническая, а биологическая цивилизация. Аналог есть: муравьи и термиты, которые строят прекрасные с инженерной точки зрения жилища, дороги, мосты, пасут скот, то есть тлей, возделывают грибные плантации... На что же спо-

собна куда более мощная цивилизация того же типа? Познание мира из-под воды, хм... Какая презабавнейшая у них должна быть космогония! Борьба теории воздушной вселенной с теорией ее твердокаменного строения... Физика, быть может, начавшаяся с электричества... Нет, невообразимо! В конце концов, у них, возможно, появилось и нечто похожее на нашу технологию. Приходим же мы сейчас к аквакультуре, плантационному, на море, хозяйству... А у них оно было с самого начала: селекция, скрещивание, быть может, переделка организмов в водной среде. Затем, кто знает, настал черед суши, некто в скафандре вышел на берег... Так или иначе их деятельность могла наложить отпечаток на всю природу. Вдруг и эти козявки, что у нас под ногами, потому устремились к морю, что когда-то, задав надлежащий инстинкт, их с неведомой для нас целью вот так скликали...

Словно удивляясь самому себе, Гриднев покачал головой.

— Видите, какие сказки навевает мне это хмурое море!..

— Когда-то дело ограничивалось сиренами и русалками, — задумчиво сказал поэт.

— Безусловно! Мы на все смотрим сквозь призму своего знания. И незнания. Из всего сказанного мной серьезно лишь то, что проблема распознавания деятельности иного разума не так проста, как это нам кажется. Даже если следы у нас перед глазами. Куда дальше! Этот лес, даже дюны созданы нами. Кто, однако, заподозрит это всего через тысячу лет?

— Мы отклонились от проблемы инвариантности, — лунообразное, слабо сереющее в сумерках лицо Этапина казалось задумчивым, но голос прозвучал нетерпеливо. — У вас на этот счет наверняка есть интересные мысли.

— Скорее банальные, — засунув руки в карманы, Гриднев теперь смотрел на море, словно видел там нечто

ускользнувшее от взгляда других. — Инварианта, да... Любые разумные, очевидно, должны пытаться, размножаться, познавать мир, как-то его преобразовывать (это и бобры делают!), жить скорее всего коллективно. Этим условиям неизбежно должны отвечать некоторые общие для всех базисные принципы морали, которые при всей ее вроде бы зыбкости могут, как ни странно, оказаться более инвариантными, чем технологические. Кант не случайно провел параллель между звездным небом над нами и моральным законом внутри нас. Мы только начинаем понимать, в чем тут дело.

— Если это так, — с сомнением сказал Этапин, — то проблема распознавания осложняется. Мораль, нравственность и прочая духовность в силу своей эфемерности не могут оставить долговечных следов.

— Ой ли? — Гриднев прищурился. — Что пережило все поколения, как не наскальные рисунки? Эта живопись гораздо древнее пирамид, а ее краски до сих пор свежи. Чему вы смеетесь? — обернулся он к Шорохову.

— Так, глупость. — Шорохов сконфуженно махнул рукой. — Мне представился осьминог, изучающий малярной кистью начертанное на скале: «Оля и Петя здесь были...».

Гриднев коротко хохотнул.

— Ладно, ладно! Хотите более симпатичную картинку? В своих основах инвариантна скорее всего эстетика. Возможно, более инвариантна, чем все остальное.

— Ну, это уж извините! — от неожиданности Шорохов едва не оступился в воду. — Эстетика — туман, зыбь, уж я-то знаю, что такое вкусовщина!

— Основа алмаза и сажи — углерод, но давайте не будем их путать! — раздраженно фыркнул Гриднев. — Я говорю не о личном вкусе, а о родовом восприятии прекрасного! Почему цветы привлекательны, хотя и по разным причинам, как для насекомых, так и для нас? То же самое с красотой раковин, рыбок и бабочек. А для кого прекрасен брачный наряд птиц? Только ли для пер-

натых? Почему сугубо функциональное в живой природе, по смыслу и назначению утилитарное, будь то движение лани или трель соловья, эстетично для человека? Почему в древнейших захоронениях рядом с орудиями труда, без которых человеку голод и смерть, мы неизменно находим, в сущности, те же безделушки и камешки, над которыми в разгар НТР так упорно трудится наш друг Этапин? А, молчите? То-то же... Тут всем глубинам глубины. Красоту еще древние греки поняли как гармонию. Сегодня мы приблизились к уяснению ее смысла. Гармония — это совершенство простой или сложной системы, лад всех ее слагаемых. Следовательно, красота есть внешнее выражение оптимума существования и функционирования любой системы.

— Например, системы мокриц, — не удержался Шорохов. — Или крыс.

— Элементарная вражда и дурь ассоциативных эмоций! — отмахнулся Гриднев. — Они искажают наш взгляд, я разве об этом? Речь о закономерности, смысл которой едва начал проясняться. Всякое сознание, отражает мир и, видимо, стремится его запечатлеть. Тут интереснейшая намечается инварианта, интереснейшая!

— Позвольте, позвольте, — пробормотал было погружившийся в свои мысли Этапин. — Никто не замечал у муравьев ничего похожего на искусство...

— Никто из людей не создал симфонию запахов, которые для муравьев то же, что для нас краски и свет! — отрезал Гриднев. — Вообще можно ли сравнивать нашу цивилизацию со столь примитивной и давно законсервировавшейся? Другое важно. Сколько тысячелетий искусству и сколько веков науке? Машинам? Человечество долго жило без моторов и лабораторий, а вот без музыки, рисунков, сказаний оно почему-то обойтись не могло. Вряд ли это случайность.

— О! — глаза Этапина сделались совсем рачьими. — Так это значит... Если бы море вдруг подкатило к нашим ногам, предположим, сердолик с резным изображе-

нием вымершего белемнита, то ваша морская цивилизация тем самым была бы доказана? И тогда... Нет, не проходит, — добавил он с сожалением. — Кто угодно мог взять палеонтологический атлас и срисовать белемнита, тут никому ничего не докажешь.

— А-а, наконец-то и вас забрало! — Гриднев с маху опустил руку на плечо Этапина. — Правильно, а то совсем засохли в своих увязках, утрясках... Доказательством существования подводной цивилизации, если на то пошло, мог бы стать и ваш камешек. Если на нем изображен, ну, конечно, не спрут и даже не белемнит, а... Представьте себе, что в каком-нибудь музее издавна хранится гемма или что-то в этом роде с рисунком некой заведомо несуществующей рыбы. Или морского змея, это неважно. Все спокойны. Обычная фантазия художника энного века, сказочный мотив, мифический образ, словом, полная благопристойность. И вдруг это существо открывают океанологи...

— Точно! — рачьи глаза Этапина впились в Гриднева. — Обитает оно в абиссальных глубинах, всплыть ни живое, ни дохлое не может...

— А значит, и художник его изобразить не мог, — кивнул Гриднев. — Что тогда прикажете думать о гемме?

— Тогда скандал. — Этапин покрутил головой. — Но тогда, между прочим, уже не вы будете автором гипотезы о подводной культуре, а тот, кто сопоставит гемму с фотографией, наберется смелости и... Какая обидная развязка!

Он издал короткий смешок.

— Нет, какая развязка!.. Нам придется подтверждать ваше авторство, и еще вопрос, поверят ли нам.

— Но так как морской цивилизации не было и нет, — рассмеялся Гриднев; — а уже холодает, то не пора ли нам все-таки к дому?

— Она есть, — внезапно сказал Шорохов. — Она уже существует.

Оба ученых изумленно уставились на поэта.

— А! — догадался Гриднев. — Существует, потому что она уже есть в наших умах?

— Именно.

— Ну, это пустяки.

— Но это меняет мир, — упрямо возразил Шорохов.

— Не мир, — Этапин поморщился. — Самое большее — наши представления о нем.

— Не буду спорить... Только как-то так получается, что ваш брат ученый сначала меняет наши представления о мире, а затем почему-то меняется и он сам.

— В данном случае это нам не грозит, — весело сказал Гриднев. — Разве что вы напишете поэму о научных работниках, которые на досуге фантазируют черт знает о чем... Пошли!

Он первым повернул к темнеющим вдаль соснам. Они шли, увязая в песке, им в спину гремело море, но этот звук по мере удаления становился все тише. Час спустя они ужинали при ярком электрическом свете и говорили уже совсем о другом. Здесь гул моря был совсем не слышен, вместо него на танцверанде гремело радио. Гриднев, который мог переплясать любого юношу, пошел туда, Этапин засел за свежие научные журналы, а Шорохов еще долго бродил по темным дорожкам. Долго ли танцевал Гриднев, что вычитал Этапин, какие стихи написал в ту ночь Шорохов и написал ли, это другой вопрос.

Утром на небе не оказалось ни облачка, но на пляж вопреки обыкновению пошли только двое: Этапин, который по утрам частенько позванивал в Москву, вернулся расстроенным, потому что ему сообщили о внезапном совещании, где, как он полагал, его присутствие было крайне необходимо. «Надо ехать, — пояснил он со вздохом. — Иначе, боюсь, мы и через год не увидим заказанную аппаратуру...»

Так Гриднев и Шорохов на несколько дней остались вдвоем, и если Этапин, который всегда охотно брал на

себя житейские заботы и больше ничем не выделялся, с самого начала показался поэту удобным, но необязательным приложением к знаменитости, то его отсутствие лишь усилило первое впечатление. Это задело любопытство Шорохова, которого особенности характера интересовали так же остро, как Гриднева загадки природы. Он еще мог понять интеллектуального приживальщика, каким выглядел Этапин, но отказывался понять Гриднева, который поддерживал такие отношения и при этом чувствовал себя безмятежно. Может быть, все было не так однозначно, как оно выглядело со стороны? Шорохов тем не менее спешил с выводами, что сама фигура духовного нахлебника представлялась ему куда более значительной и сложной, чем ее обыденный, так сказать, прототип. В конце концов, даже апостолы христианства, которые, собственно, и создали церковь, кормились плодами чужого ума.

Наконец Этапин вернулся с совещания, которое, по его словам, «прошло как надо», и тут же выложил свежий ворох академических новостей и сплетен, чем доставил Гридневу несколько веселых минут. Далее все пошло по-прежнему.

В жизни ничто не совпадает, но многое повторяется. Погода часто менялась, и неудивительно, что однажды выдался вечер, когда море снова гнало волны, закат был багров, берег пустынен и все трое двигались вдоль полосы прибоя. Все остальное было иным: облака не походили на клинопись, в песке нельзя было найти ни единой божьей коровки, и хотя волны взметались сильней, чем тогда, их ритм ни в чьей душе не отзывался ни стихами, ни научными фантазиями. С моря дул теплый ветер, надсадно кричали чайки, Гриднев и Шорохов шли впереди, переговариваясь о чем-то вполне обыденном, и только Этапин, как прежде, искал камешки, на этот раз с особым пылом и рвением, поскольку затихающий шторм мог принести из новой неподалеку выработки янтаря что-нибудь стоящее. Босые ноги Этапина порой скрыва-

лись в мутном накате, он отскакивал, стремглав возвращался, перетряхивал выброшенные на берег водоросли и только что не рыл носом песок.

— Муж, упорный в своих намерениях, — заметил Шорохов.

— Бульдозер, — кивком подтвердил Гриднев. — Такими любое дело крепко.

— И познание тоже?

— Станный вопрос! Он же ученый, или, как теперь принято говорить, научный работник.

— Признаться, он мне не показался таким, когда все требовало от него мысли.

— Это когда же?

— Когда обсуждалась идея морской цивилизации.

— А-а! Но это же так, умственный экзерсиз... Я тогда говорил не как ученый, значит, и Этапин не мог им показаться.

— Он что, как Луна, светит отраженным светом?

— Ничего подобного! — отрезал Гриднев. — Очевидно, я неудачно выразился. Этапин не светит и светить не должен, потому что он ученый-администратор. Совсем другая функция, ясно? Так вот к чему все эти окольные расспросы... Действительно, фигура новая, для вас, литератора, непривычная, как будто ученый и вроде бы нет — загадка! Нет тут загадки. Обычное следствие разделения труда, ничего больше. И знаете что? Такой, как я, романтик без Этапиных сейчас немногого стою... Да, да! Нравится мне это или нет, таковы обстоятельства.

— Можно подумать, что вы зависите от Этапина, а не наоборот!

— Зависит ли мозг от мышц и жира? Поверьте, это не пустая аналогия. Дни Ньютона и Менделеева, увы, миновали... Наука становится сложным организмом, и каждый из нас, теряя самостоятельность, превращается в клеточку ее тела. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. О, не думайте, Этапин по-своему весьма

изобретателен и умен! Только если я могу проявить себя и в околонучном споре, то он в этой ситуации бледен и жалок. Вот если бы я строго обосновал перспективную идею, поманил многообещающим результатом, тут, будьте уверены, Этапин бы развернулся, и на стадии осуществления плана уже я выглядел бы невзрачно. Как это у Пушкина? «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Сказано о каждом. Сейчас Этапину просто не к чему приложить свои способности, разве что к камешкам. Тут энергия, страсть — все при нем. Да вы взгляните!

Обернувшись, оба посмотрели на приземистого человека в закатанных штанах, который упорно рылся в песке, водорослях и гальке, тогда как вокруг гремело море. Странная ассоциация: Шорохову он на мгновение показался озабоченным гномом.

— Эй, — окликнул его Гриднев. — Как старательские успехи?

Чуть вздрогнув, Этапин приподнял голову, натянуто улыбнулся и развел руками.

— Бедно. Так, мелочь...

Взгляд Гриднева, рассеянно скользивший по мокрому песку, вдруг задержался и сузился.

— Мелочь, говорите? Ай-ай-ай... Ну, если вы считаете мелочью то, на что едва не наступили...

— Где? — Этапин обернулся и подскочил. — О-о!..

— Так как? — наивным голосом осведомился Гриднев. — Везет новичкам или я ошибся?

С тем же успехом, однако, он мог обратиться к морю, потому что для Этапина теперь, похоже, существовал лишь красновато блеснувший в его пальцах янтарь. У него даже руки тряслись, когда, счистив песок, он поднял камешек, чтобы взглянуть на просвет.

От внезапного вскрика шарахнулась ближняя чайка.

— Сюда.... Скорее сюда!

Гриднев недоуменно взглянул на Шорохова, тот — на Гриднева, и, опережая друг друга, оба скатились с отко-

са. Их ноги тут же лизнул пенный прибор, но им было уже не до этого. Предынфарктное выражение лица Этапина так напугало поэта, что он и не посмотрел на находку. Гриднев же выхватил янтарь, взгляделся и, как безумный, затряс головой. Ничего не понимая, Шорохов заглянул через плечо.

Часть поверхности красноватого, размером со спичечный коробок янтаря была матовой, что обычно для окатанных морем камней. Однако потертости не могли скрыть очертаний просвечивающего изнутри диковинного, с двумя саблевидными выступами по бокам челюсти, шипастого существа. Изображение казалось небрежно сотканным из светлых и темных прожилок, и эта своеобразная игра природы, из ничего создавшая грубоватый, но выразительный образ, поразила Шорохова. Однако не дала ответа, чем так потрясены ученые.

— Страгопитус... — рот Гриднева, казалось, свела судорога.

— Он, — свистящим шепотом отозвался Этапин. — Никаких сомнений...

— Но это невероятно!..

— И все же... Видите?

— Да, да...

С усилием приподняв руку, Гриднев подставил янтарь лучам закатного солнца. Тот налился красным, чудовище в нем, казалось, сверкнуло глазами.

— Какой красавец... — Этапин хотел улыбнуться, но вышла гримаса. — Поздравляю...

— Да объясните же, наконец! — взмолился Шорохов. — Что случилось?

— Многое, — все с той же, похожей на гримасу улыбкой Этапин обернулся к поэту. — Помните рассуждения о подводной цивилизации? Смело, безумно и... Доказательство в руках у Гриднева. Нет, какво? — Пьяно блестя глазами, Этапин хихикнул, но, пересилив себя, закончил строгим, даже торжественным голосом: — Короче, в «Нейчур» была фотография недавно открытого

глубоководного существа, портрет которого мы сейчас видим в янтаре. Отсюда следует, что это изображение скорее всего создано не человеком.

— Не человеком... — рука Гриднева с зажатым в ней янтарем упала. Он ошалело уставился на море. — Я сплю или... Цивилизация, которую я придумал, словно сама подкинула мне этот янтарь!

Шорохов отступил на шаг. Этапин зашелся в лающем смехе.

— Я искал, а вы нашли!.. Какая ирония, нет, какая ирония! Теперь это факт, а я-то, скептик, я-то!..

Его скорчило, он закашлялся и побагровел.

— Хватит! — вскричал Гриднев. — Что за истерика! Вы ученый или кто? Ничто не доказано, янтарь надо все-сторонне исследовать.

— Извините, — будто стирая что-то, Этапин провел по лицу ладонью. — Нервы... Завидую вам. Мне организовывать анализы или вы сами займетесь?

Казалось, Гриднев заколебался. Обдав ноги пеной и брызгами, с шорохом прокатилась волна. Никто не шевельнулся.

— Никаких «или», — с внезапным ожесточением проговорил Гриднев. — Во-первых, вы специалист, во-вторых, если бы не ваш поиск... Что же это такое, я уже сам себе не верю! Так материализоваться фантазия не могла, и все же это случилось...

— В жизни случается все, — тихо сказал Шорохов. — Тем более вероятное.

— Да, конечно... Берите эту чертовщину. Берите и расколдуйте.

Гриднев протянул янтарь, словно отстраняя его от себя. У Этапина задергалось веко.

— Так просто... — едва различимо прошептал он.

— Что? — не понял Гриднев. — Берите же, черт возьми!

Пальцы Этапина дрожали, точно готовились принять раскаленный уголь, взгляд рыскнул в сторону.

— Сейчас, сейчас, сердце...

Его рука все же продолжила движение, пальцы коснулись янтаря. И тут по ногам всех троих ударила волна, вскипела водоворотом, потащила ставший зыбким песок. Этапин находился ближе всех к морю, он покачнулся, рука с зажатым в ней янтарем нелепо вскинулась, и прежде чем кто-то успел опомниться, он рухнул в воду.

— Янтарь!.. Держите!..

Волна схлынула, но янтаря уже не было ни в подогнувшейся при падении руке Этапина, ни возле него на песке. Гриднев как был в одежде ринулся в море, Этапин по-крабьи пополз туда же, и несколько минут оба лихорадочно шарили по дну, словно потерю еще можно было вернуть.

Наконец, пошатываясь, оба выбрались на берег. Этапин кулем осел на песок.

— Я, я упустил!.. — повторил он, закрыв руками лицо.

— Что ж, море дало, море взяло, — только и сказал Гриднев.

Ни на кого не глядя, он двинулся прочь от моря. Шорохов долгим взглядом проводил его ссутулившуюся фигуру, над которой с криком реяли чайки, и подсел к Этапину.

— А теперь давайте сюда янтарь, — сказал он негромко.

Отпрянув, Этапин тупо уставился на поэта.

— Что?..

— Хватит вам, — устало поморщился Шорохов. — Все было ловко разыграно, но я видел ваше лицо и слышал ваш голос. Они лгали, об остальном было нетрудно догадаться. Янтарь должен быть у вас в правом кармане. Сами дадите или вам помочь?

Рыхлые щеки Этапина обвисли, он, не мигая, смотрел на море. Внезапно его рука шмыгнула в карман, вскинулась, и над серой водой сверкнул красноватый камешек. Набежавший вал принял его без следа и всплеска.

— Ничего нет, — без выражения сказал Этапин. — Нет и не было.

Шорохов пожал плечами.

— Вы ошиблись. Я не судья, просто мне хочется понять, что вас толкнуло. Зависть?

Этапин едва заметно покачал головой. В нем не осталось ничего от педантичного работника науки, в нем не осталось ничего от азартного охотника за камнями: на берегу сидел очень одинокий, очень немолодой и очень усталый человек.

— Сначала я хотел пошутить, да... Гриднев занесся тогда, страшно занесся! Кинуть несколько ослепительных идей, из ничего сотворить целый мир, ему забава... Ну и ладно бы, ну и пусть. Нет, ты еще будь для него боксерской грушей, спорь, отражай, а он тебя с ног, с ног! Так всегда с другими, со мной, публично... Я же не мальчик. Как оглянешься назад — боже мой, ничего-то своего нет, весь растворился, потратился на дела, о которых завтра никто не вспомнит. Для этого ли в науку шел? А тут Гриднев... Что ты на него работаешь, его идеи обслуживаешь, ему дела нет, так и должно быть, раз судьба тебя обделила. Все ему, все! Вот и сорвался... А уж когда он заглотнул...

— Достаточно! — Шорохов снял с себя куртку. — Накиньте, а то замерзнете... И хватит об этом. Остальное лучше вас своим «Моцартом» сказал Пушкин. Иная сцена, иные костюмы, а страсти те же... Подделать «доказательство», дать Гридневу выступить, исподтишка разоблачить, доконать не ядом — позором. Так? Гриднев «нашел» янтарь, не вы — хитро!

— Нет, — Этапин слабо усмехнулся. — Вы ничего не поняли. Трудно было сделать такой янтарь, еще труднее было бы доказать, что он подделка. Та самая проблема неразличимости, о которой говорил Гриднев! Что выдало бы мою руку? Рисунок сделан электронным лучом. Термография, след нагрева, и все. Так обработать янтарь

мог и не человек... Датировка изображения? Нет зацепки. Мое свидетельство? Не говорите глупостей...

— Но тогда зачем все?

Ответом был хриплый смех.

— Если Гриднев сфантазировал подводную цивилизацию, то я сделал куда большее: я ее материализовал! Никто, нигде, никогда не поднимался до такого...

— Точнее, не опускался, — быстро сказал Шорохов.

— Нет, нет, нет! — Этапин выпрямился. — Достижение со знаком минус все равно достижение. Тут абсолютная высота! Когда я это понял, когда понял... Я перестал быть собой.

— Кажется, я начинаю понимать, — медленно проговорил Шорохов. — И все-таки вас что-то удержало от последнего шага. Вы «потеряли» янтарь...

— Да... — голос Этапина осел. — Не смешно ли? Какой-то плюгавый грек в каком-то незапамятном веке сжег какой-то ничтожный храм и тем запомнился навсегда. А я, создатель целой цивилизации, остался бы прежним... Конечно, можно было приладиться к «открытию» Гриднева... Приладиться! Можно было и посмеяться...

— Гриднев и так получил сверх меры, — сухо сказал Шорохов.

— Но не так, как я хотел! Еще можно было, промолчав, обдурить все человечество... Такой соблазн, такие возможности!.. И не смог. За час я прожил целую жизнь, это как пережог... А, теперь все равно.

— Нет, — мягко возразил Шорохов. — Никому не все равно, что о нем подумают люди, иначе и вы не сказали бы мне ни слова. Вы смогли отбросить научную этику и переступили через мораль, но оказались в выжженной пустоте. Зря вы кинули янтарь в море: он был подлинным произведением искусства. Вот ваше истинное

достижение! Быть может, оно-то в конечном счете и удержало вас. Ведь подлое искусство так же естественно и невозможно, как голубой янтарь.

Этапин тяжело, с усилием встал. Сгорбившись, он долго смотрел на море, словно в извечном движении волн был ответ на все вопросы, в том числе и на вопрос, как жить дальше.

— Возможно, все так и есть, — сказал он с внезапным смешком. — Только вы плохо разбираетесь в камнях... Голубой янтарь, к вашему сведению, существует.

Солнца не было уже много дней подряд, с неба часто падал мокрый умирающий снег, бессильно ложился под колеса машин, которые, с шипением размазывая жижу и грязь, выхлестами брызг теснили прохожих к домам, таким же тоскливым и серым в непогоду, как мутный свет городского дня. После работы все спешили вжаться в автобусы и троллейбусы, ехали там, грея друг друга сквозь влажную ткань одежды, затем торопливо и молча растекались по домам, где их ждало ровное тепло батарей и привычное, как домашние тапочки, свечение телевизора.

Абогина вместе с другими автобус выплюнул на край тротуара и с надсадным подвывом покатил дальше, тяжелый, поскрипывающий, заляпанный грязью. Абогин, потянув носом воздух, замер. Небо было унылым и грязным, как вода после стирки, голые прутья сирени веником торчали над решеткой ограды, в промозглом воздухе тлел перегар бензина, но сквозь него, сквозь привкус грязи, сырой резины, металла пробивался смутный сигнал весны. Не запах — далекий, словно ниоткуда, зов весны был в воздухе!

Странно, еще утром весны не чувствовалось, Абогин был в этом уверен. Ветер с полей? И его не было. Вообще, чем пахнет весна? Талым снегом, клейкой землей, влажным теплом? Нет, нет, все это бывает и в ноябре...

«А ведь мы не знаем, чем пахнет весна!» Улыбнувшись, Абогин, как в детстве, отмахнул портфелем и с места перескочил мутную, шириной метра в два лужу. Нога чуть-чуть не дотянула, из-под каблука брызнул фонтанчик жижи. «Старею», — без сожаления подумал Абогин, как может подумать лишь тот, кому еще очень далеко до старости.

Стукнула дверь подъезда, навстречу вышел писатель, опустив голову, грузноватой походкой двинулся мимо Абогина. Они не были знакомы, хотя давно жили рядом, вернее, Абогин-то знал писателя, знал по его редким негромким книгам, у которых, однако, были свои почитатели, куда более зоркие и проницательные, по убеждению Абогина, чем все привычно ценящие привычное литкритики.

— Здравствуйте, Кирилл Степанович, — неожиданно для себя проговорил он.

— Добрый день, — приостановившись, писатель близоруко сощурился, от чего его крупное лицо застыло и напряглось. — Вы...

— Ваш сосед по дому, Игорь Абогин, — пояснил Абогин. — Но это неважно: читатель знает писателя, обратное не столь существенно. Просто у меня, если вы не очень торопитесь, небольшой к вам вопрос.

— Да, пожалуйста... Хлеб подождет.

Рука писателя машинально сунулась в карман пальто, где, очевидно, лежала авоська. Все как у всех, то ли с разочарованием, то ли с удовлетворением отметил Абогин. Что же его потянуло заговорить?

— Охотно провожу вас до булочной, хотя сомнительно, чтобы там сейчас был свежий хлеб, — сказал он.

— Ничего, нужен еще и сахар... Так в чем же вопрос?

— Однажды вы высказали ту мысль, что потребность самореализации так же сильна в человеке, как зов продолжения рода.

— Простите, это не я, — мягко возразил писатель. — То же самое было сказано задолго до меня.

— Верно. Но вы связали это свойство с всеобщим диктатом эволюционных закономерностей, которые заставляют растение взламывать асфальт, а человека выкладываться до предела. Чем, однако, тяга к самореализации может обернуться в будущем? Ведет ли она только к предельному раскрытию всех возможностей человека или к качественному преобразованию их самих?

— Хм... — замедлив шаг, писатель, как всякий попавший в затруднение курильщик, потянулся за сигаретами. — Курите?

— Спасибо, нет.

— И правильно делаете, — наклоненное к огоньку спички лицо писателя окурилось сизым дымком. — Преобразование возможностей? Что вы имеете в виду? Социальную сторону?

— Скорей психобиологическую.

— Тогда вряд ли. — Писатель покачал головой. — Мы сформировались самое меньшее сорок тысячелетий назад и с тех пор эволюционируем в основном социально. Не вижу, за счет чего в человеке вот так, сразу, могло бы возникнуть новое качество.

Абогин кивнул.

— В отдельном человеке нет, а как насчет человечества? Оно растет. Сто миллионов в палеолите, миллиард в прошлом веке, четыре с половиной миллиарда теперь, скоро может быть восемь и более. А количество должно переходить в качество. Или к нам это не относится?

— Так вот вы о чем! — Писатель отступил на шаг, словно Абогин внезапно укрупнился в его глазах. — Любопытно...

— Особенно, если связать это с другой вашей мыслью, — спокойно добавил тот.

— Какой?

— «Наука и техника внесли в нашу жизнь реальные для нас, сказочные для прошлых времен чудеса. Однако взгляды: все они, будь то звездный, на Земле, всплеск ядерной энергии или голографические, лишь осязанием отличимые от вещной действительности призраки, — извлечены нами из физико-химического уровня материи. Ничего равного этому нет в биологии, тем более в психологии. Но разве эти уровни материи беднее скрытыми возможностями, там меньше ожидающих своего часа тайн и чудес? Скорее наоборот. Они есть, просто наука

еще не подобрала ключа к более сложному. Вероятно, они даже напоминают нам о себе, как потрескивание на-тертого янтаря давало знать грекам об электричестве. Что толку! Инструмент науки еще слаб, чтобы уловить и понять эти сигналы. Будут «чудеса живого» и «чудеса психического», перед которыми, возможно, померкнут все нынешние, но это скорее всего случится не в нашем веке». Все правильно, Кирилл Степанович, только ведь это может случиться при нашей жизни! И не обязательно предусмотренным способом. Уран не концентрируется в природе до точки взрыва, а масса мыслящего вещества — та растет самопроизвольно. Какие возможности зреют здесь? Осторожней, промочите ноги...

— Ничего себе! — вырвалось у писателя. — Вы ученый, философ? Впрочем, неважно. Первый закон диалектики в приложении к демографии, так, так... С прибавлением скольких людей он может дать о себе знать и каким образом? Хм... Аналогично задаче, с какой песчинки куча песка становится дюной, а дюна... Ни с какой! Дюна не может сделаться горой, для этого песок должен превратиться в песчаник.

— Что и происходит, — заметил Абогин.

— Да, да, перекристаллизация личности под воздействием укрупняющейся массы человечества, я понял... Только в демографии ли дело? Мы прессуемся в городах — это фактор! В том же направлении действуют телевидение, транспорт, связь. Малосущественно? Кто знает... Да, самое главное! Мы живем в информационном поле, а оно быстро сгущается. Больше книг, больше знаний, невиданный прирост умственного труда, в реактор мысли подается все больше топлива и... Слушайте, в этом что-то есть! Как тут с переходом количества в качество? — Писатель взволнованно повернулся к мерно шагающему рядом Абогину. — Кипящий слой пока невелик, хотя и огромен для прошлого. Высшее образование не показатель интеллекта, сами знаете, сколько дураков с дипломами, но тут цифра хотя бы: им охвачено менее



процента всего человечества! Это на двадцать или тридцать процентов неграмотных! Ну а когда соотношение перевернется? Что тогда? Это вам не медлительная биология! Право, есть над чем задуматься...

— Стали тут истуканами, человеку и пройти нельзя! — пронзительно раздалось под ухом. Старуха с вострым лицом магазинной проныры возникла будто из-под земли, кошелка в ее руках мелко тряслась гневной дрожью, и было отчего: оба дошли до булочной, и, не заметив, перегородили единственный меж лужами подход. — Чего вылупился? Тебе говорю!

Осекшись, писатель смущенно попятился в лужу, Абогин, отступив, распахнул дверь.

— То-то же! Совести в людях нет. — Старуха, торжествуя, просеменила в булочную, и дверь с визгом закрылась за ней. Оба сконфуженно посмотрели ей вслед, затем друг на друга.

— Н-да, — проговорил писатель. — Такая вот диалектика...

— Кто знает, — пожал плечами Абогин. — Будущее идет скрытыми путями, как вы однажды заметили.

— Ну и память! — Писатель смутился, будто сам себе сказал комплимент, притушил окурок и поискал глазами, куда его деть. — Да, о чем мы? Хотите, зайдём ко мне? А то здесь как-то, знаете...

— Да, сыро, — Абогин посмотрел вокруг. — А все-таки пахнет весной.

— Разве? — Писатель тоже оглянулся. — Не похоже. Впрочем, у вас обоняние острее, не курите. Так как? Ах, черт... — его лицо сморщилось. — Сегодня ко мне должны зайти...

— Несущественно, это я должен извиниться, что задерживаю вас! И спасибо, вы уже ответили на мой вопрос. Обязательно напрашусь в гости, когда будет с чем! А пока разрешите поблагодарить.

— Разве я уже ответил?..

— Да, вполне. Всего вам доброго!

— И вам тоже...

Застыв на месте, писатель проводил Абогина долгим озадаченным взглядом. Станный читатель, странный... Какая резкая, всполошенная мысль! Как незаметно он меня к ней подвел, индуцировал ее, можно сказать, я-то разглагольствовал, а он смотрел... Словно издали, словно хотел лишь убедиться — в чем? Да, да, как же я сразу не заметил этого! Интересно, подошел бы он с тем же, допустим, к Бунину?! Стиль, психология, образ; ни слова об этом, будто вся художественность второстепенна! Неужели он вправду верит, что разум и только разум спасет, что однажды в будничныи день с человеком случится нечто такое... Вот что он проверял на мне, может быть, потому, что когда-то в чем-то оттолкнулся от моих мыслей. А теперь понял: отработанная ступень! Оттого и уклонился от приглашения. И если так — горько. Горько? Дети должны быть хотя бы умнее отцов, иначе какой к черту прогресс! Что ж, «здравствуй, племя молодое, незнакомое... приветствую тебя звоном щита»?!

Вздыхнув, он наконец нырнул в булочную, где старуха с вечно недовольным лицом склочницы подозрительно тыкала пробником во все подряд булки, батоны и четвертинки хлеба.

В это время Абогин уже входил в подъезд. Жалуясь, двери проскрипели вслед свою обычную ревматическую песнь, в которой ему всегда слышалось: «Ску-учно! Толка-а-ют! Спа-асу нет!» Войдя в квартиру, он сбросил отяжелевшую от сырости куртку, но вопреки обыкновению не сел за работу.

Что с ним? Зачем он заговорил с писателем и так неловко расстался?

Однажды кто-то из приятелей назвал его «помешанным скалолазом». Что ж, возможно. Он не помнил, когда и с чего это началось, казалось, он всегда гнал себя ввѣрх. Сам, нещадно, только цели менялись. И всякий раз думалось, что вот доберется, осилит, а там будет хорошо, навсегда безмятежно. Будет хорошо, когда он

сравняется в силе — нет, превзойдет! — всех мальчишек, чтобы ни одна сволочь из подворотни не осмелилась прицепиться. Тогда над изголовьем его кровати висел портрет Суворова, физически слабейшего из солдат, который так вышколил себя, что и под старость мог загнать любого. Каждодневными тренировками Игорь доводил себя до изнеможения, когда трудно поднять веки, не то что руки. А он еще шел к приятелям поиграть — и улыбался.

В конце концов его стали наперебой зазывать в спортивные секции. Но уже пришло отрочество со своими тревожными вопросами: кто я? Зачем? Ради чего все?

Конечно, не ради секунд в беге и сантиметров в прыжке. И тут оказалось, что средство, каким он добился однажды поставленной цели, завладело им. Он уже не мог не перекраивать себя, не мог не раздвигать пределы своих возможностей; то, от чего порой наворачивались слезы, дарило такую радость побед, что всякая иная жизнь казалась уже пресной и скучной. Только вверх! Только вперед! Найти ответы на все вопросы! Он и прежде много читал, теперь стал пожирателем книг. Чем сложнее, тем лучше: есть что преодолевать. Правда, вскоре он обнаружил, что сложность отнюдь не признак глубины. Но и этот опыт дал ему многое: оказалось, «мускулы ума» могут наливаться силой, как и обычные, это так же тяжело, так же трудно и так же радостно. Даже еще интересней! Теперь его целью стало пересоздание своих способностей. Ими природа наградила его так же скупое, как и физической силой. Кто-то, не прилагая особого усердия, блистал в классе по математике. По истории. По биологии. Был парень, чьи рисунки даже побывали на выставке. В нем, Игоре, никто не находил никаких талантов. Что ж... Недостижимого нет. Это говорил ему опыт, подтверждение он нашел в книгах. Выяснилось, что есть педагоги, в чьих классах все дети талантливо рисуют, или поют, или решают трудные математические задачи. Все! Дело в методике и ис-

кустве учителя. У Абогина такого учителя не было, зато у него был один-единственный ученик — он сам.

Года через три он стал побеждать на школьных олимпиадах, а его рисунками заинтересовались художники. К этому времени он понял, в чем же его талант: в умении самообучаться, в инстинктивном чувстве метода, каким любую, самую скромную способность, можно возвести в степень.

Главное, захотеть. В любом предмете, как бы скучно он ни выглядел, найти интересное, зажечь себя этим интересом, остальное вопрос времени и труда. Нет таких гор, которые не мог бы покорить альпинист, а что его ведет? Интерес.

Школа взывала, когда он объявил учителям о своем намерении перейти в ПТУ. Однако Абогин продумал и этот шаг. Он мог бы и сам хорошо научиться работать руками, но зачем тратить на это свободное время, когда можно тратить учебное? Да и мастерские ПТУ не чета той, которую можно завести дома. А умелые руки так же нужны в жизни, как и хорошо организованный ум.

Так он себя готовил. К чему? Отроческое желание «найти ответы на все вопросы» теперь казалось наивным. Для душевного спокойствия легко занять расхожие суждения обо всем на свете, тогда как найти окончательное знание невозможно и в бесконечной череде лет, ибо всякий ответ тянет за собой новые вопросы. Тут не понежишься на прокатных пуховиках, изволь быть восходителем!

Кризис юности так или иначе преодолевают все, общий поток подхватил и Абогина. Жить надо! Магнит веселья, успехов, любви сам собой притягивает молодость, и не до философий тут, когда в тебе бурлят нестрашенные силы, а жизнь разворачивает все новые восхитительные дали. Ценность жизни в ней самой, этой формуле и еж следует.

Я жизнью пьян.
Я пью и не могу напиться ее вином;
Меня дразнит и манит океан желаний...

Такие стихи Абогин писал в восемнадцать лет. Общий поток его подхватил и понес, но быть пловцом он не перестал. На математическом факультете он уже считался восходящей звездой. Ему было, в общем, все равно, куда поступать, ибо когда нет никаких особых талантов, кроме дара приумножения самих способностей, годится любой вуз. Все же были причины, почему он избрал именно математику. Во-первых, это не столько наука (у математики нет своего конкретного объекта исследований), сколько метод познания, значит, ее можно приложить к чему угодно. Во-вторых, математика пока в особом почете, значит, по этой дороге можно идти быстрее, чем по любой другой. В-третьих, в математике никого не удивляет ранний взлет (великий Галуа не дожил и до двадцати лет). Немалое преимущество, если учесть...

Но понимание того, что именно надо учесть, пришло к Абогину позже, хотя оно уже присутствовало в подсознании и, возможно, вело его, как тайный автопилот. А пока ничего такого сверхособенного Абогин в себе не замечал. Он жил и радовался жизни, только время еще более уплотнилось, ибо ко всему прежнему добавились свидания, турпоходы, работа в стройотрядах и многое другое. Он чувствовал, как его засасывает жадный интерес ко всему на свете. Стоило заметить на книжном прилавке толстенный том с непонятным названием «Адгезия», как рука сама тянулась к книге: что это такое? Любого могла оттолкнуть брошюра, на обложке которой значилось: «Общесоюзный классификатор. Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды». Там ничего не было, кроме перечня, но Абогин прочитал брошюру насквозь. Кто мог догадаться о существовании такой профессии, как «вздымщик»? А что означает «заготовщик подбор и гужиков»? «Сверловщик кочанов капусты» — он не подозревал, что профессии сузились на-

столько! Абогин радовался брошюрке, словно нашел золотую россыпь. Впрочем, это и была россыпь — для социолога, писателя, философа, лингвиста, для всякого понимающего человека.

Смешно подумать, он когда-то хотел все узнать, все постичь и подняться на все вершины! «Нельзя объять необъятное». А если хочется? Если он так привык? Если без этого радость не в радость? Отказываться? Превращаться в высоконаучного «сверлильщика кочанов»?

Нет. Упоение есть не только в бою.

Абогин научился быстро извлекать информацию — для этого не надо много книг, надо знать, где найти две-три книги, которые содержат в себе все главное, умное, свежее. Абогин научился думать непрерывно — в битком набитом транспорте, в очередях, в парикмахерской. Он научился владеть собой, своим настроением, как до этого научился владеть своим телом, проник во все секреты древних и современных приемов духовной тренировки. Оказалось, что даже сны можно сделать творческими.

И вот теперь молодой доктор наук, уже известный ученый, он, в сущности, не знал, что ему делать дальше...

И все из-за поразительной сверхудачи.

Это началось еще в школе. Однажды, задумавшись над статьей о свойствах лунной поверхности, он почувствовал, что в ней чего-то не хватает. Конечно! Он даже вздрогнул при этой мысли. Почему до сих пор никто не учел способность планетарного вещества испаряться в вакууме? Ведь все испаряется, а уж в вакууме, да под воздействием высоких температур! В лучах солнца лунное вещество должно подтаивать, как снег. Возгоняться, хотя, разумеется, не так быстро, как вольфрамовая нить электрической лампочки. Почему же никто не рассмотрел это условие эрозии лунной, тем более меркурианской поверхности? За миллиарды лет своего существования безатмосферные планеты должны были основательно похудеть. Насколько? Он задрожал от нетерпения. Это можно рассчитать, если известна скорость испарения камен-

ных пород в вакууме в зависимости от той или иной температуры. Возможно, таких цифр нет, кого они интересуют, но уж данные по вольфраму и другим металлам, конечно, имеются. Следовательно, кое-что можно прикинуть уже сейчас. Да, но где сыскать эти данные?

С минуту Абогин сидел, отрешенно глядя на настольную лампочку. Как вдруг перед ним словно раздвинулась завеса. Он увидел весь процесс от начала и до конца. Кто-то будто подсказал ему недостающие сведения, они зазвучали в нем как мерный, ниоткуда шепот. Он быстро схватил бумагу, страница за страницей стал покрывать вычислениями. И тут же понял, что исходная посылка ошибочна: ни Луна, ни Меркурий не будут худеть, потому что испарения их пород слишком тяжелы, чтобы улетучиться.

Все равно он не смог оторваться. Его словно нес какой-то поток. Это было чуть-чуть жутковато и захватывающе интересно. Камень планет испарялся, теперь он знал, как и насколько. Ничтожной дымкой зависал над поверхностью, чтобы ночью осесть атомарным инеем. Уже по одной этой причине поверхностный слой Луны, тем более Меркурия, должен был отличаться от всего известного на Земле. Хотя и на Земле идет этот процесс, только слабей, только иначе, сами того не замечая, мы вдыхаем запах испаряющихся на солнце гор!

Абогин не помнил, как доплелся тогда до постели. Только засыпал он с ощущением небывалого, поистине космического счастья. Оно сохранилось в нем, хотя наутро все заметки пришлось запихнуть в ящик. А что оставалось делать? Кто же примет статью от мальчишки, который даже не в состоянии объяснить, откуда взялись исходные данные!

С тех пор он не прикоснулся к заметкам, но его дни озарились, как если бы в ящике стола лежало перо жар-птицы. Так длилось несколько месяцев, пока однажды в свежем номере «Природы» он не обнаружил собственные расчеты. То есть, конечно, все было изложено иначе,

строго, академично, но ход мысли, расчеты и выводы совпадали...

Страницы журнала расплылись перед ним дрожащим мутным пятном, он вскочил, заметался по комнате, как ослепленная птица.

К счастью, чем невероятней событие, тем быстрее на помощь спешит здравый смысл. Кто-то другой додумался до того же самого? История науки полна примерами совпадений. Взявшиеся ниоткуда цифры? Вероятно, он где-то прочел эти сведения и благополучно забыл о них, а когда надо, они проявились в памяти, как это бывает сплошь и рядом. Все нормально, более того — превосходно! Ведь он как-никак своим умишком достиг того же самого, до чего додумался ученый. Пусть даже это было «изобретением велосипеда» — все равно! Может быть, он, Игорь, гений?

Он подошел к зеркалу и долго разглядывал в нем свое потрясенное, с детски припухлыми губами, лицо. Гений? Не то серые, не то голубоватые глаза смотрели испытующе, жалко. Теленок, просто одурелый теленок, и ресницы какие-то белесые!

И все-таки он сделал это. Сумел. Значит, сумеет еще не однажды...

А что, если это случайность? Что, если это больше не повторится?!

Страх был напрасен: это повторилось. Только он был уже не прежним мальчиком, а студентом. Теперь было кому показать работу и было кому порекомендовать ее в печать. Профессора ахали, благословляли, гордились и наставляли на путь истинный. Виданное ли дело! Сегодня работа по топологии, завтра — по теории чисел, а послезавтра вообще черт знает что — гипотеза, доказывающая, что звезды в своем движении по галактическим орбитам оставляют позади себя протонный шлейф! Пусть это свежо, убедительно, но нельзя же так разбрасываться! Нельзя, это скользкая дорожка к дилетантизму.

А Абогин не мог иначе. Не только потому, что его интересовало решительно все. Важнее было другое: не он управлял прозрениями, а они им. Все чаще и чаще его посещали далекие от математики идеи. Это случалось, когда он оставался один, когда его не тяготили заботы и можно было спокойно думать обо всем на свете. Тут-то в сознании и раздвигалась шторка...

Именно так: раздвигалась. Он вдруг начинал что-то различать. Вначале смутно, затем все ясней, словно то, о чем он думал, уже существовало в каком-то умственном измерении, надо было только пристально и неторопливо взглядеться. О, это было непросто, мозг изнемогал от напряжения, как мускулы альпиниста на крутизне, и затем, когда вершина была достигнута, наступала сладкая опустошенность.

Увы, войти в это состояние по заказу не удавалось...

Что ж, творчество есть творчество, озарение в нем как подарок. Но не таков был Абогин, чтобы смириться. Корова на лугу и та жует не бессмысленно! А тут? Не угодно ли: и ученый, и художник нередко с самого начала прозревают конечный результат, то есть знают то, чего пока не знают, и вот уже всем загадкам загадка — порой математик выводит новую формулу прежде, чем сыщет доказательство! Это известно, в философии для обозначения такой странности даже есть термин — антиципация, но никто этого не понимает. Вот, казалось бы, истина: мысль возникает, как кристалл в перенасыщенном растворе. Все вроде бы верно, без знаний шагу ступить нельзя, но тогда самыми удачливыми творцами должны быть эрудиты. А это далеко не так! Какими особыми знаниями обладал скромный чиновник патентного бюро Альберт Эйнштейн? Молодой, только что со студенческой скамьи Нильс Бор?

Возможно, Абогин удовлетворялся бы достигнутым и не терзал бы себя размышлениями, если бы его удовлетворяли собственные успехи. Увы! Привычка к жесткому самоконтролю возобладала. Для всех он был бле-

стящим молодым исследователем, а он уже поставил себе беспощадный диагноз: посредственность.

Именно так. Что статьи, что диссертации! Упорная, год за годом, работа над собой, бесконечное напряжение всех сил, а результат? Все несравнимо с тем, чего в те же годы добились Галуа, Эйнштейн, Бор.

Значит, смирись или снова бери умением любую свою способность возводить в степень. А как, если неизвестно, что именно надо совершенствовать? Творческая работа совершалась как бы помимо его воли, ума и желания: все поддавалось ему, только не это!

Еще хуже. Его в отличие от других все время куда-то заносит. Он математик, отчасти физик. Почему его так беспокоят совершенно посторонние идеи? Например, эта. Он совершенно не думал об алкоголизме, когда вдруг его посетила простая мысль. Разве только человек стремится одурманить себя? А кошка? Собака? Слон? Лошадь? У всех есть любимые наркотики. Выходит, сама эволюция встретила в млекопитающих эту потребность. Может быть, это побочное следствие какого-то эволюционного приобретения или просто ошибка, случайный сбой, который не уничтожился лишь потому, что животным эта особенность их биохимии ничем особенным не грозит: природных наркотиков мало, они встречаются далеко не на каждом шагу. Только человек мог снять ограничение, сделал это и навлек на себя беду. Заложная эволюцией мина сработала.

Почему на эту сторону проблемы обращают так мало внимания? Социальные меры могут сбить пламя, но источник огня останется. Чтобы его обезвредить, нужна тончайшая биохимическая операция!

Что ж, неужели переквалифицироваться в биохимика, генетика, эволюциониста? А как тогда быть с множеством других идей и разработок? Кто в наши дни может быть универсалом? А если может, то как это примут специалисты? Чтобы один и тот же человек с одинаковым успехом работал и в астрофизике, и в медицине, и еще,

допустим, в лингвистике, в экологии? Чепуха, этого не может быть, такой человек просто дилетант, если не хуже!

А ведь он, Абогин, уже видел подступ к биохимическому разрешению проблемы алкоголизма... И к разрешению множества других.

Это пугало его самого. Такого не может быть! Не может быть такой всеобщей, что ли, гениальности. К тому же неподконтрольной. Нет, нет, он ошибается, все его вне физики и математики идеи ложны! Ведь за пределами своей специальности он и в самом деле дилетант.

Но что это?! Некоторые, лежащие в его письменном столе разработки стали появляться в печати. Все повторялось, как тогда, в школе. Он думал над тем же, над чем думали другие, и думал верно. Значит, это возможно — быть универсалом?!

Конечно. Считается, что всякая наука имеет свой объект исследования. Это верно, но так же верно другое: всякая наука имеет дело со всем мирозданием, просто каждый ученый рассматривает мир с точки зрения своей науки, видит его сквозь призму своих методов и теорий.

Вдобавок его, Абогина, ум не единственный. Кто-то обязательно должен набрести на те же идеи, заняться теми же разработками. Потому что истина объективна; не будь Эйнштейна, теория относительности все равно была бы создана.

Все верно, только очень и очень непонятно. Как он, дилетант, мог идти ноздря в ноздю с биохимиками, экологами, техниками? Без лаборатории, без экспериментов, без достаточной информации?

Так он вышел на главную загадку своей жизни. И впервые в жизни испугался препятствия.

Было чего пугаться. Ящики перестали вмещать рукописи, и в тот памятный, год назад, вечер он устроил генеральную чистку. На дне одного из ящиков он обнаружил ту школьную работу об испарении каменного вещества планет и приложенный к ней журнал. С того давне-

го времени он ни разу не заглядывал ни в рукопись, ни в журнал, а тут пролистал их с тем чувством, с каким взрослый человек смотрит на трогательные или печальные реликвии детства.

И вдруг его бросило в жар. Тогда от растерянности и ошеломления он не обратил внимания на одну строчку журнальной публикации, теперь она бросилась в глаза: «...Так как данные о скорости испарения пород в вакууме отсутствовали, то для их получения была разработана и поставлена серия экспериментов».

Отсутствовали! Абогин зажал рот, чтобы не закричать. Тогда, в детстве, он ниоткуда не мог их вычитать!

Что же происходит?! Он выкрал эти цифры из чьей-то памяти?! А может, не только цифры? Может быть, все, что он сделал в науке, это...

Так он долго сидел и раскачивался, как от боли. Вор, пусть и невольный, — вор?! Канат оборвался, он с вершины летел в пропасть.

В трудную минуту человек либо борется, либо отступает, третьего не дано. Пожалуй, у Абогина все началось не со спорта, а со страха и боли. У него рано стали портиться зубы. Его отвели к врачу, усадили в кресло, и надсадно жужжащий бор врезался в больное дупло. И мальчик тут же потерял сознание. Не от боли: бывает, что и взрослые здоровые мужчины падают в обморок при обычном уколе. Перепуганный врач кое-как привел Игоря в чувство. Попробовали снова рассверлить зуб: Игорь снова потерял сознание.

Вот когда он рассердился на себя, на свое тело! Он потребовал, да, именно потребовал, чтобы его снова отвели к врачу. Вцепившись в подлокотники, жмурясь от беспощадного света рефлектора, он ждал боли, ждал страха, обморочного пота и в ярости приказывал себе: «А ну давай, сволочь! А ну схватимся!..» Он шел навстречу страху и боли, насмерть дрался с тем темным и обморочным, что в нем поднималось...

Не сразу, но он победил себя. Быть может, с этого преодоления все и началось.

И в тот ужасный вечер он не изменил себе. Минутная слабость, не более. Он вскочил. Идти навстречу, только так! Победить, во что бы то ни стало победить то темное, непонятное, что открылось в нем, а может быть, в окружающем мире!

Так Абогин погнал себя к новой вершине, где все было крутизной, неизвестностью, мраком.

И вот окончен подъем...

Абогин подошел к окну, за которым, как прежде, серело и моросило и машины на улицах, ныряя в лужи, обрастали усами брызг.

Дальше-то что?

В домах напротив зажигался свет, пока еще бледный, не озаряющий проемы, отчего казалось, что глубины квартир семафорят друг другу. Желтый рожок люстры, красный конус торшера, зеленый прямоугольник настольной лампы — комнаты, будто флажками, сигналили друг другу о начале вечерней жизни своих обитателей. И где-то там, за окнами, быть может, за тысячекилометровыми пространствами Земли находились те люди, которые невольно для себя рассеивали окрест напряжение своих мыслей... Только он, Абогин, единственный в мире, знал об этой их особенности, такой необычной и, надо полагать, неведомой для них самих.

Теперь знал.

Все люди, как альпинисты в связке, только одни тянут вверх, другие — вниз, одни наращивают нить, другие ее рвут. Число, разнообразие таких взаимодействий бесконечно, как бесконечна вселенная людей, лишь наивный или ограниченный ум считает, что сверх известного тут нет ничего. Еще как есть! То, что в конце концов открылось Абогину, возможно, было не самым удивительным, хотя любая телепатия по сравнению с этим выглядела неверным и жалким отблеском истины. Атмо-

сферное электричество незримо, пока не сверкнет молния. А что такое творчество, как не протяженный, миг за мигом все озаряющий разряд мысли? Появись у психологов свой «грозоотметчик Попова», он прежде всего откликнулся бы на эту бурю, а вовсе не на лабораторные попытки угадывания, что задумал или нарисовал другой человек. Нет у психологов даже такого «грозоотметчика», не было его и у Абогина. Ну и что? Человек сам по себе наичувствительнейший инструмент, этим он и воспользовался. Какой-нибудь дистанционный эмоционализатор, может быть, появится лишь в двадцать первом столетии, но и питекантроп прекрасно угадывал чувства других. Кстати: эмоции вроде бы выдает мимика лица, но тогда как мы определяем настроение кошки, чьи мускулы скрыты шерстью? А ведь мы точно знаем, когда она сердится, когда оскорблена или, наоборот, довольна, даже если не шелохнется ни один волосок и щель зрачка остается недвижимой.

Был ли Абогин особо восприимчив от рождения, или он так оттренировал свое мышление, что оно превратилось в сверхчуткий инструмент восприятия? Он не подслушивал чужие мысли, тут оказалось иное. Никто никогда не думает в одиночестве, что бы там ни твердил личный опыт. Дарвин разрабатывает свою теорию, а тем временем на другом конце земного шара к тем же выводам приходит Уоллес. Читая статью Лобачевского, Бойяйя в первую минуту не сомневается, что его идею неевклидовой геометрии украли! Есть разобщенные мыслители, но нет одиноких, всякое творчество коллективно в пространстве и времени, и тут, как и везде, неизвестного куда больше, чем познанного.

Для Абогина многое прояснилось: он не подслушивал мысли, он невольно улавливал напряжение работы чужого ума и, уловив, также невольно включался в нее. Возникал эффект сомышления, и какой! Толпа пересекает мост, тот не шелохнется. Стоит, однако, согласовать шаг, войти в резонанс, как он рушится. Вне таблицы

умножения дважды два способно стать чем угодно, вот в чем дело!

Эффект сомышления! Постепенно он научился входить в резонанс с чужими мыслями, научился им управлять, то подстраиваясь к неведомому ансамблю, то действуя как организатор и дирижер. Теперь он свободно подключался к разрешению любой проблемы, если... если над ней работали вполне определенные люди. Способные к сомышлению, о чем они сами не догадывались, и, само собой, творческие. Однако далеко не каждый талантливый исследователь, как он убедился, обладал нужным свойством. В той же мере оно было производным какой-то иной способности. Но какой?

Казалось бы, это не имело особого значения. Не у всех есть голос и не все обладатели голоса — певцы, здесь то же самое. Кого это волнует? Никого, если не брать в расчет, что творческий потенциал сомышления, как в том убедился Абогин, во столько же раз превосходил обычный, во сколько раз ядерная энергия мощнее химической.

И ведь к этому шло! В последней четверти двадцатого века уже стал недостаточным прежний уровень творчества, слишком много надвинулось срочных, трудных, грозных проблем, слишком многое зависело от их быстрого и успешного разрешения, — судьба всех. Поэтому усовершенствованием творчества занялись всерьез. Поэтому возник метод «мозгового штурма». Поэтому начался поиск принципов формирования таких исследовательских коллективов, в которых талант отдельных участников не складывался бы, а умножался. И все это было отдаленным приближением к тому, что открылось Абогину.

Мощь сомышления превосходила все известное. Это было восхитительно и ужасно, Абогин похолодел, представив себе возможные последствия. Ведь сама по себе мысль не более чем инструмент, одинаково пригодный для достижения звезд и для всеуничтожения очередной

сверхбомбой. А сомышление еще и непознанный инструмент, рычаг, с легкостью готовый свернуть что угодно.

Вдруг вспомнилось. Позади рабочий день в стройотряде, тишина вечера, они лежат в нагретой траве, глядя, как к горизонту клонится розовый безмятежный диск солнца. И в этом покое, какой был задолго до человека, в умиротворяющей дреме заката, раздумчивый, для себя, голос сокурсника, который мечтательно — зрачки в желтых глазах сошлись в неподвижную точку — смотрит на солнце: «Эх, вмазать бы туда ракетой, чтобы диск в осколки...» — «Да зачем?!» — «А так, для интереса... Чтобы колебнулось...»

Мимолетная блажь, пустая дурь воображения, а вот вспомнилось и окатило тревогой. Кто эти люди, в чьих руках оказалась пока неосознанная ими сила? Что у них за душой?

От окна повеяло холодом. Абогин вздрогнул. «А что за душой у тебя? — спросил он себя. — Ум, воля, что еще? Никого близкого рядом, один. Любишь ли ты ту магазинную прониру с крысиными усиками на сморщенном востроносом лице? Ни в коем случае. Ненавидишь? И этого нет. Жалеешь? Возможно. Холодно на вершине, голо. А что должно быть? Не знаешь... Все живут обычной жизнью, а ты слишком долго, упорно, трудно карабкался в гору, теперь вокруг пустота. Что, если такая же пустота окружает тех? И нет в ней точки опоры?»

Он прижался к окну. Снаружи все уже стало сумраком, всюду ярко горели огни чужих квартир, в стекле нечетко отражалось его собственное, напрягшееся, как для боя, лицо. Позади стыла тишина пустой комнаты.

Резко грянул телефонный звонок. Абогин замороженным движением снял трубку.

— Слушаю...

— Привет, старик, не хочешь повеселиться?

— А что такое?

— Премия привалила. За ту работенку, ты знаешь... Тут все, и девочки ждут.

— Поздравляю.

— Спасибо. Так хватай колымагу — и ходу!

Действительно, почему бы и нет? Сколько уже было таких вечеров и таких компаний?

— Извини, не могу, срочная работа.

— Так впереди же суббота и воскресенье!

— Да, и еще весна.

— Какая еще весна?.. При чем тут весна?

— Сам не знаю. Но времени нет.

— Ну, как хочешь... Привет весне! Как ее, кстати, зовут?

— Надежда. А может, Любовь.

— Ну, ну... Желаю успеха.

Телефон замолчал.

Мог ли в компании, куда позвали, оказаться кто-нибудь из тех? Вполне. Они ходят по тем же улицам, едят тот же хлеб, получают — или не получают — премии. Все как у всех.

Неужели он никого не найдет?

Они неразличимы в компаниях, они неразличимы на улицах, они неразличимы на своих обычных рабочих местах, иначе бы он, верно, уже кого-нибудь обнаружил. Ведь их немало. Они различимы, когда творят, они различимы, когда... Когда что?

Дурак, какой же дурак! Разве творчество связано только с познанием, с изменением внешнего мира, разве там узел проблем? Легче воскресить человека после клинической смерти, чем после духовной. Иной раз проще повернуть реку, чем помирить очередного Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Вывести человека в космос, чем понять его. Что ищешь, то и находишь, а где, когда и что ты искал? В науке, в одной лишь науке эксперимента и чисел! А вокруг? Там, в человеческой вселенной, где все незримо, пока не становится поступком, улыбкой, канцелярской бумагой, чертежом звездолета, песней или выстрелом в спину. Творческое сомышление, да? А может, еще и сочувствие? Сверхсознание?

В принципе новое качество того, другого и третьего с очередным знаком плюс или минус?

Твоя вершина, быть может, лишь часть хребта, а ты ее, дотоле неведомую, посчитал единственной!

Абогин слабо улыбнулся своему отражению в стекле, всем окнам, какие горели в этот час повсюду, везде. Решение принято. Год или месяц, десятилетие или жизнь займет новый поиск, какая разница? Упорства ему не занимать. —

«Если я не ошибся, — загадал он, — если наутро будет весна, то...»

Он не ошибся, наутро небо расчистилось и стало весенним, запоздавший апрель в считанные дни спешил проделать всю положенную ему работу. Однако прошло еще много тусклых и солнечных, летних и зимних месяцев, прежде чем Абогин вышел на последний подъем. Неважно, что к этому подъему его подвезла самая обычная пригородная электричка, неважно, что дорога, по которой он теперь шел, плавно огибала некошеные склоны холмов, в разнотравье которых знойно гудели пчелы, ныряла в лес, где над непросохшими лужами роились бабочки и все стонало комариным звоном; неважно, что он не знал, куда, собственно, ведет эта дорога. Он позвал, и его позвали, так было надо. Он не торопился. Размаривающе, после города неправдоподобно пахли луговые цветы и сырая земля, и ветерок, который с обочины кивал ромашками, нес пух одуванчиков и, ероша листву, то затенял все легкой тенью кучевых облаков, то просеивал сквозь листья яркие блики солнца.

Так дорога вела мимо полей, деревенских изгородей, за которыми среди белых кур с фиолетовыми отметинами на хвостах расхаживал такой же инкубаторский, но оттого не менее горделивый петух. Абогин без колебания следовал ею. Лишь иногда он приостанавливался на развилках, но всякий раз что-то подсказывало ему направление. Странно, он даже не удивлялся своему выбору, хотя кого-нибудь из тех было бы логичней встретить

в городе. Им было виднее. Та новая человеческая общность, которая возникла и к которой он теперь принадлежал, лучше знала, что нужно ему и всем. Ведь это был не один ум, не одна душа. Несущественно, что никто никого пока не знал в лицо, что готовящаяся встреча была первой и пробной. Общность никого ни к чему не принуждала, такой власти у нее не было, но ее частички уже нуждались друг в друге, уже искали себя, и кто-то первый должен был проверить, как все это получится. Место не имело значения, просто тот, другой, намеченный общим согласием, не мог сейчас далеко отлучиться, а Абогин мог. Вот он и шел на свидание, самое невероятное из всех, какие только были в веках.

Но ведь и сама жизнь с ее телевизионным межконтинентальным зрением, грибами ядерных взрывов, оживлением людей после смерти и уже достижимыми далями других планет была невероятностью для людей всякого иного века... Неважно, что он шел лугами, по которым татарская конница некогда волочила связанных детей и женщин, брел перелесками, из-за которых рубились удельные князья, дорогами, которые едва не подмяли фашистские танки. Хотя нет, это было важно, необыкновенно важно! Предки отстояли эту землю для него, для всех, теперь о ней должно было позаботиться его, иначе вооруженное поколение.

Было уже под вечер, когда из потемневшего леса дорога вывела Абогина на опушку. Красота далее заставила его остановиться. Луга и рощи спадали к реке, голубея с каждой верстой, и над этой прозрачной дымкой завис неяркий, безмятежный, как все вокруг, малиновый шар солнца. И не было ничего особенного в этой всхолмленной синеве, в этом ясном вечере, в зубчатой гряде леса, которая темно врезывалась в дальний горизонт, дорожная пыль привычно пахла мягким теплом, и вдоль обочины, как прежде, белели ромашки, и тихие по сторонам березки были все теми же родными, знако-

мыми, близкими, а сердце забилося, словно все это было впервые.

Темная неспешная фигурка показалась вдали, обозначилась за изгибом дороги, густая трава скрывала ноги, придавая движению невесомость. Человек близился, укрупнялся в свечении вечера, и все же оставался тоненьким, хрупким, и, когда расстояние сократилось, Абогин с замиранием сердца признал в нем девушку. На ней была кофточка, брючки, все рабочее, выгоревшее, лишь на голове свежо белел венчик ромашек, она шла открыто, бестрепетно, зная, как до этого шел сам Абогин.

«Ах, кабы она была добра!» — пронеслось и подумалось в нем теми словами, которые были сказаны задолго до него, совсем в другом веке, но которые теперь были как нельзя кстати.

Именно они нужны были сейчас. Девушка смотрела с робким доверием, ее ноги переступали все медленней. Но так было, пока Абогин не сделал к ней шаг. И тут, хотя разделяющее их расстояние не исчезло, все было сказано так же полно, как если бы они провели вместе всю жизнь. Им не надо было знакомиться, они давно знали друг друга, как могут знать только те, кто предназначен друг для друга. При этом они были не одни, они это тоже знали, но то была не помеха, а помощь, чтобы враз слетело все наносное, внешнее и каждый вернее понял другого.

Смуглое от солнца и ветра лицо девушки дрогнуло радостным изумлением, и оно сменялось счастливой уверенностью, пока Абогин к ней шел. С той же счастливой уверенностью Абогин обнял ее узкие плечи. Она подавалась к нему, и оба повернулись к застывшему кругу солнца. Не было сказано ни слова. Волосы девушки пахли ромашкой, сеном недавней косовицы, пылью дорог, лодочки маленьких ладоней заглубели, твердо очерченная тканью грудь приподнималась при вдохе, сначала частом, затем все более успокоенном, словно до этой ми-

нута девушка бежала, а теперь замерла, глядя на раскаленный, такой земной и близкий в вечерней дымке и одновременно космический шар солнца.

«А где же все? — прижимаясь к ее плечу, мысленно спросил Абогин. — Я их чувствую, но я их не вижу». — «Смотри со мной вместе, — донесся ответ. — Теперь получится».

И он впервые увидел тех, кто думал с ним вместе. Молодые, старые, красивые и некрасивые, но одинаково бережно-внимательные лица промелькнули в нем и исчезли, однако теперь это уже не имело значения. Сколько их в мире, уже осознавших себя! Себя, свое предназначение и силу, которая крепнет и будет расширяться в веках.

Все исчезло, не осталось ничего, кроме голубеющих далее родной земли, закатного солнца, девушки с ромашками в волосах. Надолго ли быть чистому воздуху, простору трав, самому человеку? Этому миру грозило многое, но и многое его защищало. Справимся, уже с уверенностью подумал Абогин, справимся! Мы не «дети конца», мы резерв будущего.

Девушка кивнула в ответ.

— А ведь мы даже не знаем имен друг друга, куда ж это годится! — сказал Абогин, смеясь.

— Какая разница? — она улыбнулась. — Мы есть...

Их руки нашли друг друга, так замерли. Солнце наконец коснулось горизонта, как оно это делало уже миллиарды лет и будет делать еще миллиарды раз, безразличное ко всем детям Земли и тем не менее всему дающее жизнь.

Прежде смотр перед зеркалом то повергал в уныние, то давал утешение, но теперь самый-самый тщательный и придиричивый исключал всякую надежду. Не лицо, какая-то надутая клякса! Из зеркального пространства на Лену с отвращением смотрели неопределенные, то ли серые, то ли голубоватые глаза, а невзрачный нос и детски припухлые щеки густо усевала рябь веснушек, словно в лицо брызнули грязью, которая так ржавыми пятнышками и засохла. У-у!.. Хороши были, пожалуй, только шелковистые, плотным шлемиком облегающие лоб волосы. Но этим как раз и утешают дурнушек — что у них красивые волосы. Или глаза.

При мысли о глазах изображение в зеркале притуманилось от набухших слез. Ну почему, почему у нее такие *никакие* глаза? И в придачу веснушки... В чем, перед кем она провинилась, что у нее *такое* лицо?!

Сморгнув слезы, Лена попыталась начать все сначала. Улыбнулась сама себе, но добродушно заиграла только детская, на щеке, ямочка, отчего улыбка и вовсе получилась идиотской. Нет, лучше строгость. Лена свела губы в ниточку. Глаза из зеркала посмотрели недоверчиво и зло. Лена задержала это выражение. Так лучше, конечно, лучше, особенно губы. Может, девчонки и врут, а может, и правда, будто целованных от нецелованных можно отличить по губам. Сейчас никто не скажет, что ее ждет первое свидание, надо только еще надменной откинуть голову, придать себе равнодушный вид...

Да это же просто гримаса! Вымученное, в грязи веснушек лицо... Лена едва нехватила кулачком по стеклу. Нет, нет, нет! Как ни сжимай губы, как ни строй лицо, прет веснушчатое, девчоночье, пухлое. У, в кого только уродилась такая!

Теперь на нее смотрело обмякшее, растерянное, жалобное лицо. Просто жалкое. И в носу щекочет, только этого не хватало — захлюпать. А, пусть... Дура, прилетела вчера, как на крыльях. Встретила: он! Миша, Мишка, Мишуня, имя-то какое ласковое, уютное, теплое... И сам родной. Не верила в любовь с первого взгляда, а вот... И он, кажется, тоже. Ой, мамочки, как все глупо! Чему обязана счастьем? Да вечер же был, сумрак, лица толком не разглядеть, случайно столкнулись, слово за слово, допоздна проговорили запоем, а как-то будет теперь, при свете дня?

Дурнушка...

Дальше оставаться наедине с собой было невозможно. Лена вылетела на улицу и шла, ничего не видя от слез. Опомнилась, когда на переходе от нее шарахнулось пустое такси. Услужливая, с мгновенной реакцией кибермашина, вильнув, на всякий случай тут же распахнула дверцу — мол, к вашим услугам, не угодно ли? Лену обдал запоздалый холодок испуга, она кинулась к тротуару.

Тенисто, пусто. Зачем и куда идти? Все без разницы. Былую Лену широкие и удобные плитки тротуара позвали бы попрыгать на одной ноге или что-нибудь нарисовать завалившимся в кармане мелком. Точка, точка, запятая, вот и рожица кривая... Ой! Все, теперь взрослая, вот она, светлая юность, живи и радуйся...

Ноги несли сами собой. Куда? Никуда. Вдруг в зыбкой прорези листвы мелькнула вывеска. *Та самая*. Ноги приросли к плитняку. Нет!.. Да. Глухо тукнуло сердце. Она же не хотела, даже в мыслях такого не было! Хотела, коли пришла. Остался последний шаг.

Биопарикмахерская.

Вот оно, осуществимое право на... Золотом по лазури: биопарикмахерская. Все просто и буднично. Даром что последнее достижение прикладной науки; обычная вывеска, стеклянная дверь — заходи. Новинка, от которой пугливо, стыдно и сладко познабливает внутри. Еще

недавние ожесточенные споры, всеобщий девичий переполох, робкое: «Но пользуются же косметикой, салонами красоты...» И презрительное в ответ: «Сравнила помаду с протезом! У кого свое есть, тот не побежит шариком, как некоторые...» — «Ага! — врезается ехидный мальчишеский голос. — Смятение в стане надменных красоток, их грозят затмить синтетички!»

Обожгло это слово: «синтетички». Так и засело, хотя уже многие, хотя уже мода... Кругом слышишь: надо быть современной! И что тут особенного? Ведь равенство же, простая, наконец, справедливость... Не только женщины, мужчины пользуются, лишь голопузая мелюзга еще дразнит друг друга: «Тичка-птичка, синтетичка, наша новая жиличка, глазки из алмаза, вся из плексигла-са!»

Кроткий вздох матери: «Не в красоте счастье...» Ей легко говорить, уже старенькая...

Взять и переступить. Ноги не идут...

Из дверей в облачке ароматных духов выплыла женщина с лицом повелительницы богинь и такой сияющей улыбкой, что Лена ослепленно зажмурилась. Мимо торжествующе простучали каблучки. Затихли вдали. Втянув голову, Лена нырнула в дверь.

Здесь было сумрачно после улицы, и Лена с размаха едва не налетела на кадку с фикусом. Все плыло перед глазами, обморочную мглу прочеркивали какие-то разноцветные огни, в ней колыхались смутные силуэты и звуки тоже сливались в размытый гул.

— Сюда, сюда, деточка, — наконец дошел мягкий женский голос. — В мою кабину, пожалуйста...

Лена ухватила за него, как за канат. Туман в глазах рассеялся, но когда это произошло, она уже сидела в кресле перед зашторенным черной материей зеркалом, а сзади хлопотала мастерица.

— Это зачем... черное? — не слыша себя, тупо спросила Лена.

— Зеркало-то? Закрываем его до конца преобразова-

ния, а как же! Пока пирог не готов, ты же не подашь его гостям... Умница, что зашла, в человеке все должно быть прекрасно. Не так ли? Головку сюда, немного левее.

Что-то щекотнуло затылок. Одновременно темя охватил гибкий обруч, и хотя прикосновение было мягким, даже как будто нерешительным, Лена почувствовала, что кресло прочно завладело ее головой.

— Пойдите, я же еще ничего не сказала!..

— А зачем говорить, говорить не надо, все скажут приборы. — Лена видела только пухлые, быстро мелькающие руки мастерицы и слышала ее уютный голос. — Вот, генограмма готова, теперь твое слово да наш совет, как лучше сделать.

— Может...

— Сейчас, сейчас покажу все фенотипические варианты! Если какая модель понравится, можешь, конечно, взять и готовую, но не советую, не советую, тут, учти, индивидуальная нужна подгонка, вкус то есть, мы здесь как раз для этого, иначе, чего проще, зашел в автомат, нажал кнопки, чик-чик — и красуйся! Мило, да фальшиво... Не-ет, дорогая, к генограммам да феновариантам искусство нужно, глаз женский, наметанный, понимающий. Верно?

Научные термины мастерица произносила с особым удовольствием, как бы смакуя их звучный и величественный смысл. Но Лена почти ничего не слышала, ибо к ее коленям откуда-то сбоку скользнул экран, и то, что в объеме, движении и цвете там возникало, все эти сменяющие друг друга, такие разные и, однако, неуловимо схожие лица были замечательными, но совершенно, совершенно чужими!

— Как, все это... мое? — пролепетала Лена. — Мне?

— Конечно, деточка, конечно! У тебя *изумительно* пластичный фенотип, просто прелесть. Загляденье выйдет, век будешь благодарить... Ну, что мы выберем?

— Но это же не я! — воскликнула Лена. — Не мое лицо!

— Ах, девочка, если бы ты знала, сколько так говорят! И все ошибаются. Ведь человек сам себя никогда по-настоящему не видит. Смотрелась в зеркало, да? Ну и глупышка. Перед зеркалом нет лица, есть выражение.

— Да, но...

— И что видишь теперь — тоже не лицо, а модель, образец, заготовка. Все, все сделаем, твое будет лицо, только эстетизированное. Эстетизированное, понимаешь?

Лена кивнула и вдруг расплакалась, потерянно и беззвучно, как покинутый в горе ребенок.

Мастерица сокрушенно вздохнула.

— Ну вот... Ничего, доченька, поплачь, жизнь без слез что лето без дождика. Тоже, помню, в молодости горевала, как косу резала, слезу пустила, дуреха. Нет, детонька, хочешь быть красивой, будь модной. Ты мне, старой, поверь: отсюда не в слезах уходят, а в радости.

— Ах, вы не понимаете...

— И-и, милая, женщине ли не понять женщину! И хочется, и колется, и мама не велит. Так? Так. А почему не велит? У самой дочка, знаю. Рожала как-никак, воспитывала, мое, до последней родинки, дите. И чтобы оно... Вот мы какие, мамы. Еще подружки ревнивые. Ну ясно, и самой в первый раз страшновато. А как же, всяк себе бережет... Ничего, все образуется, перемелется — мука будет. Я тебе что скажу...

Проворным движением надушенного платочка она промокнула чужие слезы.

— ...Я тебе вот что скажу. Дело в том, доченька, что мы, женщины, всегда мечтали об этом. Ну да... Причёски, косметика, платья, обновки, соображаешь? Мы же не елки, чтобы всегда одним цветом. Мы женщины, нам нравится надо. А природа, она же дура, ей все равно, какой ты уродилась. И вот, наконец, к нашим услугам наука, эстетика, биопарикмахерская, а мы... Хуже нашего только мальчишки родеют.

— Как, неужели...

— Чистая правда! Один даже... Умора! Ну, не буду рассказывать, о клиентах, сама понимаешь, ни-ни. А ты молодец, уже и глазки распогодились... Так да чем остановимся?

— Ой, мне только чуть-чуть, самую малость! Ну там, на ваш вкус, немного подправить...

— Верно, милая, верно. Личико у тебя и так славное, много не надо, здесь тронуть, там подубрать... Уж я сделаю, глаз у меня такой. Ведь главное в нашем деле что? Наука, скажешь. Оно конечно, только в каждом случае еще изюминку надо найти. Таковую, чтобы красота заиграла. Без этого, будь ты трижды ученая, — фук выйдет, модная картинка получится, а не женщина. Курсы эти, генетика там, эстетика, премудрость всякая, а как до дела дошло, сразу поняли, что к чему, и нас, дур, ценить стали. На нашем искусстве все и держится. Так-то!

Говоря все это, мастерица не прерывала работу, ее руки сновали, она что-то двигала за спиной Лены, что-то включала и выключала. Экран потух. Тихонько зажужжали какие-то сервомеханизмы, кресло плавно откинулось, в глаза ударил яркий свет лампы, но тут же сверху наплыла громада серебристого колпака, чмокнули, коснувшись лба, присоски, прикрывая лицо, выдвинулся щиток, на вид прозрачный, как забрало космического шлема, однако все вокруг сразу притушилось, и теперь, полулежа, Лена различала лишь смутную белизну потолка. Затем в это туманное пространство вдвинулось неясное женское лицо, проворные пальцы укрепили на шее холодящие кожу контакты, зажимами прихватили мочки ушей, зачем-то огладили подбородок. Лену охватила мелкая противная дрожь, которую она силилась и не могла унять.

— Сейчас в моде египетский разрез глаз, — задумчиво проговорила мастерица. Ее расплывчатое лицо колыхалось перед щитком как белесая медуза. — Ты как? Генотипу не противоречит.

— Нет! — Лена едва не рванулась.

— Спокойно, спокойно, — на плечо легла мягкая рука. — Моя обязанность предложить, сама понимаешь, мода. Не надо так не надо. Сейчас, сейчас подумаем, вчерне композиция уже готова... Губы почетче, верно? Строже. Глаза подсиним, сделаем весенними...

— Да, да! А веснушки?

— Сгармонизируем.

— А их нельзя... совсем?

— Можно, дело совсем пустяковое. Стоит ли?

— Да. Да!

— А может, просто притушить, поубавить? Оно, ясно, твоя воля и замыслу не противоречит, только в них есть своя пикантность. Давай сделаем лишний эскиз, ты посмотришь, сравнишь...

«Само собой!» — чуть не сказала Лена, как вдруг вспомнила о времени и похолодела. Который час?! Что, если уже... Сердце ухнуло. Щиток оставлял внизу узкую прорезь света, и Лена, рванув руку, в панике метнула взгляд на часы.

— Нет, нет, пожалуйста, поскорей!

— Как, совсем без примерки? Правила...

— Тогда совсем не надо! Пустите!

— Ну что ты, что ты, разве я не понимаю... Ждет, да? Мигом сделаю. Сама была молоденькой, тут лови!

Кажется, мастерица подмигнула. Ее лицо исчезло. Опять какое-то перещелкивание, слабый, как от перебираемых инструментов, лязг, низкое гудение тока. Лена, напрягшись, молила всю эту технику поспешить.

Что-то, будто муравей прополз, щекотнуло шею.

— Будет больно, скажи.

Словно тысячи крохотных иголок разом кольнули щеки, нос, губы, лоб, проникли вглубь, дошли до сердца, впились в мозг.

— Больно...

— Потому что быстро. Терпи, красота требует жертв. Все же мастерица, видимо, что-то сделала, так как

болезненное покалывание расплылось теплом. Оно делалось все горячее и горячее, точно под кожу затекал расплавленный парафин. В этой жаркой маске Лена было перестала ощущать лицо, затем внезапно почувствовала, как оно потекло. Хотелось крикнуть, напрячь мышцы, но губы не повиновались. Они текли. И щеки тоже текли, все плавилось, глаза щипал багровый туман, тело казалось бесчувственным придатком оплывающего лица, сердце стучало в какой-то оглушенной пустоте и там же жалобно бился безмолвный крик: «Мамочки, мамочки, мамочки...»

Минута, час, вечность? Внезапно все кончилось. Лицо ощутило живительный ветерок. Изнутри его еще колело и жгло, но мускулы уже повиновались, кожа осязала прохладу, в глазах исчез едкий туман, только справа отчего-то ныли два или три зуба.

— Все, деточка, моментом управились... *Он будет доволен.*

Щиток отплыл вверх, спинка кресла подалась вперед, держатели разомкнулись, проворные пальцы сдернули контакты, Лена, не веря себе, ощутила свободу.

— Сейчас, сейчас. Зажмурься.

По лицу сверху вниз скользнула влажная салфетка. Брызнуло облачко духов, лицо снова придавила салфетка, так повторилось дважды, причем запах всякий раз был иным.

— Готово.

Порывистым дрожащим движением Лена ощупала нос, губы, щеки, сомневаясь и убеждаясь, что это они.

— Да ты лучше в зеркало глянь...

Шторки с шорохом разошлись. Лена так резко подавалась вперед, что едва не столкнулась со своим отражением.

— Ах!..

— То-то же, — удовлетворенно сказала мастерица.

Лена ее не услышала. Она впиалась в зеркало, она наслаждалась собой. Что лучше — голубыми звездами

сияющие глаза? Изысканный и строгий, уже совсем не детский овал губ? Гладкая, без единой веснушки, кожа? Намеком темнеющий румянец щек? Да можно ли привыкнуть к такому во сне не грезившему лицу?! Поверить в него? Все вроде бы то же — и будто кто-то живой водой смыл все ржавое, бесцветное, пухлое...

— Мое, — Лена схватилась за щеки.

— Красавица ты моя! — Мягкие пухлые руки нежно прошлись по ее волосам. — Про свидание не забудь.

— Ой!

— И приходи через месяц, повторяю или что-нибудь лучше придумаем...

Но Лены уже не было в кресле.

По той же, что и прежде, улице она не шла — плыла, летела, и тело было невесомым, и воздух блаженным, и солнце забегало за угол, чтобы лишний раз выскочить навстречу, и тень листвы играла в догонялку, и каждый прохожий, девушка это чувствовала, хотел ее улыбки, и Лена чуть смущенно несла эту улыбку через весь этот огромный, счастливый, прекрасный мир.

У фонтана на площади было так многолюдно, что она слегка растерялась. Перед ней замелькали лица тех, кто ждал, кого ждали, просто гуляющих, ее закружила легкая толчея движения, говора, смеха, ее провожали взглядами, это было ново, волнующе, но, поглощенная нетерпением, она тут же забыла об этом. Она стала у кромки бетонной чаши с прозрачной лазоревой водой и попыталась принять безучастный вид, но ей это не удалось. Впервые она так открыто ждала свидания, впервые стояла так на виду, ей хотелось и сжаться в комочек, и, наоборот, распрямиться под взглядами. Глазами она искала его, сначала ожидающе, потом уже нервно, так как минуты шли, а он все не показывался.

Но это было не так. Он пришел даже раньше назначенного, вначале стоял у кромки того же бассейна, а когда время прошло, не выдержал и в разрез толчи устремился вокруг места свидания, всюду ища, быть мо-

жет, затерявшуюся в многолюдстве девушку с милым, единственным в мире лицом, прелестной россыпью золотистых веснушек и ласковым взглядом неярких глаз, от которого вчера так тревожно и сладко замирало сердце. Он дважды прошел вдали, их взгляды дважды соприкоснулись, но и она не узнала его — он тоже, не веря в себя, побывал в биопарикмахерской. Но все еще было впереди. Он продолжал искать, все приближаясь к ней, она смотрела во все глаза, и встреча лицом к лицу была неизбежной. Им еще предстояло разглядеть друг друга и узнать, что же все-таки значит для любви та или иная внешность.

Наступало время сменяющихся, как платье, лиц.

Мы ладили снасть, на наших послеобеденных лицах читалось твердое намерение уловить кита, Кувакин же сидел на берегу озера и тосковал над посудой. Ему нравились белые звезды водяных лилий, босые ноги молодого, но уже прославленного ученого пощипывали доверчивые мальки, ленивый ветерок материнской рукой поглаживал озеро, оно жмурилось солнечным блеском зыби, словом, мир был прекрасен, как в детстве, а в руки предстояло взять сальную тряпочку, макнуть ее во что-то невыразимо химическое и пройтись ею по гряде жирных тарелок, кастрюлям и сковородам, для чистки которых более годился отбойный молоток.

В довершение всего безобразия мимо тарелочного бастиона с палочкой в зубах прошествовал Нес, существо столь же праздное, сколь и аристократическое. Рыжая шерсть колли горела медно-красными нитями, вальяжно помахивая пышным хвостом, пес зазывал кого-нибудь поиграть.

Занятого делом Мишу Кувакина он проигнорировал.

— Полным-полно бездельников, — гроыхнув кастрюлей, процедил Кувакин. — В добрые старые времена псам, между прочим, давали вылизывать тарелки.

— После чего их стерилизовали в атомном реакторе, — немедленно отозвался хозяин пса, критик по профессии и по натуре, такой же рыжеволосый, как и его мохнатый друг.

— Их, то есть псов, — уточнил Кувакин и макнул чашку в воду. — За что я люблю гуманитариев, так это за четкость формулировок!

— Каковая любовь, — отпасовал критик, — надеюсь, спешествует мытью посуды. По-моему, ты уже утопил ложку...

— Нет, я пустил ее отмокать от критической желчи... Несик, поди сюда, бедный пес! На твоём месте я бы обиделся. Твою благородную слюну считают антигигиеничной. Говорят, химия лучше. В этой компании физиков и лириков только мы понимаем друг друга. Для всех прочих живая природа — это...

— Это лещ! — радостно подхватил критик.

Ох, не стоило ему так шутить, нет, не стоило. В душе всякого творческого человека дремлет ребенок, а ребенок, вооруженный плазмографами и геноскопами, это, знаете ли, чревато, поэтому не будите его, если можете! Как и любой из нас, к дежурному мытью посуды Миша относился философски и даже с юмором, поскольку в наш век автоматизации быта такое занятие, при всей своей непривлекательности, имело привкус экзотики и возвращения к сельской простоте, до которой столь охоч современный, утомленный электронным комфортом горожанин. Но лещ! Замечено, что, если человек чего-то недобрал в детстве, к тому он будет стремиться взрослым. Миша никогда прежде не замирал над танцующим в воде поплавком, и теперь, вкусив рыбалки, для лучшего улова был готов сам себя насадить на крючок. Увы, рыба не считалась с научными знаниями и заслугами. Право, можно было подумать, что она вступила против Кувакина в заговор. И удочки одинаковые, и наживка, но сосед выволакивает красавца за красавцем, а у тебя, выдающегося геноинженера, можно сказать, творца и повелителя всего живого, берут лишь головастые ершики да сардиночного размера плотвички. А лещ, благородный килограммовый лещ знай себе чмокает в близком, удилищем дотянуться, камыше и злорадуется. Тьфу!

Тем не менее выпад критика, казалось, не произвел должного впечатления: чмокнув губами, Миша выпустил чашку и воззрился в пространство.

— Гм... Лещ, что есть, в сущности, лещ? Тупомордая, пасущаяся в водорослях некоторым образом корова.

А что есть, предположим, Нес? Бездельник и тунеядец, что вполне отвечает латинскому «канис», то есть «пес», ибо когда в древнеримском небе появлялся Канис, иначе созвездие Пса, школьников распускали по домам. Отсюда, кстати, пошло простое русское слово «каникулы». Собака и отдых, выходит, связаны круговой порукой. Для чего еще предназначена собака? Охранять, добывать, пасти, вылизывать тарелки. Но коль скоро лещ функционально близок корове, а мы отдыхаем, то... Нес, почему бы тебе не заняться лещом? Ах, не можешь, природа не велит! И зря. Спрягать надо, сопрягать, как говаривал Лев Толстой, а не бегать с палочкой.

— Перегрелся, — меланхолично прокомментировал критик. — Типичный синдром окоlesiцы. Лечится внеочередным дежурством.

— Просто ему не хочется мыть посуду, — улыбаясь в бороду, возразил наш главный рыболов, склонный, как многие представители точных наук, к рациональному мышлению физик. — Ему не хочется мыть посуду, а хочется идти с нами. Миша, мы не злодеи, мы подождем. Только ты не слишком тяни...

— Угу, — сказал Миша и ринулся на штурм тарелочного бастиона.

Но мысли его, похоже, витали далеко, ибо пару тарелок он умудрился помыть дважды, хотя отнюдь не принадлежал к тем ученым, которые вместо галстука завязывают на шею подтяжки. Мы терпеливо ждали. Ветер перешептывался с березами, стрекозы, зависая, демонстрировали свое вертолетное первородство, Нес выплюнул палочку и со вздохом улегся у ног хозяина, благоухающий травами мир явно не нуждался ни в поправках, ни в усовершенствованиях. Кувакин ожесточенно скреб сковороды. Его привычные к лабораторной работе руки сами делали свое дело, и вот уже последняя, блеснув, улеглась в ведро. Мы поднялись и затопились.

Вскоре берег ошетинился удочками. Я оказался ря-

дом с Кувакиным и, конечно, мог бы сохранить для потомства все оттенки его переживаний в эти исторические, как потом выяснилось, минуты, но, рыбака, на это никто не способен. Да и что, собственно, наблюдать? С одной стороны, рыболов — это уж не человек, а придаток к удочке, а с другой стороны выловить судака — это, как верно заметил Чехов, слаще любви. Лещ, разумеется, не судак, но и тут за хорошую поклевку всякий готов продать душу. А природа! В погожий день к закату все успокаивается, на воде лазурь и жемчужный румянец, над головой беспредельное небо и тишина, только плещется рыба да под ухом звенит комар. Но, право, когда клюет, все это видишь боковым зрением, и даже не выясняешь, какой именно комар на подходе — обычный кровопийца или недавно созданный усилиями геноинженеров, питающийся соками миролюбец.

Впрочем, чего рассказывать? Первым, как главному рыболову и положено, леща вытянул физик; так себе лапоть, немногим больше ладони. Он его оприходовал в кулан и стал ждать продолжения, которое не замедлило последовать. Я тоже выловил парочку и мечтал о большем. У Кувакина тем временем на крючке соплей повис очередной ерш-малолетка. Мишу при всей его выдержке передернуло, и он еще на полшага вдвинулся в озеро. Ясно было, что в ту минуту лещ для него значил куда больше любой генетики.

Солнце уже садилось, освещая все мягким церковным светом, когда — ах! — Мишина удочка вдруг изогнулась дугой, и в воздухе титановой чешуей блеснул широко распластавшийся, размером с добрую сковороду лещ.

Мгновение было так прекрасно, что я забыл о своем поплавке. Подобно большинству собратьев, лещ, казалось, не имел ничего против небольшой воздушной прогулки и, тугодумно подлетая к растопыренным Мишиным пальцам, даже не пошевелил хвостом. Беззвучно кричащий рот Кувакина был полуоткрыт, пальцы уже

коснулись добычи, и тут лещ с видом философа, который случайно затесался не в ту компанию, снисходительно глянул на Мишу, повел плавником и... Лениво плюхнувшись в воду, он на мгновение вытаращился из глубины, будто осведомляясь, чего еще надо этому тупице, который так непочтительно отрывает пожилого леща от ужина и попутного лицеизрения мира во всех его апперцепциях. Ей-ей, это было у него на морде написано!

Подавленный Мишин вопль взвился к небу, и леска, описав крутую дугу, едва не подцепила Кувакина на крючок.

— Ух, красавец! — Физик даже причмокнул. — Ничего, не расстраивайся, — добавил он тут же. — Лещ вкусная, но уж очень костлявая рыба. Хотя бы вы, генетики, их усовершенствовали...

Умеют же сердобольные люди посыпать солью раны!

Свекольное лицо Кувакина побледнело, взгляд затуманился, как у леща.

— Мой кот, между прочим, — пробормотал он ни к селу ни к городу, — бежит на кухню, стоит кому-нибудь случайно задеть его миску...

— Да? — удивился физик. — Ну и что?

Вместо ответа Кувакин зачем-то свел ноги, наклонив ухо, издал ботфортами скрипящий звук и еще более задумался.

Мысль подобна розе: черт знает из чего она вырастает! Не легче догадаться, к чему она приведет — к термоядерной энергии или к термобигудям, к межпланетному кораблю или к летающей мухобойке. Одно с другим, конечно, несоизмеримо, но еще вопрос — возможно ли одно без другого.

Мне доводилось слушать Кувакина на таких конференциях, куда без докторской степени и зайти неловко. Должен заметить, что Кувакин на кафедре и Кувакин на рыбалке — два разных человека, настолько разных, что назвать первого Мишей кажется не более возмож-

ным, чем похлопать Дарвина по плечу или попросить Аристотеля отскоблить сковороду. И то сказать — сработами геноинженеров сейчас связана надежда раз и навсегда разрешить проблему пищи для всего человечества, поскольку теперь благодаря Кувакину всякий знает, с какого конца надо браться за дело. Ведь что такое искусственная пища? Продукт, синтезированный из воды, воздуха и минеральных солей. Это, разумеется, химия, но что мы едим сейчас? Тот же леб, в сущности, не что иное, как превкусная комбинация углерода, воды и щепотки солей. Дорога проторена миллионы лет назад, продукт превосходен, ну и двигайся дальше! Генозародыши, непрерывная подача в клеточную массу воды, воздуха, энергии и всего прочего, и, пожалуйста, в заводской камере зреют, скажем, персики, бочком к бочку, с быстротой скатерти-самобранки, хоть сейчас подавай к столу. В той же перспективе и все остальное, включая бифштексы (подробней смотри монографию М. А. Кувакина или популярное в любом журнале изложение его идей). Но лично для меня М. А. Кувакин все-таки Миша, и я пишу о том эпизоде его жизни, который наверняка не войдет в хрестоматию. И зря! Наука отнюдь не парад глубокомысленных гениев, все эмоции которых сводятся к попеременному возгласу «Эврика!» и выбеганию нагишом из ванны.

В то лето рано похолодало, и мы вскоре разъехались по домам (замечу, что Миша с того вечера ни разу не закинул удочку). Однако год спустя он сам призывал всех на то же озеро, и хотя некоторые возражали — зачем это, когда есть много новых замечательных мест? — его просьбу уважили, поскольку за ней явно что-то скрывалось.

И точно. Все шло как год назад, но лишь до того дня, когда Мише выпал черед мыть посуду. Тут его поведение стало таинственным: тарелки, сковороды и кастрюли он зачем-то отнес глубоко в озеро, расставил их в ряд, после чего приволок похожий на автоклав

сосуд, в котором временами что-то сипело. Этот сосуд заинтриговал нас, еще когда Миша втаскивал его в палатку, но на все наши шуточки и расспросы Кувакин отмалчивался с улыбкой оперного Мефистофеля. Натурально, мы все, включая Неса, грудились на берегу.

Наконец запор шелкнул, крышка откинулась.

— Ну, маленький, выходи, — сказал Миша, наклоняя сосуд.

Хлынула водяная струя, и с ней вместе в озеро скользнуло какое-то темное, разлапистое тело, которое никто толком не успел разглядеть, так быстро оно исчезло.

— М-м... — Брови физика удивленно поползли вверх. — Кажется, это рыба?

— Отчасти, — сухо проговорил Миша. — Отчасти это рыба.

— Извини... А зачем?

Вместо ответа Миша присел на бережок, вытянул поудобней ноги, светло взглянул на небо, затем на озеро, мельком покосился на часы — все с таким видом, будто ждал привычного свидания с русалкой, которая, как все женщины, конечно, запаздывает, но без которой мир тоже неплох.

— Ага... — пробормотал он наконец.

Крайняя тарелка качнулась. Нес попятился, у критика отвисла челюсть. Существо возникло — в тарелке. Плоско вращаясь в ней и разевая пасть, оно ее чистило! Взвивались хлопья, похожее на целаканта страшилище подхватывало их на лету. Откушав с одной тарелки, оно устремилось к новой.

— Бог мой! — простонал критик. — Наука спятила, разбегайся кто может, Миша, родненький, может быть, это и выдающееся достижение, но зачем...

— Затем, что еще не вечер, — хладнокровно пояснил Кувакин и потрепал холку прильнувшего к нему пса. — Главное сейчас что? Научиться лепить живое вещество, как глину. А если при этом монстр помое

посуду, то тем лучше. Есть возражения? Нет возражений.

— М-да, — взъерошил бороду физик. — А из чего оно?..

— Из всего. Ген оттуда, ген отсюда, сами скоро поймете.

— Миша, — голос критика дрогнул. — Если в нем есть хоть один ген человека, я тебя утоплю.

— За что? — кротко сказал Кувакин. — Между генами человека и генами рыб, кстати говоря, нет никакой принципиальной разницы.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что и человеко-рыба...

Кувакин приятно улыбнулся.

— Да, ну и что тут такого? Надо будет — и сделаем.

— Пошли, Нес, — дернул головой критик. — В пустыню, в пустыню, пока нас всех тут не переделали!

Однако он почему-то не сдвинулся с места. Монстр тем временем залез в кастрюлю.

— Глядись-ка, что делается! — ахнул кто-то за нашими спинами. — Ох, курва-ябеда, никак скоро кастрюлями можно будет ловить!

Подошедший был тощ, сутуловат и в летах. Бродни, долгополый плащ с капюшоном, самодельно усовершенствованные удочки вкупе с длиннющими, как у сома, порыжелыми усами на обветренном всеми погодами лице выдавали в нем настоящего, не нам чета, рыболова, чьи добродушные, с хитринкой, глаза словно позаимствовали у воды ее голубоватый изменчивый блеск.

— Да что же вы, тащите, пока не ушла! С глубины окружай, с глубины... Мать моя, да это никак лягва! Нет, не лягва...

— Монстр это, — вежливо пояснил физик. — Рыба такая для чистки посуды.

— Монстр? — сомнительные усы рыболова вскинулись под углом в девяносто градусов. — Это как понимать?

Ему объяснили как. Он недоверчиво выслушал, хлопнул себя по голенищам и, закрутив головой, рассмеялся, отчего все его задубелое лицо рассыпалось мелкими морщинами,

— От, мать-кузьма, до чего, значит, наука доперла! А руки-ноги оно мне часом не откусит? Нет? Ну, доброго вам улова... Как он там, клев, ничего?

Он удалился, посмеиваясь в усы. Монстр взбурлил воду над последней сковородой и с неожиданным проворством стрельнул в камыши.

— Утекло твое чудище, — сказал критик. — И даже ручкой не сделало.

— Ничего, — спокойно ответил Миша. — Пусть поадаптируется.

— Гм, — задирая ладонью бороду, проговорил физик. — Между прочим, мне завтра мыть посуду. Оно как?..

— Лень как двигатель прогресса, — с презрением сказал критик. — Полным-полно бездельников.

— Да, — гордо возразил физик. — На том стоим. Не будь таких бездельников, вы до сих пор сидели бы в пещерах. Миша, — обратился он к Кувакину, — послушай, а как вы тут решили проблему...

Они удалились, обсуждая какие-то тонкости, которые для непосвященного столь же малопонятны, как марсианский язык. Вглядываясь в воду, мы же еще некоторое время постояли на берегу, но монстр больше не появился, и мы в конце концов вернулись к своим обычным делам, благо наука давно приучила нас ко всяческим чудесам и отпущенный нашему поколению запас эмоций изрядно поубавился. Монстр так монстр, мало ли их было, если чему тут и удивляться, так явной никчемности затеи.

— Нет, — покачал я головой. — Такое не делается шутки ради, за этим страшилищем что-то кроется...

— Если оно ночью залезет в палатку, чтобы почесать мои пятки, я спущу на него Неса! — с аплом-

бом пообещал критик. — Уж он, будьте уверены, до косточки разберет эту генетику!

Спускать Неса, однако, не пришлось. Кто не знает летних ночей на озере? Все дремлет и спит, только вечные звезды, мерцаая, двоятся в заводи, смутны очертания берез, черны стрельчатые вершины елей и оком смотрит на них бирюзовая Вега да чертит свой путь одинокий спутник, разом окидывая взглядом свысока и росный берег, и сонный камыш, темную гладь, и пока еще робкую, над болотцем седину предутреннего тумана.

Спали и мы.

Нас поднял человеческий вопль и неистовый лай нашего пса. Взметая полог палатки, мы выскочили в чем были. Выходило невидимое в тумане солнце, но все уже было пронизано им, и в этой желтой клубящейся мгле, стоя по колено в озере и воздевая руки, возвышалась кричащая фигура вчерашнего рыболова.

И было отчего вопить: из воды, гребя не то лапами, не то плавниками, высывался монстр, в пасти которого шевелился премного изумленный всем этим лещ. Отталкивая руками воздух, рыболов пятился от этого наваждения, а оно деловито настигало беднягу. С берега на обоих оглушительно лаял Нес.

— Прекрасно! — потирая руки, воскликнул Кувакин. — Берите, берите, оно не кусается! Кто рано встает, тот леща обретет.

— А-ва... — отвечивал рыболов. — Ва...

Пожав плечами, Миша зашел в воду, принял у монстра леща, взвесил в руке и с улыбкой засунул его дрожащему рыболову в карман плаща.

— С почином вас!

Выпученные глаза рыболова мигнули.

— Эт-та, то есть как?!

— А очень просто, — Миша покосился на дергающийся в кармане хвост, проводил взглядом удаляющегося монстра и победоносно сполоснул руки. — На суше у

человека есть собака, а в воде ее нет, хотя она там очень нужна. Вот мы и сделали монстрика, чтобы он выполнял функцию каниса... Когда вы зашли в воду, сапоги проскрипели, а у него и на это выработан рефлекс. Он словил леща и, как собака подноску, принес его вам. К сожалению, это не тот стервец, что в прошлом году сорвался у меня с крючка, но ничего, ничего, еще не вечер!

— А посуда?! — оторопело вскричал физик. — Ведь он же...

— Ну, это так, для забавы, надо же было вас поразвлечь, — глянув на наши очумелые лица, Миша затрясся от хохота. — Нет, вы и вправду подумали?..

— Я извиняюсь! — судорожно хватаясь за карман и темнея лицом, рыболов шагнул к Мише. — Это, если я вас правильно понял, вы для улова всюду хотите этих ублюдков понапускать?!

— Именно! Правда, когда мы создадим синтетическую пищу, нужда в них, наверное, отпадет. Но пока хозяйству требуются подводные псы, и вот вам их первый образчик.

— Значит, вся рыба коровкою станет, и эти страшилища... — свистящий шепот рыболова пресекся, его вздернутые усы полыхнули рыжим огнем. — Ах, курваябеда! — воскликнул он сорвавшимся голосом. — Да ты же нам рыбалку приканчиваешь! Жисть нашу сокрушаешь! Рыбалку с удочкой, на заре, мелочь играет, птички поют... Эх!..

Трясущейся рукой он выдрал из кармана леща, плюнул на него, не глядя, и с отвращением шваркнул Кувакину под ноги.

— На, подавись! Теперь, значит, я с удочкой, а ко мне этот рыбий пастух... Не хочу! Сам ты монстр! Сам!!!

— Послушайте, — выдохнул Миша. — Пос...

Но рыболов повернулся к нему спиной и, сутулясь, побрел к берегу, может быть, последний, кому на скло-

не лет довелось посидеть с удочкой над вольной, как прежде, водой. Его устало шаркающие ботфорты оставляли в траве темный след.

— Да, Миша, — опустил голову физик. — Что было, того уже не будет, прежней рыбалке конец. Но ты не расстраивайся, он как-нибудь привыкнет...

Спина рыболова удалялась, растворяясь в тумане. В воде тихо покачивалась забытая удочка. За камышами что-то гулко плеснулось, возможно, щука, а может быть, монстр. Было самое время клева.

Конечно, подумал я, рыболовы уж как-нибудь приспособятся, на то они и люди. И «подводный пес» нужен. А все-таки не стоило будить в нашем друге ребенка, нет, не стоило...

Неприметная дверь бесшумно выпустила человека в темноту пологой улочки. На противоположной ее стороне, левее и ниже по скату булыжной мостовой, светились окна полуподвальной харчевни. Оттуда тянуло сытным запахом подлив, в неясном шуме голосов позвякивали стаканы. Косые полосы света стремглав пересекала кошка: из мрака на человека настороженно глянули ее фосфорические зрачки.

Выждав с минуту, тот зашагал прочь от харчевни. Где-то за саманными стенами лениво брехнула собака. Ее призыв был подхвачен, и нестройный лай долго сопровождал прохожего. Высоко в кипарисах нырял бледный серпик луны.

На перекрестке человек свернул к центру и через полчаса очутился в той части города, где парад роскошных витрин по обе стороны проспекта то и дело прерывался угрюмыми фасадами правительственных учреждений и банков. Здесь, на глазах многочисленных прохожих, в предательском свете фонарей и ярких мазках рекламы он повел себя странно. Задержавшись у стенда с афишами, он вытянул из-за пазухи листок бумаги с неясным текстом и, ловко орудуя клейкой лентой, залепил им обнаженную грудь актрисы. Сделав это, он засунул руки в карманы и постоял секунду-другую, словно оценивая работу. Пока он возился и разглядывал, мимо прошло человек пять, и двое из них, явно заподозрив что-то неладное, ускорили шаг. Но никто не остановил расклейщика, никто не сказал ему ни слова, будто ничего и не было.

Через квартал все повторилось. Неподалеку вздыхал фонтан, полицейский на углу дирижировал стадом

фыркающих автомобилей, по асфальту дробно стучали каблучки женщин, на скамейках за живой оградой тлели сигареты, а человек делал свое дело так, словно считал себя невидимкой.

У решетки сада его настигли торопливые женские шаги. Она прошла мимо, обдав запахом духов и пудры, мелькнуло ее напряженное, с черными провалами накрашенных губ лицо, и он услышал срывающийся шепот: «Здесь полно шпиков, идиот!»

Он благодарно улыбнулся. Женщина стремительно уходила вперед, привычно и устало поводя бедрами. Скоро ее светлая кофточка растаяла вдали.

Город был его союзником, он знал это и раньше. Все же приятно получить подтверждение. Даже если оно исходит от проститутки. Особенно если оно исходит даже от проститутки.

Но среди прохожих, среди пыхающих сигаретами мужчин и мелодично щебечущих девушек таились, разумеется, и враги. Чей-то пристальный взгляд рано или поздно приклеится к нему. Рано или поздно. Уж скорей бы это случилось...

Он повесил еще три листовки, но ничего не произошло. Ночь или дерзость укрывали его спасительным плащом? Дневная жара давно спала, но он был мокр от пота. Сигарета не принесла облегчения. Скрежещущий трамвай выбросил на повороте сноп искр. Ему безумно захотелось вскочить на подножку и умчаться в прозрачном, набитом людьми логове вагона куда-нибудь подальше от роскошных огней центра. Куда-нибудь в порт, где плещется маслянистая вода и где среди штабелей бревен на сухом просоленном песке тень ночи густа, как забвение.

В конце концов он не герой. Он просто человек, убежденный, что так надо, и ему страшно. Он жил так мало!

Киоск со светящейся надписью «Воды» привлек его внимание. Надо напиться — кто знает, что будет потом. Равнодушный, лоснящийся продавец отсчитал сда-

чу с трех стаканов. Медяки были мокрыми, их приятно было держать в разгоряченной ладони.

Очередную листовку он нагло прикрепил у входа в почтайт, где было многолюдно и где он сразу ощутил волну испуга, сдувшую кучку людей.

Как он выглядит, этот ожидаемый предатель? Молод, стар? Деньги иссушили его сердце, зависть, страх, фанатичная тупость? Или его поступками руководит автоматизм службиста? Вряд ли он когда-нибудь его увидит. Их пути скрестятся в стратосферном мраке и незримо разойдутся, и он не узнает его при дневном свете, как нельзя узнать пулю, скрытую в безобидном куточке свинцовой руды.

Но пока все было спокойно. Недреманное око охранки, казалось, ослепло.

Завтра по городу, вероятно, поползут слухи. На виду у всех... В двух шагах от полиции... Да, да, листовки! Недаром, недаром они осмелели... Значит, что-то колеблется... Значит... Тсс!

Что ж, и это неплохо. Но пора бы уже быть развязке. Сколько можно ждать неизбежного, терзать себя надеждой, которую он сам должен был исключить?

Новую листовку он укрепить не успел. Внезапно, заслоня собой мир, из темноты выскочила машина. Замерла у бровки, как припаянная. Луч прожектора распял его с поднятыми руками, в которых была зажата готовая к наклейке бумага!

Он рванулся, когда его схватили. Удар дубинкой был быстр и точен. Два вскрика слились воедино. Охранник выронил дубинку и, схватившись за голову, осел на тротуар.

Никто ничего не понял, но реакция на заминку была молниеносной. Новый удар был нанесен кулаком и с такой силой, что в глазах схваченного потемнело. Но и тот, кто ударил, тоже скорчился от боли.

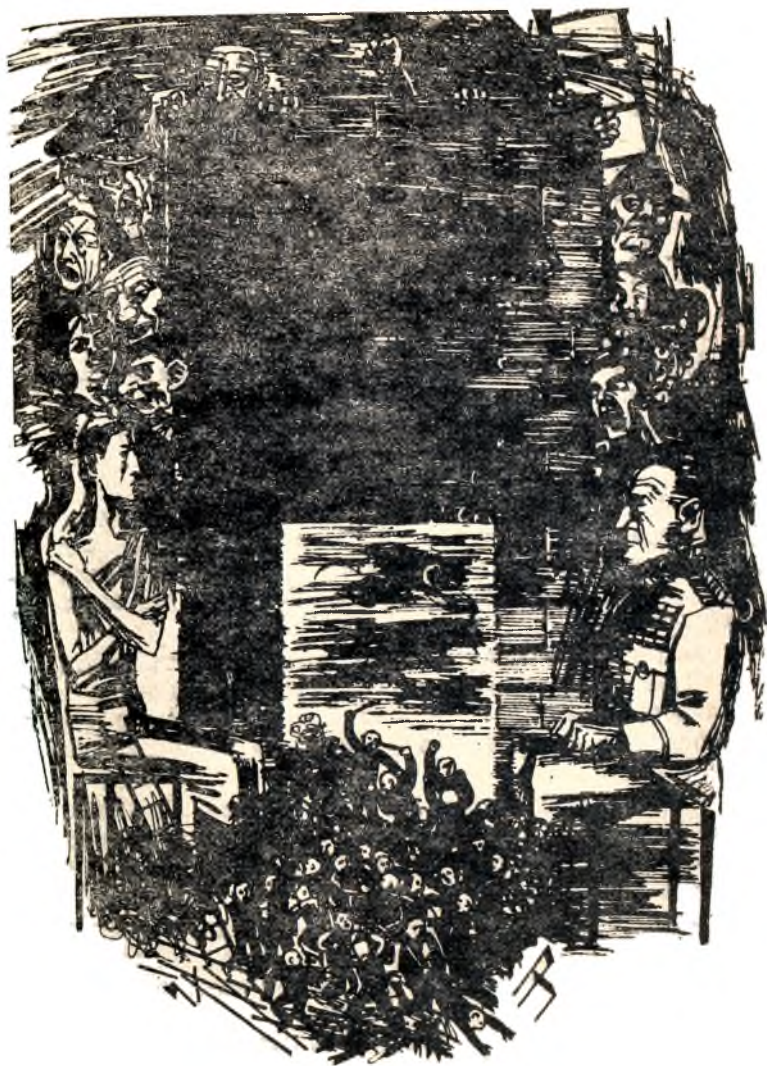
Все смешалось в стонущую кучу.

Эти события не были доложены начальству ввиду их нелепости, а также растерянности участников операции. Они доставили оглушенного преступника в камеру, но сами были оглушены случившимся не меньше. Вполне очухались они лишь в баре за выпивкой. Но попытки сообразить, что к чему, завели их в такие дебри абсурда, что для равновесия потребовалась новая бутылка.

Один из пострадавших охранников уверял, что схваченныйшибанул его электрической искрой, которая вылетела у него прямо из глаз. Второй божился, что видел парящего человека с дубинкой: человек и дубинка были полупрозрачными, но удары он наносил метко. Третий заявил, что ничего такого он не заметил, а только случилась какая-то чертовщина: факт тот, что оба его приятеля, врезав преступнику, ни с того ни с сего сами повалились на асфальт, и ему пришлось волочить их в машину. «Крепко же вы надали», — покачал головой посторонний охранник. Все трое ужасно возмутились и стали объяснять все по новой, но поскольку выпито было уже достаточно, то из их уст полезла такая чепуха, которой уже никто не поверил. Тем не менее по управлению быстро разнесся зловещий слухок о призраке с электрическими глазами.

Виновник переполоха был тем временем доставлен к дежурному следователю, который, позевывая, корпел над бумагами. Охранник — затянутая в мундир, привычно потеющая туша — восседал напротив. За дверью слышался треск пишущей машинки. Затем он смолк, и установилась такая тишина, будто здание переместилось в какое-то иное, могильное измерение.

Следователь наконец оторвался от бумаг, закурил и, послав дым в потолок, взглянул на арестованного. Следователю было лет под пятьдесят; взгляд его выра-



жал интереса к жертве не больше, чем обручальное кольцо на пальце.

— Имя, фамилия?

Охранник, покачивая ногой, любовался бликами на кончике сапога.

— Имя, фамилия?

Арестованный молчал.

— Можем и помочь разговориться. Можем и помочь... Имя?

— Роукар.

— Полностью, полностью.

— Хватит и этого.

Ничего не ответив, следовательно медленно зевнул. В сузившихся глазах блеснул белок.

— А вы не строите из себя... — еще раз зевнув, он пошевелил пальцами. — Повторяю...

— С вашего разрешения я сяду.

— Вы уже сидите. У нас. Так что не советую...

Роукар двинулся к стулу. Выражение лица следователя не изменилось, но охранник был начеку: с развальцовкой встал, неторопливо сгреб Роукара за шиворот, ухмыльнулся...

— Дурак, обожжешься! — воскликнул тот, бледнея.

Охранник разглядывал его, словно вещь. Он выбирал, куда ударить, а выбрав, нанес мгновенный скользящий удар по губам, который в управлении назывался «закуской».

И точно бомба взорвалась меж ними. Они отлетели друг от друга с одинаковым криком, с одинаково искаженными лицами, только по подбородку охранника не стекала кровь.

— Это что такое, сержант? — в голосе следователя скрежетнуло какое-то колесико. — Если вы вывихнули палец, то, во-первых, это не делает вам чести, а во-вторых...

— Слушайте, вы, олухи! — яростно заговорил Роу-

кар. — Я все равно сяду, а вы попробуйте меня тронуть, попробуйте, если вам не жалко своих шкур!

Он сел, с вызовом глядя на следователя. Тот коротко моргнул.

— Ну-ка, сержант...

Этого можно было и не говорить. Багровый от бешенства охранник уже подступал к Роукару. Мелькнул свинцовый кулак.

Стул вместе с Роукаром треснулся о стенку и разлетелся. Охранника же развернуло по оси. Мгновение он стоял с выпученными глазами, затем, мыча, сложился пополам и рухнул, тараня стол. Все звуки, однако, покрыл визг следователя — безумный, истошный визг потрясения и боли.

Полковник, в чьей власти находилась охранка, любил работать по ночам. В эти часы мир более спокоен, чем днем. Нет суматошного обилия красок, звуков, движений, мрак несёт в себе упорядоченность, все лишнее спит, свет ламп строг и надежен, поскольку всецело подконтролен человеческой власти.

Когда полковнику в конце концов доложили о том, что произошло, он ничему не поверил, но заинтересовался. Доведенный до истерики следователь, который, как известно, обладал чувствительностью бетономешалки, — такая история заслуживала внимания. Любое расстройство порядка было вызовом тех сил, с которыми полковник не устал бороться, как гидростроитель борется с малейшим признаком течи в им возведенной плотине. Это была бесконечная, но необходимая работа, которая давно уже стала функциональным стержнем существования полковника и скрепой всей его власти.

Арестованного доставили в кабинет. Кинув взгляд, полковник испытал нечто вроде разочарования. Бледное, расквашенное кулаками лицо двадцатилетнего юнца, расширенные от напряжения зрачки, темная в них

ненависть — все это было настолько знакомо, что полковник наперед знал, какие из сотни раз слышанных слов будут сказаны, каким голосом и когда. Из романтиков, сразу определил полковник. «С ума они, что ли, там походили...» — подумал он, неторопливо раскуривая сигару.

— Сядь, — кивнул он арестованному.

Роукара толкнули в кресло, которое мягко и обволакивающе приняло его в свои объятия. Кресло, как и все в кабинете, играло свою роль, хотя сам полковник ничего в антураже не придумывал, да и никто вообще ничего не придумывал, все как-то само собой образовалось из веками накопленного опыта. Посетитель тонул в мягком и низком кресле, а стол возвышался над ним, словно пьедестал, что делало фигуру хозяина особенно величественной. Величие это усугубляла полковничья форма, золото погон, батарея телефонов у локтя, обстановка кабинета, где любой предмет, будь то шкаф с рядами массивных томов в золотом тиснении или дубовые створки двери, выглядел солидно, прочно и официально.

Полковник не торопился, ибо знал гнетущую силу ожидания. Сам по себе этот человечек у подножия его стола не вызывал в нем интереса. Нелепые обстоятельства, которые с ним были связаны, — да. Но не он сам. Ни один сотрудник охраны не мог бы работать плодотворно, если бы видел в своей жертве личность. Даже ненависть тут была помехой. Полковник, как и его подчиненные, делал дело, работал с живым материалом, и эмоции здесь были не более уместны, чем при нарезке гаек или укладке кирпичей.

— До чего же стандартные приемы! — внезапно проговорил арестованный. — Мне надоела ваша тупость, и, чтобы вы скорей уяснили ситуацию, вот моя рука. Коснитесь ее кончиком сигары.

Жест, казалось, не был замечен. Полковник молча, без выражения смотрел на Роукара. Текли долгие, не-

мые секунды. И случилось то, что должно было случиться: пальцы арестованного мелко задрожали.

Тогда полковник поднес к раскрытой ладони сигару. Медленно прицелился — и вдруг стряхнул в ладонь пепел.

Рука дернулась. Полковник неторопливо рассмеялся, видя, как исказилось лицо Роукара.

— Вот так, — сказал он спокойно. — Теперь еще один маленький урок.

Он подал знак. Два статуеподобных охранника сделали шаг к креслу, одинаково шелкнув чем-то металлическим.

— Будем разговаривать просто или как?

— Нет, — ответ был едва слышим. — Не будем.

Руки охранников сошлись на затылке Роукара.

Вскрикнули все четверо. Четыре белых лица смотрели друг на друга, но на одном из них, кроме боли, было еще торжество.

Первым пришел в себя полковник.

— Вон... Охрана — вон!

Крохотная заминка; утратившие статуеподобность охранники недружно повернулись через плечо, и кабинет опустел.

— Благоразумно, — сказал арестованный. — К чему лишние свидетели начальственной беспомощности?

Из ящика стола полковник рывком выхватил пистолет.

— Поговорим, — сказал он с угрозой.

— Если я того захочу, — уточнил арестованный.

— Я пристрелю вас!

— А вы не думаете, полковник, что это еще более опасно, чем насилие?

Полковник порывисто затянулся сигарой. Взгляд его шарил по лицу противника. Теперь он видел в арестованном достойного противника, стало быть, личность, которую надлежало раскусить.

— Сигару? — неожиданно предложил он.

— Нет. Чем скорей мы расстанемся, тем лучше будет для нас обоих.

Полковник кивнул.

— Я реалист, — сказал он негромко. — Обстановка изменилась, это мне ясно. Что же из этого следует?

— Уже лучше, — сказал Роукар. — Итак, для начала небольшая лекция...

Он оглядел помещение и улыбнулся, насколько это позволяли разбитые губы и взвинченные нервы.

— Лекция в охранке... Забавно! Ладно. Усвойте вот что. Любому физическому или умственному действию предшествует свой нервный импульс. Акту насилия — тоже. Организм испускает электромагнитные колебания... Нечто вроде беззвучного крика, ясно? Способ, к которому мы прибегли, вам знать излишне. Но смысл его вот в чем. Мой организм настроен теперь таким образом, что он улавливает чужой импульс насилия. При этом нервные системы палача и жертвы замыкаются, точно лампочки в цепи. Если за импульсом не следует действия, то ничего не происходит, подобно тому, как не зажигаются лампочки, если не нажат выключатель. Но коль скоро за мысленной командой следует удар... Мое тело пронизывает боль, и точно такая же пронизывает ваше! И неважно, что послужило причиной боли — ваш собственный кулак или сапог вашего подчиненного. Палач и жертва скованы одной цепью настолько, что теоретически все должны чувствовать одинаково. Но практически общей становится только боль, поскольку это самое сильное ощущение. Как же так, спрашиваете вы. Арестованного отдубасили, его тело болит, а я не чувствую этого, хотя должен почувствовать, если сказанное им правда. Секрет прост: я могу ослабить или усилить возникшую меж нами связь. Вот я ее усиливаю. Как теперь?

Лицо полковника мучительно напряглось. На лбу выступили бисеринки пота, руки непроизвольно сжа-

лись. Секунду-другую шеф охраны и арестованный молча смотрели друг другу в отуманенные болью зрачки.

— Третий закон Ньютона, — торжествующе проговорил Роукар. — Сила действия равна силе противодействия. Теперь этот закон будет осуществляться между людьми так же явно, как в физике! Когда еще жертва могла той же мерой немедленно отвечать палачу на пытку пыткой? Терпите... Все, с насильем покончено!

— Нет власти без насилия, — полковник разомкнул побелевшие губы. — Уничтожая власть, вы рушите закон, порядок, само общество...

— Ваше общество! — звеняще воскликнул Роукар. — Вы... вы просто дорвавшийся до власти гангстер, вам ли говорить о законе!

Он вскочил, задышавшись, подошел к распахнутому окну. В душном мраке спал, ворочался и во сне терзаемый обыденными заботами город. Вот так же люди, должно быть, спали, когда у них под боком испытывался первый паровой движок. Когда к самолету подвозили первую атомную бомбу...

Роукар вздохнул. В груди привычно толкнулась тяжесть тайно, в подпольной лаборатории вшитого импульсатора, который улавливал, сортировал, усиливал, возвращал сигналы своей и чужой нервной ткани. Знать о ней полковнику не следовало, иначе его, Роукара, тут же распотрошили бы под наркозом. Другое дело завтра, когда вся эта нечисть сгинет. Тогда, не боясь обыска, каждый сможет носить импульсатор просто в кармане, и уже никто никому не посмеет причинить боль. С насильем будет покончено. Навсегда!

— У вас есть выбор, — Роукар обернулся к полковнику. — Или вы, вся ваша шайка грабителей и тупиц немедленно удерет с чемоданами, или на вас двинутся мои, тем же вооруженные товарищи. Тогда боль, которую вы, сопротивляясь, нам причините, убьет вас самих! Мы против ненужных жертв, хотя за свободу готовы отдать свою жизнь. Я вас предупредил: убирайтесь!

Пламенный голос Роукара умолк. Ответом было молчание. Лицо полковника, чья воля наводила ужас на всю страну, застыло восковой маской. Жгучее, нетерпеливое любопытство пересилило в Роукаре боль, волнение, смертельную усталость. Насилие существует столько, сколько существует мир. Каким же, каким будет его последнее слово?

Роукар даже освободил полковника от боли. Но тот, мешком осев в кресле, продолжал молчать, как вещь, которую забыли унести из кабинета. Словно и не было под его рукой кнопок, которые в мгновение ока могли привести в движение головорезов, авиацию, танки.

«Вот, значит, как! — торжествуя и в то же время разочарованно подумал Роукар. — Обыкновенный безмозглый динозавр в западне...»

— Даю на размышление три минуты, — сказал он презрительно и снова повернулся к окну.

Оттуда уже тянуло освежительным холодком, за громадами зданий пылала заря. В саду оглушительно пели птицы. Город спал, не подозревая, что происходит, не видя худого, измученного, избитого юношу с вдохновенным лицом мученика и спасителя, который в эту минуту явственно слышал шелест нозой, уже приоткрытой страницы истории.

А полковник, подобно боксеру, который копит силу в нокдауне, тем временем быстро и холодно выверял свою новую диспозицию. Этот страстотерпец-романтик его больше не интересовал. Полковник сразу выделил главную для себя опасность. Она была не в угрозе сковать его цепью страданий и смерти, поскольку любое воздействие (он знал это и без ученых) ослабевает с расстоянием (вывод: схваткой надо руководить издали, а прочих совластителей предупреждать не следует — открывается соблазнительный шанс чужими руками устранить соперников). Главная опасность была и не в том, что на улицы выйдет столь необыкновенно вооруженная (проклятая наука!) группка ребячливых гениев.

Кричи не кричи о взаимоуязвимости, человек прежде всего верит личному опыту, следовательно, солдаты скосят мятежников прежде, чем падут сами, а уцелевшие что-то сообразят. Но вот что действительно было страшно: детонация! Выступление этих головастых младенцев, странная гибель солдат, весть о роковой уязвимости тех, кто карает, — все это вместе взятое и даже просто сам факт жертвенной отваги романтиков с сединой или без легко мог поджечь скрытое недовольство. А дело, когда поднимаются массы, всегда принимает плохой оборот...

Нет более наивных и более опасных людей, чем бескорыстные, слепые к жизни фанатики идеи! — раздраженно мелькнуло в мыслях полковника, но он тут же приструнил отвлекающие эмоции. И стремительно продумал выгоду безболезненно усыпляющих пуль и газов, прикинул, как скоро он сумеет вооружить ими кого надо. Сделав расчет, он немедленно нажал кнопку, коротко глянул на часы. Из отпущенных ему на размышление минут истекло только две. До начала его собственных действий оставалось еще несколько секунд, и полковник мельком обследовал дальнюю перспективу: надо срочно пополнить штат теми, кто любит одновременно причинять и испытывать боль... Да разве средства энергичного воздействия исчерпываются физическими?

Нет, что бы там ни напридумали ученые, будущность его, как властителя, от них не зависела.

Роукар не заметил движения полковника. В его измученном сознании ярко вспыхивали картины уже близкого будущего, когда успехи нейротехники свяжут людей узами столь тесной общности, что любое злоумышленное горе, бумерангом возвращаясь к виновникам, заставит всех заботиться о счастье каждого. На лицо Роукара пал первый луч восходящего солнца, и он, вскинув скованные руки, готов был ликующе обнять весь очищенный светом мир.

Тишь, да гладь, да неторопливые о том о сем разговорчики под стопочку, под закусочку — таким был вечер. Так он, вернее, начался.

— Гениальных изобретателей-одиночек в литературе куда больше, чем в жизни, — заметил Мелков, щепляя на вилку шуплый грибочек. — Все же они встречаются.

Я кивнул. Действительно, если бы в жизни не было ничего похожего, откуда бы этот образ взялся в литературе?

— Так что же? — спросил я.

— Таким гением был мой дядя. — Мелков с сумрачным видом наполнил стопки. — Я никогда о нем не рассказывал? Нет, конечно. Он, видишь ли, изобрел машину времени. Твое здоровье!

Я чуть не поперхнулся. Малоосведомленные люди полагают, что для писателя-фантаста нет ничего интересней разговора о «тарелочках» и тому подобном, тогда как для нас все это столь же увлекательно, значительно и свежо, как для математика школьное упражнение по алгебре. Не будь Мелков моим давним приятелем, я бы просто отмолчался, ибо что может быть глупее попытки выдать за правду давно уцененный сюжет с гением-одиночкой, который тишком сварганил машину времени? Но тут взглядом пришлось изобразить легкое подобие вопроса. Однако угрюмо красивое лицо Мелкова если что и выразило в ответ, так колебание — налить ли сразу по новой или чуточку подождать?

— Ну, как же, как же, — сказал я с энтузиазмом воробья, которого пытаются провести на мякине. — Остальное известно. Создав машину, твой дядя прокатился в энный век, затем скоропостижно умер, а так

как он не оставил ни чертежей, ни доказательств, то с ним вместе, увы, погиб секрет великой тайны.

— Верно, — подтвердил Мелков. — Выпьем за его упокой! Все верно, за исключением одного: доказательство он оставил.

— Разумеется, разумеется, — согласился я, в свою очередь, поддевая медузоподобный масленок, с которого капала мутноватая жидкость. — Еще я слышал, что по воскресеньям рыба в Москве-реке ловится на голый крючок.

— Феноменально. — Мелков чуть-чуть усмехнулся. — Нам уши прожужжали, что литература отражает жизнь, каковая тем не менее богаче любого вымысла... Ты убедительнейшим образом подтвердил первое. Интересно, сколько в тебя надо влить, чтобы ты согласился и со вторым?

— Нисколько, — отрезал я. — Сегодня не первое апреля. И вообще я уважаю мнение науки, а также предпочитаю не смешивать фантазию с реальностью.

— Здорово, — Мелков потер руки, но я игнорировал и этот жест. — Правильная позиция: сказочный ковер-самолет, само собой, никак не предшествовал воздушному лайнеру, и вообще фантазия ничего предвосхитить не может. Выпьем за это!

— Ты что-то стал слишком много пить, — сказал я.

— Потому что не хочу и не желаю.

— Чего?

— Хотя бы машин. Путешествий в будущее. Его кукишей...

— Кукишей?

— А ты думал! Вероятно, это и довело дядюшку до инфаркта. Надо же, получить от обожаемого будущего такую смачную дулю!

— Слушай, ты пьян...

— А ты, дорогой фантаст, попался! На собственный, заметь, крючок. Ладно, не сердись — много ли у нас

веселья? Вообще тут не до смеха... Сейчас я тебе кое-что покажу.

Он нетвердо двинулся к письменному столу, выдвинул ящик, помедлив, зачем-то провел рукой по лицу. Я не тронулся с места. Реальная машина времени? Нет, слишком невероятно! Дело не в самой ее фантастичности; наоборот, все подлинно новое и должно быть таким. Но не так. Все новое, ошеломляющее не возникает мгновенно, тем более под выпивку, под грибочки и треп, от которого за версту разит розыгрышем. Я был уверен, что при малейшем моем доверии к сказанному Мелков зальется смехом. Как в детстве: «Обманули дурака на четыре кулака!» Уэллсу такая эволюция его идеи, разумеется, и не снилась... Хотя непонятно, зачем Мелкову все это было нужно.

— Сначала пре-амбула, — опуская руку к ящику, медленно проговорил он. — Амбула после. Мой дядя был настоящим изобретателем, то есть одержимым, который плодит новое, как крольчиха кроликов. Многие внедрялось, так что средства он имел... Впрочем, не это главное. Изобретать для таких людей так же естественно и необходимо, как для нас дышать. Но, сузу по дяде, в них бродит и другая закваска: бескорыстная — в этом их честолюбие — жажда осчастливить мир своими придумками...

«Да он совершенно трезв!» — подумал я с удивлением.

— ...И само собой, они совершенно уверены — это тоже секрет их успеха, — что в мире нет ничего невозможного, для них непосильного, что даже запретом выставленные перед ними законы природы придуманы скучными людьми... То есть не сами законы, а их истолкование. Ну, ты понимаешь, о чем я! Словом, стремление осчастливить людей, помноженное на технический гений... и его узость. Конечно, узость. Кому, кроме дяди, могло прийти в голову такое? Его взволновало, об этом... — не о дяде, конечно! — трезвонят сейчас все

журналы: экологическая ситуация обостряется, наши знания отстают от событий, и этот разрыв чреват опасностями. Дальнейший ход мыслей дядюшки мне известен, он мне сам рассказывал. «Не с того бока берутся! — кричал он. — Каким должен быть идеальный результат? Все необходимые знания есть сейчас! Тогда справимся. А где эти знания? В будущем. Значит, что? Значит, нужна машина времени». — «Дядя, опомнись, это невозможно!» — «Дурак! Невозможность — это первый признак осуществимости. А почему? Потому что нет машины, о которой заранее не твердили бы, что она невозможна. Кроме того... В фантастике машина времени есть? Есть. Фантастика сбывается? Сбывается. Причина? Да проще простого! Природа бесконечна в пространстве и времени, а коли так, в ней возможно все, что не противоречит краеугольным законам природы. Ну-с, назови мне закон, который бы запрещал путешествие в будущее? То-то... Наоборот, в теории относительности есть подсказка, и не одна. Просто никто не брался за дело, а я примусь. Природу и самих себя надо спасать». И он, бедняга, взялся...

— Почему «бедняга»? — мне стало уже не до самолюбия.

— Так ведь литература отражает жизнь... Ничего не зная, ты уже почти все рассказал. Машина времени... Ух, как невероятно, как сложно! Это с какой точки зрения... Ракета «Фау» лет сорок назад была вершинным, невероятно сложным достижением техники; в действительности это такая простая штука, что сейчас ее спроектирует любой грамотный студент соответствующего факультета. Ну а подлинный изобретатель опережает время иногда на десятилетия. Короче, дядюшка и машину создал, и в будущее спутешествовал... Затем инфаркт. Боюсь, что свою роль тут сыграло разочарование. Впрочем, кто его знает! Все имущество досталось дочке, для которой отец был лишь не умеющим жить чудаком, а машина времени просто металлическим, за-

громозжающим жилплощадь хламом. Когда я вернулся из экспедиции и узнал о кончине дяди, квартира уже блистала чистотой, а все, что не выглядело документом, было загнано в макулатуру. Но одну вещь эта дура все же оставила, вот тогда я и понял, что дядюшкина затея удалась. Пришлось пожертвовать десяткой, чтобы выкупить... Вот что дядя извлек из будущего, смотри!

— Книга?! — вывалось у меня.

— Конечно! Дядюшка отправился за знаниями, а где они, как не в книгах?

Я с трепетом принял книгу. На ощупь переплет оставлял впечатление сафьяна, но то была не кожа, какой-то иной дивный материал, которым можно было залюбоваться, как видом полукруглых в голубой дымке снежных вершин. Именно такой образ возникал при взгляде на переплет, хотя никакого рисунка там не было, только надпись «Компакт» вверху и слово «Эра» в обрамлении семилучевой звезды снизу. Сама книга имела карманный размер.

Я жадно раскрыл ее. И меня будто стукнули по башке!

Книга была пуста. Девственно, вызывающе пуста — ничего, кроме чистых страниц...

Я оторопело взглянул на Мелкова. Тот мрачно усмехнулся.

— Дошло, наконец? Будущее, о котором мы так мечтаем, преподнесло нам фигу. Кукиш с маслом... Верши на мудрости — пустая книга!

— Но должен же быть секрет! — вскричал я.

— Что ж, поищи...

Я снова принялся лихорадочно листать страницы. Прекрасная тончайшая бумага. И на ней ничего. Ни единой буковки или цифры. Впрочем, нет. На последней странице, там, где в наши дни помещаются выходные данные, стояло: «Издательство «Эра», 2080 год». Больше ничего, ни указаний на тираж, ни слова об объеме, ничего.

Компакт. Компакт чего? Пустоты? Непонятного нам развлечения? Снобизма? Чего-то еще, совсем нам неизвестного? Компакт... Может быть, и само слово уже не имело ничего общего с нашим понятием компактности?

— Во всяком случае, это не розыгрыш, не шуточка наших потомков, — телепатически подхватил мою мысль Мелков. — Дядюшке нужен был свод знаний, научная энциклопедия или что-то в этом роде. Остальное догадки. Он ли их неправильно понял, сам ли растерялся в странном с его точки зрения мире, факт тот, что он ухватил это... Сразу ли раскрыл, по возвращении — кто знает? Но, полагаю, удар был жестоким. Хотя наверняка никто никогда ничего не узнает.

— Муляж... — прошептал я. — Муляж книги! Но это бессмыслица!..

— Ты держишь ее в руках. И почему бессмыслица? Нечто подобное, я читал, выпускают на Западе. Декоративные, для престижа и убранства квартиры, книги. Кто скажет, что возможно, а что невозможно в будущем?

Я покачал головой. Конечно, высокий технический уровень — «книга» явно о нем свидетельствовала — сам по себе не гарантирует высокую культуру. Мало ли тому теперешних свидетельств! Но... Технический, в отрыве от всего другого, взлет не может длиться долго. Общество не выдержит напряжений разрыва.

— Может быть, все-таки подделка? Необычный материал переплета... Ну, много мы знаем о новейших материалах! Бумага прекрасная, но, в общем, самая обычная. Незнакомый шрифт «выходных данных» ни о чем не говорит, шрифты тоже меняются. Конечно, непонятно, зачем это сделано, неясно кем, с какой целью, хотя, с другой стороны, нет человека, который был бы сейчас в курсе всех товарных новинок, а сами эти новинки — и да чего среди них только нет!

Тем более... Вот именно: по мнению многих автори-

тетных специалистов книга сейчас доживает последние десятилетия своего существования. Скоро не хватит лесов, чтобы удовлетворить спрос. Бумага из нефти, газа или базальта, над чем уже ведутся небезуспешные опыты? Увы, это не избавит книгу от главного ее порока: от объема, который она занимает, и веса. Не меня одного книги теснят из квартиры! Нет места... Перспектива, утверждают специалисты, все равно за электронными средствами записи, компактными кристаллами-книгами, считывающими устройствами и тому подобным.

К сожалению, эти прогнозы неплохо аргументированы. Но если специалисты правы, книге нет места в отдаленном будущем. Разве что в качестве раритета. Грустно, а что поделаешь? «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая...»; прекрасное, должно быть, ощущение, только дорогами давно уже владеет автомобиль.

— Слишком похоже на современное изделие. — Я осторожно положил «книгу» на стол. — Через сто лет...

Мелков тяжело вздохнул.

— Удивительно, до чего одинаково мы все мыслим... Даже фантасты! По-твоему, это бумага?

— Конечно.

— Попробуй разорви любую страницу.

— Ну?

— Я пробовал рвать, жечь, травить кислотами. Заметен ли хоть след моих усилий?

Человек так устроен, что, даже веря словам, он жаждет все потрогать своими руками. Фантаст не исключение.

— К черту! — воскликнул я после долгих и тщетных попыток хотя бы смять лист загадочной книги. — Вот так сюрпризец!..

— То-то, — удовлетворенно кивнул Мелков и потянулся к бутылке. — Фига — она фига и есть...

— Нет, подожди, я так легко не сдамся! Все невер-

но! Будем исходить из известного. Из психологии твоего дядюшки. Умный человек? Да! Упорный? Да! И он, не разобравшись, схватил муляж, подделку? Чепуха! Это книга. Не в обычном смысле этого слова. Но ее можно читать, для чего необходимо еще какое-то, очевидно, тоже карманное устройство. Конечно, дядюшка его прихватил и умер он вовсе не от разочарования. А дочка это устройство выкинула вместе с прочим «хламом».

Мелков покачал головой.

— Красивая гипотеза, но я ее разобью вдребезги. Устройство для чтения, такая маленькая, очевидно, изящная вещица. Во всяком случае, ВЕЩЬ. И чтобы ее, заводскую, фирменную, дочка выкинула? Ты плохо ее знаешь.

— Она могла продать, подарить...

— Сомнительно. Она бы призналась чего скрывать? И второе, главное. По виду так, книжечка, но в ней — какова «бумага»? — около тысячи страниц. К чему тут скрытое изображение, зачем какая-то дополнительная техника, все это нелепо, проще напечатать...

Мелков был прав, я не нашелся что возразить и мрачно уставился на книгу, которая лежала теперь по соседству с грязными тарелками, стопками, водочной бутылкой. Меня это вдруг поразило. Не своим контрастом, наоборот. Поразило и напугало. Все меняется, даже сам принцип изменения! До сих пор вся, казалось бы, невероятная, человеческими руками сотворенная фантастика загодя предупреждала о своем появлении, входила в жизнь исподволь, давала время привыкнуть, как это было с самолетами, телевидением и всем прочим. Теперь... Вот она, вещь из будущего, никем не предвиденная, менее понятная, чем пульсар, покоится на обыкновенном столе в обыденной квартире самого обычного человека. И мы стоим перед ней ошеломленные, выбитые из колен, не знающие что делать.

— Но надо же что-то делать! — вскричал я. — Ты хоть показывал ее специалистам?!

— Да. Тебе.

— Позволь, какой же я...

— Ты фантаст. Я думал, что вы лучше других подготовлены к восприятию и правильной оценке таких штучек. Оказалось... Тогда к чему специалисты по физике, химии? Ах; да не в этом дело! Ты представляешь, какое недоверие надо прошибить?

Я представил. Я очень живо это себе представил. Уму непостижимо, сколько людей обивает пороги с рукописями «всеобщих теорий», которые объясняют все на свете, с «точнейшими сведениями» о фактах появления инопланетян на Земле и даже с проектами вечных двигателей! Несут, требуют признания, жалуются... Ни у кого нет ни времени, ни желания искать в этой галиматье жемчужные зерна, тут бесплодные телефонные звонки, записи на прием, секретарши светил, которые смотрят на посетителя, как на докучливую помеху, шепотки в затылок: «Еще один «чайник» пожаловал...» И стыд, стыд уважающего себя человека, который должен куда-то пробиваться, просить, доказывать, что он не мистификатор, не ловкач, не параноик...

— Да, — Мелков все прочитал по моему лицу. — Я морально не способен ходить по кабинетам, меня тошнит от одного вида приемных, а уж выглядеть шизиком... Нет. Я и геологом стал, чтобы подольше не вылезать из экспедиций, где я сам себе хозяин. И плевать мне на перспективу появления новых феноменальных машин и материалов! К будущему у меня только один вопрос — будут ли там канцелярии?

Он жадно, не закусывая, выпил.

— На, — протянул он мне книгу. — Бери!

— Ты что?! — Я отпрянул.

— Все, это подарок. И ни-ка-ких благодарностей! Кому владеть книгой из будущего, как не фантасту? По шее и хомут, ха-ха... Твое здоровье!

Слегка пошатываясь, он вышел за мной в переднюю, с сумрачной мефистофельской улыбкой отомкнул замок.

— Что, кончилась твоя уютная и привычная жизнь, а? Так стоит ли тем же одаривать человечество, ты подумай...

Не помню, как я дошел до дому.

Стрелка часов перевалила за полночь, и благоразумней всего было бы завалиться спать, но я твердо знал, что эта ночь обернется бессонницей. Не оставалось ничего другого, как заварить кофе и усесться перед пустой книгой.

Так я и сделал. Но прежде пришлось запахнуть окно, потому что, несмотря на летнюю теплынь, мне было зябко. Холодок притаился где-то внутри, назойливый, как неотступная забота. С минуту я постоял у окна. Обычный городской шум стих, лишь изредка с подвывом проносился запоздалый троллейбус. «Странно, — подумал я, — почему его называют бесшумным транспортом? Автобус тише».

Поймав себя на этом размышлении, я понял, что боюсь думать о главном. О пустой, можно сказать, вызывающе пустой книге, чья обложка таинственно и голубовато мерцала в свете настольной лампы. Теперь я все мог разглядеть внимательно и вскоре убедился, что первое впечатление было обманчивым. Не снежные горы чудились за голубоватым мерцанием материала иного века; скрытый рисунок, если, конечно, то был рисунок, будил фантазию. В нем угадывалась глубина смутных миров, многоликих форм, красок, может быть, звуков, намеков на их присутствие. Намек, не более, воображение могло чем угодно наполнять это мерцание или глухо молчать. Тот, кто делал обложку, менее всего стремился к однозначности.

Что ж, это отвечало духу книги. Подлинной книги, будь то замечательный роман или научная монография, ибо природа тоже многозначна, каждый в ней ви-

дит свое, и в этом прелесть гениального труда, — он не только объясняет мир, но и увлекает его безбрежностью.

Так что же передо мной — игрушка, муляж, предмет глупого снобизма? Решительно все восстало во мне против этой мысли. Нам очень хочется видеть будущее прекрасным, очень, и тут легко впасть в ошибку. Но куда горшая ошибка видеть даль в черном свете; тогда и настоящее погружается в безысходный мрак. Я держал в руках технический шедевр конца двадцать первого века, шедевр, понятно, с нашей точки зрения, потому что в своем времени он скорее всего был самым расхожим заурядом. Говорило ли это о чем-нибудь? Безусловно. Высокий интеллект и высокий вкус. Без первого будущее обойтись никак не могло, иначе все грозные проблемы настоящего остались бы неразрешенными и под их тяжестью рухнула бы сама цивилизация. Но книга свидетельствовала еще и о вкусе.

Она не могла быть муляжом.

Но и книгой она не могла быть тоже. Только неразумное общество стало бы вкладывать труд в такую бессмыслицу, как чистые страницы издания. Да и прогнозы специалистов, которые предвещали книге скорый конец, не были высосаны из пальца. Специалисты тоже читатели, им тоже грустно расставаться с книгой, но выхода, судя по всему, они не видели.

Возможно, я бы не стал так мучительно ломать голову над загадкой, если бы не позорный провал у Мелкова. Так растеряться! А еще фантаст...

Кроме личного самолюбия, есть профессиональное. Я отхлебнул остывший кофе, в сотый, может быть, тысячный раз перелистал пустые страницы.

Нечто имеющее форму книги. Памятник усопшей культуре?

Возможно, в будущем есть и такой. Но туда, в будущее, отправился мой современник, вот из чего надо исходить. Как он себя почувствовал в грядущем? Пред-

ставить это так же трудно, как оторопь человека пушкинских времен, перенесенного в теперешний мир. И не надо представлять, сейчас это не входит в мою задачу. Важно, что дяде были нужны знания двадцать первого века. Не отдельная монография, не что попадет под руку, тем более не памятник книге, а научная в максимальном объеме литература.

Вот он узнает, что книг больше нет. Вместо них... Что вместо них?

То, что он привез, то, что я теперь держу в руках. Иначе все бессмысленно! Иначе это уже не логика поступков, не поведение нормального человека, а акулий бред и птичий сон.

А как же тогда возражения Мелкова? Не впадаю ли я в ошибку, доверяя законам психологии?

Что ж, проверим вывод иначе. Главное ли в книге сама книга, то есть вещь некоего размера, веса и материала? Нет. Главное — содержание. В сущности, идеальная книга — это такая книга, которая не занимает места, но содержит в себе литературу всех времен и народов.

То есть нечто похожее на Компакт. Вот она, Книга Будущего, вернее, то, что заменило книгу! Емкость — пустяки. Даже для нас очевидно, что все знания человечества можно сконцентрировать в объеме этого, а то и меньшего «томика». В принципе это и сейчас не проблема. Все сходится!

Я удовлетворенно потер руки. Нет, дорогие вы наши потомки, мы тоже не лыком шиты! Передо мной не «вещь в себе», не чудо неведомой технологии, а сложное, но, в общем, понятное устройство для хранения и воспроизводства знаний. Его внешний вид... Ну, это, возможно, сентиментальная дань прошлому, вроде теперешних свечей, электрокаминов и тому подобного. Ясно, что страницы не предназначены для чтения, это молекулярные, атомарные или какие-нибудь там нейтральные вместилища томов, может быть, целых библио-

тек. И (чушь я тогда сказал!) никаких отдельных для воспроизведения устройств; это и неудобно (могут потеряться), и нерационально; все нужное, конечно же, скрыто в переплете, надо лишь знать, как им пользоваться.

Хорошенькое дело! Разобрался бы Фарадей в устройстве телевизора? Вряд ли. Но включить его он бы смог. Питекантроп — и тот бы смог.

А вот я не могу включить Компакт. Даже подхода не вижу. Нигде ни намек на какие-нибудь кнопки, контакты или что-то похожее. Гладкий «переплет», гладкая «бумага» и гадостное при взгляде на все это самочувствие тупицы, а, может быть, обезьяны, от которой подъемным (догадайся, как) стеклом прикрыли вожделенный банан.

Так вот что испытал Мелков! Злость унижения. То же самое, не исключено, почувствовал дядюшка, если он расспросами побоялся выдать свою чуждость другому веку и, заполучив Компакт, тут же ринулся обратно в расчете, что сообразительность его не подведет и он как-нибудь сам во всем разберется. Какой удар для самолюбия, когда он убедился в обратном! Тут, увы, были все условия для инфаркта...

Вот чем это могло обернуться!

А чем, каким потрясением может стать разгадка самой «книги», с какой непредставимой силой ударит по нас ее содержание?! Мгновенный обвал на психику целого столетия, палящая вспышка грандиозных достижений и бурь, аннигиляция всего привычного — кто выдержит такое?!

«Что, кончилась твоя уютная и привычная жизнь, а? — отчетливо послышался голос Мелкова. — Так стоит ли тем же одаривать человечество, ты подумай...»

Я вздрогнул. Вот почему он уступил книгу мне! Он боялся, дико боялся. А я разве нет?

Тишину прорезал воющий звук ночного троллейбуса. Судорожным движением я оттолкнул «книгу». Нет!

Не хочу! Зачем еще потрясения?! Будущее принадлежит будущему, и отстаньте от меня, отстаньте!

Руки тряслись, квадрат окна смотрел слепым пятном мрака, то был пещерный страх перед неведомым, но в глубине души я уже знал, что лгу сам себе. Потому что человек еще никогда не отказывался ни от какого знания. Как бы он ни сопротивлялся новому, как бы ни отталкивал его от себя, он в конечном счете поступает подобно первому в мире парашютисту — бросается в неизведанное. А не было бы этого, так и самого человека не было бы.

И все, и точка, приступим к делу...

Я снова придвинул «книгу».

Что в будущем заменило чтение? Спрашивать себя об этом я мог с тем же успехом, с каким извозчика середины прошлого века о перспективах моторизации. Не из этого надо было исходить в догадках. Компакт, надо думать, был расхожей вещью, им должны и могли пользоваться все, даже дети. Но если так, секрет его включения скорей всего прост. Настолько прост, что это-то и сбивает нас с толку. Мы ищем привычное, всякие там кнопки, стерженьки, но раз этого нет, то... Тогда фантастика, а это уже по моей части.

Что может быть удобней мысленного приказа?!

Я поспешно раскрыл Компакт. Догадки лихорадочно опережали друг друга. Если дядя искал в будущем Свод Знаний, то вернуться он мог только с ним, а если так, надо пожелать...

«Хочу знать все о физике двадцать первого века!» — мысленно воскликнул я и замер в ожидании.

Однако ничего не произошло. Заключение в Компакте знания ни зрительно, ни акустически, ни телепатически не передались мне.

Собственно, этого и следовало ожидать. Мыслеприказ, конечно, удобен, мы, фантасты, часто вводим его в свои повествования. Дело, однако, в том, что он может возникнуть произвольно, помимо желания чело-

века (мало ли смутных мыслей проносится в сознании!). Чтобы не возникало накладок, должна быть простая, короткая, но четкая последовательность команд, некий код, который бы заставлял тот же Компакт работать.

Но тогда это безнадежное дело. Принятый в будущем код может быть каким угодно, тут миллионы вариантов, никакой жизни не хватит, чтобы их перебрать.

«Ну и все, — подумал я с разочарованием и вместе с тем с облегчением. — Знания будущего не для нас, можно спокойно идти спать. Пустяк, но какой! Нам неизвестен и, верно, не станет известен волшебный «сезам, откройся!», который только и может поведать о той же физике...»

Я не успел моргнуть, как с чистых было страниц на меня в упор глянули слова и формулы!

Я с воплем вскочил.

Видение не исчезло. Передо мной были самые обычные на вид, типографским способом отпечатанные страницы...

И вместе с тем совершенно невероятные.

Я прикоснулся к ним, как к пылающим углям. Под пальцами замелькали страницы, в глазах зарябило от незнакомых слов, разноцветных формул, объемных схем и рисунков; вся тысяча листов была о физике — и какой! Я был близок к обмороку, ноги не держали, свет лампы то мутнел, то вспыхивал сухим блеском, но меня влекло дальше, дальше, еще дальше... «Хочу о генной инженерии, сезам, откройся! Хочу о... Хочу...»

И все открывалось, по мановению мысли тут же менялся весь текст.

Так просто! «Сезам, откройся!», принятые как код слова наивной сказки, древняя мечта-команда, и все, и ничего больше, и... И только ли наука?

«Хочу «Таинственный остров» Жюль Верна, сезам,

откройся!» — выкрикнул я, и тут же передо мной возникли с детства знакомые слова:

«— Мы поднимаемся?

— Нет! Напротив! Мы опускаемся!

— ...Все тяжелое за борт! Все!..»

Значит, вот оно как. Наши далекие потомки не смогли, не захотели расстаться с давним и верным спутником человечества — с книгой. То, что я держал в руках, было ею, и даже большим — то была Книга.

Книга всех книг, если на то пошло.

Впрочем, это можно было предвидеть. Кто же по доброй воле расстается со старыми друзьями?

В этом краю песков и болот сосна была всем. Она вечным убором покрывала неяркую землю, плотным строем приступала к околицам деревень, из нее сподручно ладили нехитрое хозяйство, складывали дома, мастерили зыбки. Смолистый запах с первым криком входил в легкие младенцев, ветровой шелест хвои сопровождал всех, когда они малолетками бегали в лес по грибы, взрослея, укромно целовались там до рассвета, возмужав, пахали, сеяли, жали нещедрый по этим местам колос, а когда умирали, то их опускали в сосновый гроб, а новые поколения продолжали все тот же извечный круг, и так же над ними шумели сосны, так же смолист был привкус ветра, который летел над тощими полями, мхами болот, рыхлыми песками увалов и просинью кротких озер. Так длилось все века, сколько здесь жили люди, и только двадцатый на излете своих дней снес одну из деревенок соснового края, воздвиг на ее месте научный городок со всем могучим арсеналом средств дознания природы, и Стожаров, сын бесчисленных поколений здешних Стожаровых, прежде чем до конца опробовать новую гигантскую установку проникновения в глубь материи, привычно вдохнул даже среди металла и пластика чуть-чуть смолистый воздух благого детства.

С тем он нажал кнопку, возбудив силы, перед которыми были ничто все молнии, когда-либо грохотавшие над его деревушкой.

Затем он увидел вспышку.

После ничего не стало.

А когда сознание обрело себя, то не обнаружилось ни света, ни формы, ни боли, ни звука, ни другого проявления мира, как будто, сохранив свое «я», Стожаров

стал бесплотен в столь же бесплотной Вселенной. Кувырок спросонья в черную невесомость был бы слабым подобием этого ощущения. Стожаров помнил себя, он мыслил и чувствовал, он существовал, но в чем? И как? Ничего не было, даже просвета пространства, даже намека на форму, ничего.

И все-таки что-то было, ибо сознание ощущало свою как бы во что-то вклеенность. Вязкую в себе самом или вовне помеху. Ужас не настиг Стожарова именно потому, что все опередила попытка освободиться, столь же произвольная и оставляющая все выяснения на потом, как инстинктивный рывок туго зажатого тела.

Сознание рванулось из этой вклеенности прочь.

И тут оно услышало голос:

— Не надо, так вы погубите все...

Голос ничему не принадлежал, ниоткуда не исходил, он так же не имел аналогии, как и то состояние, в котором очутился Стожаров. Голос был, вот и все. В одно озаряющее мгновение Стожаров понял, что это не звук из внешнего мира, не эхо собственных мыслей, а... Далее мысль не шла. Но даже такое осознание подействовало успокоительно, ибо спасительную догадку: «Я мыслю, значит, существую» — сменила более надежная: «Я не один, значит, тем более существую...» Вдобавок — или это показалось? — сама бесформенная вязкая стесненность стала теплеть, как если бы ее, словно тугой пеленочный кокон, прогрели чьи-то бережные объятия.

— Где я?

Странно и дико было услышать свой голос, слова, в рождении которых даже намеком не участвовали рот, гортань, легкие. Это полное, так очевидно давшее себя знать отсутствие тела едва не захлестнуло новым ужасом, но тут прозвучал ответ:

— Случайно вы оказались там, куда вашей цивилизации еще идти и идти. Не торопитесь с выводами. Что вы в силах понять, я сам объясню.

Пауза, тишина молчание. Ее оказалось достаточно. Голос был так спокоен, надежен в своей нечеловечности, он сказал уже столько, что вся буря чувств тут же стихла, сменившись тем жгучим, пронзительным, одновременно холодным напряжением души, которое отрешает исследователя от всего побочного, когда внезапное дрожание какой-нибудь стрелки прибора готово выдать тайну природы или, наоборот, лишить всяких надежд на открытие. То же самое стало теперь, только вдвойне.

— Так, хорошо, — произнес голос. — Теперь можно кое-что сказать о том, что вы называете жизнью и смертью...

Как ни был Стожаров готов к подобному обороту, в нем все содрогнулось, ибо он ясно и окончательно понял, что его как человека, судя по всему, уже нет, а есть нечто, для уяснения которого человеческие представления бессильны, и в этом неопишемом он теперь существует.

— Напрасное беспокойство, — тот, другой, нечеловеческий, похоже, улавливал малейшие оттенки чужой мысли. — Просто ваша цивилизация пока знакома с единственной формой жизни и только ее мнит возможной.

— Нет, нет, это не так! — поспешно, может быть, слишком поспешно возразил Стожаров. — В теории, еще больше в фантазии, мы допускаем любые формы существования, не белковые, а, скажем, кремниевые, даже плазменные...

— Это все не то, — вроде бы даже со вздохом ответил Голос. — Все ваши фантазии лишь бледная тень действительных возможностей и осуществлений. Нас, далеко ушедших, вы ищите во Вселенной, пытаетесь уловить наши радиопередачи, удивляетесь, не видя астроинженерных чудес, ничего не находите и начинаете думать, что нас нет вообще. А все не так. Чтобы ответ не показался вам диким, нелепым, фантастическим, чтобы он



не поверг вас в смятение, для начала сообразите простую вещь. Не надо фантазий, элементарная диалектика: как скажется первый ее закон на цивилизации, позади которой не тысячи, как у вас, а миллионы лет истории?

— Ну, это дважды два — четыре, — привыкший уважать свой ум, Стожаров даже слегка оскорбился. — Ясно, что такая цивилизация неизбежно обретет новое качество, станет иной, чем была. Дальше простор вариантов, все число которых не охватит никакая фантазия. Например, разум переводит себя из биологической оболочки в более долговечную машинно-кристаллическую. Или еще что-нибудь, вплоть до мыслящего океана, хотя это, по-моему, несерьезно. Словом, мы об этом думали, проигрывали разные варианты, просто это далеко от наших теперешних забот, поэтому мало кого интересует. Я и представить не мог...

Он запнулся, вспомнив, кому и в каких условиях все это говорит.

— Так что же в действительности? — прошептал он, немея. — Что?..

— Смелее, — позвал Голос. — К чему ведет первое качественное изменение?

— Понял... — все тем же немеющим шепотом проговорил Стожаров. — За ним новое развитие, новый переход, новое... Да сколько их было у вас за миллионы-то лет?! Ведь это страшно... Ужас!

Последнее слово вырвалось невольно. Лишь теперь Стожарову по-настоящему, во всей безмерности открылась та даль, куда он должен был заглянуть. Даль иного, нечеловеческого будущего, от которой он отшатнулся и от которой не мог избавиться, потому что уже был в ней... безвозвратно. Очевидно, так, иначе к чему бы весь разговор?

— Подождите! — вскричал он. — Но разум, его воля, пусть законы развития, но как же это... Всем камнем лететь по траектории?! Да к чему тогда все, зачем

устремления, если хочешь или не хочешь, а меняйся, переходи... И во что? Кто вы есть, что вы есть, кем были, хорошо ли вам теперь?!

— Вот это ближе, — одобрил Голос. — Разрешите ответный вопрос. У вас есть фантазии, даже гипотезы о преобразовании человека со временем в машиноподобное тело, в киборга или как там вы это еще называете. Вас устраивает такая перспектива?

— Меня нет, — честно сознался Стожаров. — Не хочу быть навозом истории, годным лишь для того, чтобы на человечестве, как на перегное, выросла цивилизация каких-то там киборгов. Пусть эта новая цивилизация будет лучше, совершенней, я не хочу! Да, да, возможно, я выгляжу тем самым рамапитеком, который взвыл бы с тоски, шепни ему кто, что придется расстаться с родными лианами и баобабами, переделаться в человека, переселиться в клетушки города, мудрить над приборами... Но я не рамапитек! Слышите? Тот ничего представить себе не мог, того законы природы влекли, как щепку в потоке, а со мной извольте считаться! Я сам использую законы природы, а это кое-что значит... Человечество да пребудет во веки веков! Иначе зачем все?

— Иначе зачем все... — эхом отозвался Голос. — Позвольте еще вопрос. Почему некоторые ваши, тоже неглупые ученые считают переход человеческого разума в иную оболочку не только возможным или необходимым, но и благоприятным делом?

— Они полагают возможным, более того, неизбежным создание искусственного сверхчеловеческого интеллекта. Они считают, что им будет принята эстафета нашей культуры. Сверх того они надеются, что наш разум войдет составной частью в машинный и тем самым человек обретет в новом качестве если не бессмертие, то...

— Достаточно. Мыслящий смертен, а это для него нестерпимо. Живу, думаю, чувствую, но, что бы я ни делал, все равно обречен, исчезну, истлею. Думать об этом жутко, только это еще не весь ужас. Он в неиз-

бежности. Неизбежность, вот против чего восстает человек, да и любой разумный, какое бы солнце ему ни светило. Что вы сами только что отвергли? Не смерть. Перспективу жизни, раз в ней неизбежно превращение всего вам родного во что-то неузнаваемое. Этому вы сказали: не хочу! А те, с кем вы так спорите, восстали против другой, сегодняшней неизбежности. Они в машинах увидели шанс одолеть смерть как самую злую неизбежность.

— Так, значит, они правы? Значит, нам придется... Вы сами... Вы-то неужели тот самый машинный сверхмозг?!

— Я ничего не говорил об осуществимости ваших гипотез, предположений и фантазий, пока что я лишь чуточку проявил устремление ваших собственных желаний. Не более. Оценить достоверность своих опасений касательно торжества машинного интеллекта, если это вас так волнует, вы можете сами, с моей стороны тут достаточно лишь намек.

— Так дайте! Хотя, собственно, к чему весь этот разговор? Зачем?

— Он неспроста... — Голос как будто заколебался. — Он и для меня важен. Сейчас желательно максимальное, насколько это возможно, ваше понимание ситуации, в которой мы очутились. А намек... Каким было первое научное представление людей о месте их планеты в мироздании? Оно было обратно действительному. Что можно сказать о первой гипотезе зависимости скорости падения тел от их веса? То же самое. Вспомните далее причудливую судьбу идеи превращения элементов или совсем недавний ваш спор о природе света. И так далее. Намечается закономерность, не правда ли?

— Ясно, — ощущай Стожаров себя как тело, он, вероятно, стиснул бы зубы. — Вы намекаете, что как только мы начинаем задумываться о новом и сложном для нас предмете, первые наши о нем догадки чаще всего содержат лишь крупницу истины, а то и вовсе все

ставят с ног на голову. Да, мы такие.... Так откройте же наконец истину! Надеюсь, уж вы-то владеете абсолютной?

Стожаров тут же обозвал себя идиотом. Поздно. Раздраженная насмешка отлилась в слова, показав его тем, кем он никак не хотел выглядеть: сопляком. Впрочем, какая разница? Очевидным было то, что Голос читает в его душе, как в раскрытой книге.

— Все нормально, — подтвердил Голос. — Я ничуть не обижен, скорей восхищен. Даже в такой ситуации вас больше интересует судьба рода, чем ваша собственная, поскольку о ней вы пока не задали ни одного прямого вопроса, хотя на душе у вас весьма неспокойно. Для разума вашего уровня такое поведение редкость.

— Я просто-напросто исследователь, — буркнул Стожаров. — Мне все интересно... Ладно, так в чем же неверны наши теперешние представления?

— Вам мешает весь прежний жизненный опыт. Руководствуясь им, вы упорно связываете будущее личности и судьбу разума с конкретным телом, неважно, белковым или небелковым, одиночным или множественным, раздельным или слитным. Попробуйте отрешиться от этого узкого представления.

— То есть как? — удивился Стожаров. — Представить существование не в конкретном теле, не одиночное и не множественное, не раздельное, но и не слитное, а... Вы смеетесь! Да легче вообразить безугольный куб, чем бытие ни в чем и, в сущности, нигде...

— Однако вариант, который вы с ходу отвергаете, считая его невозможным, немыслимым, был перед вашими глазами всегда.

— Что, что?

— Телевидение.

— Телевидение?!

— Да. Ваш в нем образ. Каков он и где? Он рассеян в пространстве. Находится на экранах. Одновременно законсервирован в видеолентах, может там хранить-

ся и снова ожить, заполнить собой пространство в любой день после вашей смерти. Вот вам грубый пример существования чего-то и в точке, и в огромном объеме, в конкретном теле и вне его, в данный миг времени и любой другой.

— Черт, действительно!.. Но это же образ, слепок, а вы говорите о личности, ее разуме... Хотя...

Стожаров задумался. Скульптура, портретная живопись, далее фотосъемка, кино, голография, перевоплощение внешности, отлет образа, его все более самостоятельное, множественное, на века существование... Затем уловленный, сохраненный, тоже отдельный от человека голос. Та же самая эволюция! По каплям, по частностям осуществляемое бессмертие внешнего, наиболее простого, легче всего достижимого. Вот же к чему дело идет! Так, так, верно. Стоп! Это все внешнее, несущественное. Сознание, разум, человеческое «я» тленно, как было, тут ничего не изменилось, за все века, за все тысячелетия, тот же обрыв, то же вместе с телом исчезновение. Хотя...

Я идиот, повторил Стожаров. Я слеп, как десять тысяч кротов. Мысль — а разве она не частичка личности? — с развитием письма, книгопечатания, электроники обрела небывалое долголетие. Тысячелетия меж мною и Гомером, Платоном, Аристотелем, но, читая их произведения, я же соприкасаюсь с их разумом, чувствами, ощущаю их личность... Это факт. А компьютеры, бездушные компьютеры? Их логика. Это мы ее вложили, это наша логика, это наша мысль, это отчасти мы сами. Если синтезировать все — образ, голос, запечатленную мысль, — если добавить, если развить, смело глянуть вперед на века, представить возможное, а точнее, кажущееся невозможным...

— Вот именно, — сказал Голос. — Кто никогда не видел домов, для того котлован стройки лишь грязная яма, а камни фундамента начало и конец спешно возводимой ограды. Вполне естественная ошибка, не так ли? Сходным образом для вас самих выглядит ваш

собственный, едва начатый труд над бессмертием, поскольку вы еще не можете представить себя вне и помимо той оболочки, в которую вас заключила природа. Но рано или поздно вам откроется смысл и перспектива. Не вы одни, все разумные восстают против смерти как самого нестерпимого воплощения неизбежности, все прозревают безбрежное и вечное море жизни, в него со временем вливаются все цивилизации, если, конечно, не иссякают по дороге в песках застоя, не срываются в пропасть самоуничтожения, что, понятно, тоже бывает. Уж тут неизбежности нет никакой...

— Хорошо, хорошо, — почти лихорадочно перебил Стожаров. — А осуществление? Само осуществление? Ваше вечное море жизни, какое оно? Оно непостижимо для меня, да? Как и способ его достижения?

— Принцип прост и легко постижим. Разум есть свойство высокоорганизованной материи, верно?

— Конечно! Дальше, дальше!..

— Что же в принципе запрещает разуму какую угодно форму материи и где угодно организовывать так, как это необходимо для его существования и перемещения?

— Вот оно что... — Была бы возможность стукнуть себя с досады, Стожаров не преминул бы это сделать. — Ну да, ну конечно! Для обитания и укрытия тела природа дала нам только пещеры, а мы научились строить дома, перемещать их хоть под воду, хоть в космос, еще десять, еще сотня шагов по тому же пути и... Ах, черт! Сотня ли? Те же компьютеры — это лишь вещество, электричество и... и организация всего этого в сложную форму материи! Ведь ничего больше, а в результате уже какое-то подобие мысли, разума, уже предсознание... Это сегодня, сейчас, тогда как дальше... Какие там к дьяволу роботы, киборги, прочая элементарщина! Все не то, все лишь ступенька, нижняя опора для... Слушайте, я больше не могу, мысль путается. Как... как вы живете?! Где вы есть, какие вы есть?!

— Спросите у луча, где он, когда летит, и что с ним

стало, когда он упал. Спросите себя, где и в чем вы живете: только на земле? Может быть, еще в океанских глубинах, в космосе уже ваш дом? В книгах, которые существуют века? В радиоволнах, которые уносят ваш образ и речь к другим звездам? Соедините все представления, и будет отдаленный, как эхо, ответ, какие мы и в чем живем. Для нашего обитания пригодно все, что есть в мире, мы везде у себя. Облачко, мы и его можем сделать своей обителью; глубинная структура вакуума — и она пригодна. У нас нет формы, нет тела, потому что для нас — все тело и сменить облик нам так же просто, как вам переодеться. Вы убеждаете себя, что это невозможно представить, но то, что вам кажется фантастичным, всегда было перед вашими глазами. Не вы ли только что поняли: в любой глыбе уже таится компьютер, надо лишь ее преобразовать? А в чем таилась вся жизнь, все деревья, все животные, вы сами, когда на планете еще и белка не было? В песке, воде, ветре, в свете солнца. В чем скрывались песчинки, капли дождя, шум ветра, когда не то что планета, но и звезды клубились туманностью? Все возможности уже зрели там, среди галактической плазмы, потоков частиц, колебаний вакуума. Все во всем, все во всем! Так всегда и везде, весь секрет нашего могущества в умении быстро реализовать нужные возможности, в способности пользоваться этим. Вы сами уже отчасти владеете им, потому что из камня, из энергии рек, из света и электронов творите компьютеры, космические корабли, образы голографии и даже искусственные сердца, которыми заменяете свои изношенные... Короче, вы движетесь по той же дороге, что и все разумные, где бы они ни начинали свой путь.

— И вам хорошо? — вырвалось у Стожарова.

Глупый вопрос, он тут же его устыдился. Хорошо ли почувствовал себя рамапитек на его месте? Он себя в шкуре рамапитека? Сопоставимы способы жизни, но не радости жизни.

И Голос ничего не ответил. Он сказал свое:

— Хорошо ли вам сейчас?

— Плохо.

— Однако вы существуете.

— Да.

— Мыслите, чувствуете, познаете. Вы живете.

— Но как? Я ли это?

— Взамен утерянного вы приобрели бессмертие.

— Бессмертие?

— Наш способ жизни, это почти то же самое.

— Я не просил! С какой стати? Или это ваш... ваш надо мной эксперимент?!

— Скорей, ваш.

— Мой?

— Ничей, если быть точным. Вы готовили установку, хотели раздвинуть пределы своего проникновения в материю. И нанесли ей удар. Вам казалось, что вы предусмотрели последствия, но все предусмотреть не дано ни вам, ни нам. Случайно ваш удар пришелся по структуре, которая в то мгновение была мной. Мы бессмертны, но это не абсолют. Мы, как и все в мире, уязвимы. А ваш удар...

— Я не знал!

— И не могли знать, а я мог предугадать, мог остерегаться, но... Возможно могущество, безошибочность — нет. Наспех отражая удар, я вдруг понял, что этим убиваю вас. Что я успевал и мог, то я сделал: вы остались живы.

— А мое тело...

— Стоит ли о нем вспоминать? Взамен — вечность.

— Веч...

Голос Стожарова дрогнул и оборвался. Все-таки в нем теплилась надежда. Теперь с ней было покончено. Все, больше он не принадлежит семье человечества, вышел из нее, как бабочка из кокона. Теперь перед ним вечность. Нет, не вечность... Иное. То, чему нет названия

в человеческом языке, нет настолько, что даже Голос не подобрал подходящего слова.

Как ни был он подготовлен, но его сознание в ужасе отпрянуло от этой бездны, которая на деле была не бездной, наоборот, вершиной разума, такой непомерной вершиной, что там, на ней, быть может, и звездами играют, как легкими шариками одуванчика на весеннем лугу.

Но свыкнуться с этим! Принять?

— Будущее вас пугает, — Голос вроде бы дрогнул. — Напрасно... Вам кажется, что всегда будет так, как сейчас, темно, глухо, пусто. Нет. Вы пока словно бабочка в коконе, ведь чтобы спастись и спасти, мне пришлось как бы вклеить вас в себя. Наши структуры связались, переплелись; подробности излишни, вы не поймете. И не нужны, потому что это состояние не навсегда. К тому же пока есть выбор.

— Какой? — все рванулось в Стожарове при звуке этого слова.

— Вы уподобитесь мне. Или я верну вас в прежнее состояние. Потихше, потихше, я же предупреждал, что вы можете все испортить... Вот так, хорошо.

— Но...

— Не торопитесь решать! — поспешно сказал Голос. — Вам хочется обратно, назад, это понятно. Но подумайте о другом варианте. Перед вами распахнется Вселенная. Хотите повидать все странные, чудесные, дикийные для вас пейзажи мириад планет? Вы сможете. Мы сами не знаем предела своей жизни, и вы не будете знать, но облететь Галактику так недолго, так просто... Вам откроются тайны природы, какие не дадутся человеческому уму и через тысячу лет, — великие, грозные, прекрасные тайны. Хотите их знать? Да, вы никогда уже не изведаете вкус земной пищи, не вдохнете весенний воздух, кожей тела не ощутите соленое касание морской волны. Приобретения — всегда потери.

Но взамен! Взамен мудрость многих и разных цивилизаций, тонкость их дружбы, любви. Не снывшаяся вам власть над материей. Миллионы недоступных вам чувств. Зрение, которое вам даст не семицветную, а тысячесветную раду. Слух, который позволит услышать бурю звездных протуберанцев и шорох растущих в земле кристаллов. Бесконечность и здесь. Наконец, деятельность куда более грандиозная, чем все о ней человечески мечты. Вы и от нее откажетесь? Я все сказал. Теперь выбирайте: вперед или назад? Решайте, пока не поздно.

— Но почему, почему вы меня уговариваете? — вскричал Стожаров. — Кто я для вас и зачем? Если вернуться назад так просто, то к чему...

— Вы должны выбрать. Так надо. И поспешите: мои возможности велики, но я не в силах удержать время навечно. Как скажете, так и будет. Но торопитесь!

Смолкло все.

Стожаров снова и уже бестрепетно взгляделся в притворенную перед ним даль. Она завораживала. В ней было все, к чему мог стремиться ищущий ум. Все и даже больше того, о чем мечталось. Там, впереди, был не просто великий, могучий, ослепительный, но и добрый мир, ибо лишь его обитатель мог в мгновение внезапной и грозной опасности побеспокоиться еще и о беспомощном чужаке. Конечно! Недобрый мир не смог бы уцелеть при таком своем могуществе.

Все было так, будущее призывно блистало всеми красками. И не оставалось сомнения, пригоден ли для него слабый человеческий разум; раз позвали, то позаботятся, проведут через все циклы качественных перемен, что-нибудь сделают.

Всей силой дерзкого желания Стожаров рванулся вперед. Туда, туда, к морю всех рек, куда человеческому разуму тянуться еще тысячи, может быть, миллионы лет! Что он оставляет, что?

Все прежнее предстало перед Стожаровым как в перевернутом бинокле. Маленький человек с мелкими страстями на крохотной планете, мотыльковая на ней жизнь, ее неизбежный затем обрыв, и уже все, и уже никогда ничего не будет. Чего он лишился, что могло удержать? Все мимолетно, как тот воздух, который он напоследок втянул в свои легкие. Ведь нет ничего уже, только память. Она с ним пребудет навсегда, он унесет ее в любые звездные дали и там, под нездешними солнцами или в загадочной глубине вакуума, его, как в детстве, опашет смолистый запах сосны и в нем оживут... Или не оживут?

Стожаров попробовал представить, и тотчас из ниоткуда накатил запах нагретой солнцем хвои, защебетали птицы, предстали лица друзей, и все, что было с ним прежде и сопровождало весь его род, вернулось к нему с этим запахом, этим ветром, что всегда летел над неброским краем песков и болот, одинаково входил в легкие младенцев и стариков, одинаково нес всем сладость земли и жизни, вечной, пока есть кому беречь и продолжать, множить, и украшать, и взметать ее к звездам.

— Время! — поторопил Голос.

— Я человек и не могу иначе, — сказал Стожаров. — Спасибо за все, но каждый должен пройти свой путь и у каждого есть свой долг перед родом. Я остаюсь.

— Жаль, — помедлив, сказал Голос. — Мое предложение не было ни искусом, ни опытом чистого альтруизма, как вы мимолетно подумали. Все и сложнее, и проще. Мы оказались спаянными так неразрывно, что ваше возвращение назад сопряжено для меня с потерей вроде ампутации. Мне хотелось избежать этого урона, но ничего не поделаешь.

— Постойте! — рванулся Стожаров. — Почему вы не сказали этого раньше?! Я согласен! Согласен!

— Нет. Выше всего моральный закон, он мне велел поступить так, как я поступил и как поступлю, потому что в вашей уступке нет добровольности. Ни о чем не тревожьтесь — и прощайте.

...Когда сознание снова вернулось к Стожарову, он услышал голос врача:

— Непостижимо, но после столь долгой клинической смерти нам удалось его вытянуть. Все-таки удалось! Такого еще не было...

СОДЕРЖАНИЕ

Все образы мира	5
Философия имени	24
Уходящих — прости	41
Зажги свет в доме своем	63
Проблема подарка	74
Лицо в толпе : : : : :	82
Шел человек по грибы	100
Не будьте мистиком!	109
Существует ли человек? . . : : : :	128
Проба личности	137
Загадка века . : : : : : :	160
Голубой янтарь	170
Путь Абогина	195
Время сменяющихся лиц	221
Миша Кувакин и его монстры	231
Узы боли	243
Пустая книга	256
Море всех рек	272

ИБ № 4894

Дмитрий Александрович Биленкин
ЛИЦО В ТОЛПЕ

Редактор **В. Фалеев**
Художник **Г. Метченко**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Н. Теплякова**
Корректоры **В. Авдеева, Е. Дмитриева**

Сдано в набор 21.03.85. Подписано в печать 12.08.85. А13516. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 12,6. Условн. кр.-отт. 12,95. Учетно-изд. л. 13,1. Тираж 100 000 экз. Цена 85 коп.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21. Заказ 414.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь»: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Заказ 5—297.

85 коп.

Молодая гвардия

